

В И К Т О Р Г Р О С С М А Н

ДЕЛО
СУХОВО-
КОВЫЛИНА

1936

Г О С Л И Т И З Д А Т



А. В. Сухово-Кобылин (в старости)

Посвящаю моему другу
Д. И. ПОСТОЛОВУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В ноябре 1855 года, в самый разгар «переследования» по делу об убийстве француженки Луизы Симон-Деманш и во время первых успехов «Кречинского», Сухово-Кобылин записал в дневнике:

«Странная судьба: в то время как, с одной стороны, пьеса моя мало-по-малу становится в ряд замечательных произведений литературы, возбуждая всеобщее внимание, подлейшая чернь нашей стороны, бессовестные писаки судебного хлама собираются ордою клеймить мое имя законом охраняемой клеветой».

И теперь, через восемьдесят с лишним лет, та же странная судьба постигает его имя и его драматургию.

С одной стороны, пьесы Кобылина не сходят с репертуара, не теряют свежести и остаются наиболее яркими ообразителями «отжитого времени», а, с другой стороны, и в книгах, и даже со сцены повторяется старинная сплетня о том, будто Сухово-Кобылин убил свою возлюбленную, француженку Симон-Деманш, и что это свое преступление он пытался сбросить на безответные плечи подвластных ему душ.

Уже одно такое обвинение должно бы оправдать появление книги, посвященной защите Кобылина. Литература о Сухово-Кобылине бедна, большинство

книг и статей о нем забыты и представляют собою библиографическую редкость.

Поэтому современный читатель при имени Сухово-Кобылина невольно скажет: «Сухово-Кобылин... А, это тот, который убил свою любовницу, засекал крепостных, взвалил на них свою вину, послал их на пытку, в тюрьму и на каторгу, а потом всю жизнь лгал себе и другим, лгал в показаниях, в дневниках, в письмах, в дружеских разговорах, лгал, наконец, в своем творчестве. Произведения его—это драмы на крови, и основаны они на сплошном и глубоком обмане».

Нельзя мириться с извращенным образом выдающегося писателя и незаурядного человека.

Сам Кобылин всю жизнь отчаянно боролся против обвинения в убийстве. Этой борьбе посвящена и его трилогия. Он отрицал свою вину, и к его голосу необходимо прислушаться. Но он, философ и художник, не имел профессиональных навыков судебного деятеля.

Он быстро забыл себя, забыл свою защиту и в справедливом гневе перешел в наступление: стал разоблачать своих притеснителей чиновников и клеймить их всей силой своего творческого негодования.

Так создались его замечательные пьесы. Они неразрывно связаны со старинным уголовным «делом», в которое был втянут Сухово-Кобылин. И он не только не отрицал этой связи между своим творчеством и уголовным делом, но всячески и всемерно ее подчеркивал.

Лучшую пьесу свою он назвал «Дело». На титульном листе трилогии, изданной им самим в 1869 году и получившей объединяющее заглавие «Картины прошедшего», значится: «Писал о натуре. А. В. Сухово-Кобылин». Эпитраф к пьесе: «Как аукнется, так и откликнется». Наконец, пьесе «Дело» предшествует знаменитый пролог.

К публике:

«Предлагаемая здесь публике пьеса «Дело» не есть, как некогда говорилось, плод досуга, ниже, как ныне делается, поделка литературного Ремесла, а есть *в полной действительности существующее из самой реальнейшей жизни с кровью вырванное ДЕЛО.*

Если бы кто-либо... усомнился в действительности, а тем паче, в возможности описываемых мною событий, то я объявляю, что я имею под рукою факты довольно ярких колеров, чтобы уверить всякое неверие, что я ничего невозможного не выдумал и не сбыточного не сплел. Остальное для меня равнодушно».

Но для нас «не равнодушно», действительно ли убили Сухово-Кобылина свою долголетнюю подругу или он в течение семи лет был жертвою обывательских сплетен и чиновничьего лихоимства.

Помимо права великого комедиографа отвечать за проступки, только им действительно совершенные, помимо, того, что правда об уголовном процессе является необходимой предпосылкой для изучения творчества Сухово-Кобылина, высокий интерес к старинному делу возбуждается еще и тем, что это дело остается наиболее яркой картиной классовых отношений в старой России.

Кроме того, историческая правда имеет самостоятельную ценность. Закат поместного дворянства, загнивание и разложение чиновничьего бюрократического аппарата и всей дворянской сословной системы с чрезвычайной полнотой и отчетливостью отразились в деле Сухово-Кобылина.

Делу Сухово-Кобылина недавно посвящено было специальное исследование¹.

¹ Леонид Гроссман, «Преступление Сухово-Кобылина». Л. «Прибой», 1927.

Леонид Гроссман, изучивши «пожелтевшие и запыленные документы старого судопроизводства», счел необходимым «пересмотреть традиционное мнение, признавшее Кобылина совершенно непричастным к преступлению, незаслуженно привлеченным к следствию, и почти оказавшимся невинной жертвой судебной ошибки», и вынес знаменитому драматургу непоколебимое — «да, виновен».

Длительная работа над первоисточниками привела меня к противоположному убеждению, и с этого момента защита Кобылина стала моей обязанностью.

Считаю нужным оговориться. Моя задача — защита Сухова-Кобылина, а не полемика с его обвинителями, в том числе и с Леонидом Гроссманом.

Но защита не существует сама по себе: она возникает постольку, поскольку предъявляется обвинение и притом обвинение несправедливое, неправо, неверное. Защита должна отталкиваться от обвинения, а вовсе не следовать за ним по пятам. Слых целей защита может достичь не только путем отрицания обвинительных тезисов, не только уничтожая аргументацию обвинителя, но и положительными средствами, противопоставляя выводам обвинения самостоятельные данные, уничтожающие обвинительный силлогизм.

Отметим заранее, однако, одну границу, через которую не должно будет перейти защите Кобылина — ни в малейшей степени мы не будем пытаться обелять его личность. Нам предстоит доказать одно только утверждение: что Сухово-Кобылин не был убийцей своей подруги Луизы Симон-Деманш, — и все.

Конечно, необходимо будет воссоздать образ замечательного драматурга и незаурядного практического деятеля прошлого столетия, но мы попытаемся осветить со всей полнотой все теневые стороны, которыми богат был Сухово-Кобылин так же, как дарованиями и культурой. Его грехи как личности

и как яркого представителя определенного класса осуждены жизнью, и нам останется только восстановить точные факты его биографии, описать его политическое и философское мировоззрение и рассказать о буднях его своеобразного быта, чтобы современный читатель сам дал им достойную оценку.

Мы знаем, что Кобылин был убежденным крепостником: он избивал слуг «из собственных рук» и на конюшне, отдавал мужчин в рекруты, а девушек насильно замуж, всячески эксплуатировал своих рабов, губил и гноил их в рудниках, на заводах, на пашнях и в своих усадьбах.

Погубить четыре крестьянских жизни ради своей свободы для Кобылина в то время ничего не значило, да и не для него одного. Думается, что он пожертвовал бы десятками крепостных ради любого каприза своей фаворитки, а не только ради таких серьезных жизненных ценностей, как честь и свобода. Мораль его класса оправдывала безграничный произвол «белой кости» и «голубой крови» над холопами и смердами.

Суд современников может сейчас с полным беспристрастием ценить и судить Кобылина со всеми его поступками, со всеми его свойствами и все его действия. За одно его осудят, за другое скажут спасибо, за третье, — в чем он неповинен, — избавят от ответа.

Многие документы публикуются впервые. Кроме официальных источников, для работы использованы письма из архива Е. В. Петрово-Соловова, часть которого была опубликована в третьем сборнике трудов Всесоюзной публичной библиотеки им. Ленина, а также письма и статьи Кобылина из частных собраний.

За помощь в работе советами и представлением материалов приношу благодарность Е. Н. Конши-

ной, Г. П. Георгиевскому, И. С. Зильберштейну и покойному М. Д. Прыгунову, а также проф. Попову, согласившемуся по моей просьбе проверить и оценить весь материал судебно-медицинского порядка в деле Сухово-Кобылина и оказавшему этим существеннейшую помощь в наиболее ответственной части моей работы. Результат своего анализа проф. Попов изложил в приложенной к этой книге экспертизе, которую горячо рекомендую вниманию читателей

В И К Т О Р Г Р О С С М А Н

ДЕЛО
СУХОВО КОБЫЛИНА

*„Я этого человека ненавижу.
Он Каин! Он Авеля убил!!“*

— „Да не он убил! Читайте!“

*„Дело“ А. В. Сухово-Кобылина.
Действие I. Явление I.*

ФАКТЫ

НАЙДЕНО ТЕЛО

«9 ноября 1850 года, Пресненской части, пристав Ильинский в докладной записке господину обер-полицмейстеру донес, что за Пресненской заставой, на Ходынском поле, найдено мертвое тело женщины неизвестного звания». (Лист дела 2.)

Следствие об убийстве Симон-Деманш московский обер-полицмейстер поручил произвести приставу пражданской части Хотимскому 10 ноября, причем дал знать ему, что «9 ноября отставной титулярный советник Сухово-Кобылин, явясь к нему и объявив о неизвестной отлучке в продолжение двух дней из квартиры Симон-Деманш, просил содействия к отысканию ее, почему он, обер-полицмейстер, и поручил квартальному поручику Максимову принять к этому меры». (Лист дела 1.)

«10 ноября по оказанию означенного тела крестьянам Сухово-Кобылина Галактиону Кузьмину и Игнату Макарову, они объявили, что тело это иностранки Луизы Ивановой Симон-Деманш, живущей Тверской части, в доме графа Гудовича». (Лист дела 13.)

«Тело лежало в расстоянии от Пресненской заставы около двух с половиной верст, в трех сажнях вправо от большой дороги, ниц лицом вдоль дороги,

головую по направлению к Воскресенску, руки подогнуты под тело». (Лист дела 7.)

«Оказалось, что женщина эта зарезана по горлу; лет ей около тридцати пяти; росту среднего; волосы русые, коса распущена; глаза закрыты; само тело в замороженном положении; одета она в платье клетчатой зеленой материи, под оным юбка коленкоровая белая, другая ватопшная, крытая драдедамом темного цвета, и третья—бумажная тканная, кальсоны коленкоровые белые, сбившиеся на ноги до самых коленей; на ногах шелковые белые чулки и теплые бархатные черные полусапожки; на голове синяя атласная шапочка, сбившаяся на самый затылок; в волосах черепаховая прёбенка без одного зубца; креста на шее не оказалось; в ушах золотые с бриллиантами серьги; на безымянном пальце левой руки два золотых супира, один с бриллиантом, а другой с таким же камнем, осыпанным розами; на безымянном же пальце правой руки золотое кольцо; в кармане платья с правой стороны оказалось девять нутряных ключей разной величины, из коих пять на стальном кольце. При этом усмотрено, что снег, где она лежала, подтаял и под самым горлом на снегу в небольшом количестве кровь; с правой стороны тела по снегу виден след саней, свернувших с большой дороги, прошедших мимо самого тела и далее внавших опять в большую дорогу. По следам конских копыт видно, что таковые были от Москвы». (Лист дела 7.)

«Наружный осмотр обнаружил, что кругом горла на передней части шеи, ниже гортанных частей, находится поперечная, как бы порезанная, с ровными расшедшимися краями, окровавленная рана, длинной около трех вершков. Кругом левого глаза опухоль темно-багрового цвета; на левой руке, начиная от плеча до локтя, по задней стороне сплошное темно-багрового цвета с подтеком крови пятно и много других пятен, опухолей и осадин; начиная от перед-

ней части верхних ребер до поясицы и до позвонков, во весь левый бок, находится большое кровонзлияние, причем седьмое, восьмое и девятое ребра этой стороны, ближе к соединению их с позвонками, переломлены, а десятое — даже с раздроблением кости». (Листы дела 11 и 189.)

Так дословно гласят старинные акты.

ОТЛУЧКИ, СЛУХИ, СОПОСТАВЛЕНИЯ

Французенку, убитую столь зверским способом и брошенную в снежные сугробы за Ваганьковским кладбищем, в Москве хорошо знали.

Всем было известно, что она, как тогда говорилось, «состояла на содержании» у молодого богатого помещика, Александра Васильевича Сухово-Кобылина.

В канцелярии военного генерал-губернатора помнили, как одна из дворовых девушек Сухово-Кобылина, Настасья Никифорова, отданная в услужение французенке, прибежала, вся избитая, в опухолях, ссадинах, царапинах и кровоподтеках, и жаловалась на жестокое обращение с нею «баринской барыни».

Знали и любовника французенки, надменного и высокомерного дворянина, который незадолго до происшествия, в июле 1850 года, вышел в отставку с чином титулярного советника, прослуживши в канцелярии московского гражданского губернатора около восьми лет.

Молодой чиновник ничем особенным себя не проявил. Снимая копию с аттестата за № 19226 (для посылки в следственную комиссию, чиновники отметили немного фактов, характеризующих служебную и личную жизнь их сослуживца: две-три отлучки за границу и три очередных производства: 11 сентября 1843 года в коллежские секретари, 31 января

1846 года в титулярные советники и, наконец, 6 июля 1850 года увольнение в отставку.

Современники рассказывали, что отношения между всесильным генерал-губернатором Закревским, который имел у себя чистые листы с подписью государя, и Сухово-Кобылиным, в ту пору чиновником, стоявшим на самой низкой ступени иерархической лестницы, сложились не очень благополучно.

Пренебрегая службой, Кобылин блистал в обществе и развлекался всеми средствами, доступными богатому и культурному дворянину. Его «острого, как бритва, языка боялся сам Закревский», — отмечают мемуаристы.

Арсений Андреевич Закревский — «российский паша» — имел все основания бояться сплетен и острых языков. Жена его Аграфена, вошедшая в историю русской литературы, как одна из участниц донжуанского списка Пушкина, вела образ жизни эксцентрический и вся была во власти своих неистовых страстей. Поэт писал, что она —

Мимо всех условий света
Стремится до потери сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленных светил.

Бессильный пред лицом могущественного московского начальника в его канцелярии, Кобылин преобладал в светском обществе. Там роли его и Закревского менялись. В свете они были равноправны, и каждый расценивался по-своему.

Как известно еще от того же поэта, — который ввел жену Закревского в соблазнительную честь, —

Свет не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.

Именно этой тайной и пренебрегала пылкая жена влиятельного вельможи. И ее поведение находило соответствующую реакцию в том самом свете, мимо

всех условий которого она стремилась «до потери сил».

Что было запрещено светской женщине, то разрешалось мужчине, ибо «быль молодцу не в укор». И Сухово-Кобылин, насмехаясь втихомолку над сапожным рога носцем, сам наслаждался открытой связью с хорошенькой француженкой. Связь эта тянулась от 6 октября 1842 года, когда Луиза Симон-Деманш приехала в Россию одна на пароходе «Санкт-Петербург», и продолжалась до 7 ноября 1850 года, когда впервые следы ее потерялись.

Как произошло их знакомство, мы еще точно не знаем. Рассказу Дорошевича, описавшего их первую встречу, доверять нельзя. Известно только, что познакомился Кобылин с нею в 1841 году в Париже, где он проживал с матерью и сестрой, художницей Софьей Васильевной.

Вполне возможно, что приехала Симон-Деманш в Россию под влиянием двух побудительных причин: с одной стороны, она, трудящаяся девушка, не могла в Париже найти соответствующих заработков и, как многие ее соотечественники, поехала искать счастья в холодную, далекую Россию. С другой же стороны, счастье могло грезиться ей в виде красивого, сильного молодого дворянина с нерусским выражением смуглого лица, с черными густыми волосами, так прекрасно владевшего французским языком. Молодой человек обещал ей и рекомендацию и поддержку.

Из скудных и непроверенных источников видно, что присутствие Симон-Деманш в России в качестве модистки в магазине Менэ, на Кузнецком мосту, было неожиданным для Кобылина, который встретил ее там случайно. Да и приехала она сначала в Петербург, где, впрочем, прожила недолго: и дела, и чувства тянули ее в Москву.

После встречи в Москве молодые люди сходятся быстро. Кобылин по-своему честен и не скрывает от

девушки, что жениться он на ней не может, так как это рассорило бы его с родителями, а он от них материально зависит. Но он обещал ей не только любовь, но прочную связь и обеспеченную жизнь.

В ЧУЖОЙ СЕМЬЕ

Свое обещание он сдержал. На первое время — так называемый «медовый месяц» — Кобылин увез свою подругу в деревню.

Француженка полюбила своего русского друга до самозабвения и предалась ему вся. Она быстро окружила его мелкими заботами и вниманием, она стала вести его хозяйство, заботиться о его столе, вошла во все мелочи его деловой жизни, как помощница и преданный друг. Кобылин же ввел ее в свою семью, даже на некоторое время поселил у себя в старом флигеле, и тактичная, неглупая женщина приобретает горячие симпатии его матери и сестер.¹

Она не требует больше того, что ей могут дать. Она не носит имени жены, не появляется со своим другом в так называемом «обществе» и даже во время семейного торжества — свадьбы одной из сестер Сухово-Кобылина — выполняет за кулисами скромную, но полезную функцию: причесывает невесту к венцу. Но официально на свадьбе не присутствует. Она выполняет разнообразные поручения, которых нельзя доверить слугам и не хочется делать самим: заказывает торностаевую пелеринку для одной сестры, увеличивает тулью от шляпы для другой, заботится о своевременной посылке зятю в деревню годового запаса вина, следит, наконец, за приобретением на рынке доброкачественной провизии. Ей поручают отыскать гувернантку с условием, чтоб та была «кротка, терпелива и без претензий и при этом должна делать все так, как от нее будут требовать, а не по своему усмотрению». Это последнее

условие определяет стиль всего дома — кротость, терпение, отсутствие претензий и полное подчинение воле господ — вот что требуется от всех, соприказасающихся с гордой, богатой и культурной дворянской семьей.

Требуется это и от самой Деманш. И она охотно выполняет все требования, потому что любит своего повелителя и потому, что требования эти ей вполне по силам и соответствуют практическому и хлопотливому складу ее натуры. За это в семье ее любят, ценят и по-своему балуют. Ее поселяют в отдельной квартире, состоящей из пяти комнат с залой, гостиной, кабинетом, приемной и спальней. У нее прекрасная мебель, она одевается модно и богато, ее шкафы и шифоньеры полны изящным и тонким бельем в таком количестве, что точного счета им никто не знает; она любит домашних животных, и ей специально воспитывают ангорскую кошку или вырощивают маленьких собачек кинг-чарлей (ее любимая порода). Ей посылаются первые ягоды и фрукты. Ее стол изыскан и обилен. Достаточно прочесть «Записку стола моей руки», как назвал А. В. Сухово-Кобылин следователям заказ на провизию, чтоб отдать себе отчет в том, какими гастрономами были богачи пятидесятых годов.

«Говядины филейная часть, судак, шампиньоны, дупели, овощи, фасоли и горошек, разные фрукты для маседуана, персики, вишни и дыня, овощи для супа и салат» — вот сырье для будущего произведения кулинарного искусства. Должно быть, Деманш знала толк в хорошей кухне, потому что к ней посылают повара, чтоб ему растолковать, как приготавливают «луковицы под соусом». А крепостные повара Кобылиных проходили многолетнюю подготовительную школу на кухнях у знаменитых гастрономов того времени: М. Ф. Рахманова и графа Воронцова-Дашкова.

В 1849 году Елизавета Васильевна, разойдясь с

мужем, графом Салиас-де-Турнемир, завидует своему брату:

«Мой брат живет счастливейшим образом, он устроил себе жизнь по своему вкусу. Мадемуазель Симон более чем когда-либо принадлежит ему. Он обещает со своей возлюбленной, он счастлив на свой лад, и она тоже несомненно счастлива».

Не только Александр Васильевич, но и вся семья охотно пользуется ее искусством.

«Я обедаю у мадемуазель Симон, — пишет Елизавета Васильевна сестре, — так как это доставляет ей удовольствие, она живет во флигеле нашего дома».

Заботами о провизии и кухне полны все дни Симон-Деманш. Даже в последний роковой день, 7 ноября, она разъезжала со своей подругой Эрнестиной Ляндерт по рынкам Москвы, чтобы закупить провизию для своего обеда, а вечером проверяла поварскую книгу Ефима Егорова.

„ПОЧЕРК НЕИЗВЕСТЕН“

Исключая происхождения и богатства, в Симон-Деманш было все, чтоб надолго привязать к себе Кобылина и сделать связь их длительной и прочной. Красивая и страстная любовница, она дарила ему наслаждения чувства, в искренности которого он никогда не усомнился.

Кобылин ценил в женщине скромность и склонность к «тихой домашней жизни, замкнутой в своем кругу». Деманш почти никуда не выезжает, круг ее знакомых невелик, и все внимание и все заботы направляет на уют их любовного убежища, которое должно дать Кобылину все иллюзии семейного очага.

Профессиональная модистка, она умеет одеваться со вкусом и по требованиям последней моды.

Прекрасная хозяйка и тонкий знаток французской кухни, она дает Кобылину изысканные наслаждения стола.

Наконец, иностранка, парижанка по происхождению, она импонирует Кобылину, ненавидящему и презиравшему Россию и русских за их невежество и грубость.

А главное, — она беспрельдно предана своему владыке, обожает его, жадно ловит проявляемая малейших его прихотей, чтоб удовлетворить их, и верна и покорна ему, так что даже этот деспот не может ни в чем упрекнуть ее ни при жизни, ни после смерти.

«Образ ее жизни, — показывал Кобылин впоследствии следователям, — был самый скромный, наполненный домашними занятиями, довольно правильный, при самом малом числе знакомых».

Это была высшая похвала женщине в глазах Кобылина. И все-таки отношения эти не удовлетворяли его.

Французенка была очаровательна и скромна, с ней приятно было провести час-другой в уютной обстановке ее изящной и чистенькой квартиры, но она была мало образована, она была не очень культурна, а Кобылин даже и не пытался развивать ее.

Его неудовлетворенность проявляется в мелочах. Сестра его, Елизавета Васильевна, бывшая свидетельницей жизни Александра Васильевича с Симон-Деманш, так описывает их отношения:

«Иногда мне становится их жаль. Александр имеет смелость казаться несчастным или недовольным до возмущения из-за неудавшегося блюда. Он стал еще более требовательным, еще более формалистом, и, главное, более деспотом (не со мною, со мною он предупредителен). Теперь раздается кричащий голос не маменьки уже, а его: вне себя, он дает пощечины и бьет тарелки».

Думается, что гнев Кобылина, имевший поводом

мелкие бытовые шероховатости, коренился глубже: в его неудовлетворенности их отношениями. Впрочем, ценя преданность француженки, Кобылин быстро остывал и посылал ей короткие записки:

«Любезный друг, я посылаю за твоими вещами и за твоей особой, все готово, поедem ко мне. Я жду пить чай». Или:

«Милая мамочка. Все уехали, приезжай пить чай. Я поеду на вечер только в девять часов с половиной».

И только иногда, когда взаимное раздражение слишком велико, следы его можно обнаружить в милостивых, но иронических строчках, которыми Кобылин, с высоты своей беспредельной власти над любящей женщиной, ее достает:

«Так уж, видно, суждено, сударыня, что вы всегда будете иметь перевес надо мной и что ваша маленькая белокурая головка будет упрямее моей огромной головы, покрытой множеством черных волос», — начинает он с галантной манерностью. Но потом показывает когти, хотя и в бархатных перчатках. Он шутит с ней, но от его шуток не смешно:

«Скверная, дрянная, — дразнит он неостатную женщину, — я готов биться об заклад, что вы рыскаете по городу и не думаете о несчастных, покинутых вами, деревенских жителях, которые сумели сохранить к вам теплое чувство, несмотря на окружающий их холод. Я вас высеку и буду строг, как римский император. Ни стоны, ни слезы, ни мольбы не тронут меня, — предупреждаю вас заранее».

«Что вы подельваете, дрянная? Прежде всего я должен вам сказать, что я вас не знаю, что я выкинул из памяти ваше имя, даже воспоминание о нем изгладилось. Я вас не знаю. Что такое г-жа Симон? Право, милостивый государь, не могу вам этого сказать, я никогда не слышал такого имени. Г-жа Симон... г-жа Симон — не знаю.

Тот, кто не знает г-жи Луизы Симон.

Только что моя мать уедет в Тулу, я приеду за-
дать вам на орехи».

Естественно, что отношения с Луизой Симон-Де-
манш, не выходявшие за пределы общности хозяй-
ственных, мелко-деловых интересов, не удовлетворя-
ли талантливому и культурному Сухово-Кобылина.
Впрочем, как и все дворяне того времени, он при-
знавал систему двух моралей: одну для женщин,
другую для мужчин.

Склонность к семейному очагу, пасоивность и по-
корность составляли содержание той самой жен-
ственности, которая была очаровательной в глазах
мужчины и дворянина.

Мужчине и дворянину, а в особенности самому
себе, Кобылин разрешал все: для него не были обя-
зательны запреты, которые сковывали женскую сво-
боду. Сознывая, как он писал сестре, что «роль жен-
щины в доме, или, вернее, в семье, делает ее ценной
и незаменимой», для себя он готовит другую роль.

«Зная наслаждения всякого рода, — писал он, —
я прихожу к убеждению, что лучшими из них яв-
ляются те, которые доставляют нам наука и искус-
ство. Они дают возможность говорить *omnia mea
pesum porto* («Все мое ношу с собой»).

И действительно, предаваясь этим наслаждениям,
он изучает математику и философию, ездит за гра-
ницу, бывает в театрах, учится музыке и пению,
смотрит картины на выставках и ведет опоры о ли-
тературе и политике.

Этих наслаждений его подруга, женщина неве-
жественная и простая, разделить с ним не может.

Кобылин, используя холостую свободу, бывает в
светском обществе и не оставляет мысли о браке.
Сознание того, что с его жизнью связана другая,
преданная ему жизнь, в это время его не очень тре-
вожит.

Среди особенностей Кобылина необходимо отме-

тить его необычайную удачливость в любви. К судебному делу приложены письма, сбоку которых рукою Кобылина обыкновенно приписывается: «Почерк руки мне неизвестен: кому и кем писаны—не знаю». Это пишет он даже тогда, когда корреспондентки называют его собственным именем. Так охраняет Кобылин честь доверившихся ему женщин.

Любопытно читать эти письма; интересно следить за тем, какую необычайную всепоглощающую любовь умеет вызывать к себе этот сильный, самоуверенный эгоист.

«Клянусь тебе, нежный и дорогой друг, я твоя навеки. Никакая сила, никакая власть не вырвет из моего сердца любви, которую я посвятила тебе. Никакое сердце не будет биться на моем, ничьи губы не сотрут следов твоих поцелуев, никто не получит тех поцелуев, которые назначены тебе одному».

Другая робко его вопрошает:

«Я спрашиваю вас, любите ли вы другую? Ради бога, не заставляйте страдать женщину, напишите ей в немногих строках, может ли она, обожая вас, надеяться на малейшее ваше расположение? Объяснитесь откровенно, не заставьте еще одну женщину томиться любовью к вам слишком долго».

Одно из писем дает более точные сведения об отношениях Кобылина с женщинами. Оно датировано 10 января 1848 года.

«Ты знаешь, что я тебя люблю вопреки всем: я боролась с моим семейством, с моими правилами, с религией, которую мне внушали с детства. Если б эта любовь считалась непростительным грехом, то и тут любовь победила бы все, — и все это еще недостаточное доказательство. Одно доказательство я могу привести тебе: это то, что я пожертвовала уважением к себе моего сына. Кто знает, может быть, он когда-нибудь будет упрекать меня в том, что я тебя любила. В твоих руках более чем моя

жизнь и честь... Я вовсе тебя не упрекаю, друг мой, сохрани меня господи от этого. Напротив, я благодарю тебя за те счастливые дни, которые я провела с тобою и которые надеюсь провести с тобою. Маменька хочет, чтобы я выезжала в свет, — нужно это сделать, так как здесь начинают поговаривать, что я удаляюсь от общества, следовательно, я влюблена. Давай обманывать свет».

И, наконец, прощальное:

«Пишу к вам в последний раз, Александр. Я спокойна. Обдумав равнодушие, которое вы оказывали мне в последнее время, я решилась сказать вам что связь наша прекращена навсегда... Я приму сильные меры, чтобы забыть прошедшее. Простите меня впредь и будьте уверены, что я буду действовать честно. Прощайте... Трудно выговорить это слово после *четырёхлетней* любви к вам...»

Как видим, связи Кобылина были длительны, а любовь, которую он внушал, глубока и серьезна.

Из писем его сестры к нему видно, что в один из периодов он собирался совсем расстаться с Деманш, так как увлекся какой-то замужней женщиной. Впрочем, до этого времени он три месяца ухаживал за молоденькой девочкой, по имени Полина.

Много еще есть писем женщин, выражающих Кобылину страсть или упрекающих его за то, что он, уверившись в их привязанности, покидает их, или умоляющих его именем матери, именем брата, умершего мучеником, ответить, правда ли, что он женат и на ком.

Сам Кобылин на следствии признавал, что Симон-Деманш часто его ревновала. Обманывал ли он ее, скрывал ли от нее подлинные свои отношения к другим женщинам, сказать трудно, но вот одно письмо от нее, по мнению Кобылина, написанное в 1848 году.

«Сударыня, — пишет Деманш неизвестной адресатке, — спешу писать к вам, хотя я очень груст-

на и очень огорчена. Последний удар, который я должна была ожидать, постигнул меня здесь... Я решила и не хочу быть препятствием ничьему счастью. Но знайте, что эта особа уезжает в чужие края, и господин А.¹ говорит, что я этому причиною, что он теряет эту женщину по милости моих дурных и хитрых советов, что я знала, как он ее любил. Он был жесток и несправедлив со мной, да простит ему бог, как я его прощу за все зло, которое он причинил мне. Я все же думала об его счастье. Судя по искренней и истинной моей привязанности к нему, я не должна ожидать таких грубых упреков, но он несчастлив. Я сожалею о нем, и не сержусь на него, но я должна была решиться уехать, и надеюсь скоро это сделать, потому что теперь нет ничего, что могло бы меня задержать. Я только буду мешать его счастью, как он сам мне это сказал. Госпожа Салиас во всем этом не была за меня. Прошу вас, чтобы сестры господина А. не знали этого, особенно госпожа Салиас...»

Из этого письма мы видим, что в серьезных случаях Кобылин не скрывал от своей подруги чувств, которые он испытывал к другим женщинам, если чувства эти могли побудить его на решительный шаг. Быть может, это письмо имеет связь с тем, которое писала Сухово-Кобылину сестра его, графиня Салиас, советуя брату порвать с новым увлечением и остаться с Симон-Деманш.

Слова француженки, что «госпожа Салиас была не за меня», смущать нас не должны,—француженка была порывиста: многое преувеличивала и могла не знать настоящих советов, которые сестра давала брату.

Во всяком случае, до 1850 года Кобылин оставался холост, и как раз к этому времени, когда совершилось убийство, отношения их в значительной сте-

¹ Александр Сухово-Кобылин.

пени определяются. Француженка понимает, что рано или поздно им придется расстаться, что Кобылина потянет к светской женщине, более близкой ему по происхождению, по богатству и по культуре, и она ведет переписку со своими французскими друзьями и сообщает им о своем желании уехать в Париж.

«Наши московские желания сбудутся, — пишут ей 22 ноября 1849 года ее друзья из Парижа, — и тогда уже ни вы, ни я не покинем Франции, не правда ли, моя дорогая?»

Но вместе с тем она учится русскому языку, и жизнь течет своим деловым порядком; свои горести и огорчения она вымещает на слугах из крепостных людей Кобылина, предоставленных в ее распоряжение, и слуги ее единодушно ненавидят. Она и не скрывает от себя тех чувств, которые питают к ней крепостные. Из-под ее пера вырываются знаменательные сближения. Среди других нейтральных текстов она записывает по-русски: «Они нас убили».

Среди женских писем, приложенных к следственному делу, есть одно, подписанное полным именем. Кобылин датирует его летом 1850 года. Оно написано Надеждой Ивановной Нарышкиной и содержит в себе приглашение приехать в Сабурово — их имение.

Молодая дама пишет насмешливо, но настойчиво:

«Я для вас ездила за шесть верст, и так как это путешествие увенчалось полным успехом, вы обязываетесь пробыть здесь до 5-го числа. Вы должны это сделать вследствие бесконечного доказательства дружбы, которое я вам оказала. Ответьте, если можете, и, во всяком случае, приезжайте спросить у меня прощения и поцеловать у меня ручку, — право, стоит этого.* Прощайте, до свидания. Вы слишком практический человек, чтобы ошибиться

числом и теперь я почти готова считать это достоинством и сознаться вам в этом во вторник. Протягиваю вам дружески руку и прошу бога сохранить вас. Надежда Нарышкина. Сабурово, 30 июля».

О Надежде Ивановне Нарышкиной сведений сохранилось немного. Феоктистов рассказывает, что в 1850 году одна из любовных интриг Кобылина возбуждала в Деманш сильное беспокойство.

«В это время в московском monde засияла новая звезда — Надежда Ивановна Нарышкина, урожденная Кноринг, которая многих положительно сводила с ума. Поклонники этой женщины находили в ней прелесть, на мой же взгляд она далеко не отличалась красотой. Небольшого роста, рыжеватая, с неправильными чертами лица, она приковывала главным образом какую-то своеобразной грацией, остроумной болтовней и тою самоуверенностью и даже отвагой, которая свойственна так называемым «львицам». Н. И. Нарышкина страстно влюбилась в Кобылина, и в обществе уже ходили слухи об интимных отношениях, а вскоре эти отношения перестали быть тайной для кого бы то ни было вследствие страшного события: за одной из московских застав, недалеко от кладбища, мадемуазель Симон была найдена убитой. Кто совершил это преступление?»

Как видим, имя Нарышкиной непосредственно связано с трагическим событием в жизни Кобылина. В настоящее время нам известно даже больше, чем было опубликовано до сих пор об их отношениях.

В ту пору, когда случилось несчастье с французской женой, Надежда Ивановна была беременна, и через несколько месяцев, уже за границей, родила дочь, отцом которой был Сухово-Кобылин. В память погибшей, перед которой Нарышкина и Кобылин чувствовали свою моральную вину за стра-

дания, которые причиняла при жизни ее их связь, они дочь называли Луизой. Впоследствии Кобылин удочерил ее и не расставался с ней всю жизнь.

Легко себе представить положение, в котором очутилась молодая женщина, когда стряслась беда в доме Кобылиных. Она потеряла мужа — Александра Григорьевича Нарышкина, отношения с которым стали невозможны вследствие огласки ее связи с Кобылиным. По этой же причине от нее отплатнулось и московское общество. Вместе с этим стали распускать слухи о том, что убийцей Симон-Деманш был сам Кобылин и что дело происходило не без участия Нарышкиной. А так как Сухово-Кобылин был привлечен к следствию, то слухи эти получили и реальное обоснование.

Надо отдать справедливость Нарышкиной, что она мужественно переносила свое положение. Все дни она проводила у Кобылиных, не скрывая своего дружеского участия к нему, заботилась о том, чтобы Кобылина не допускали к открытому гробу, писала аббату Кудеру и французскому консулу, наконец, сама активно пыталась вмешаться в следствие и подала так называемое «сведение» относительно девушки, которую звали Прасковьей, служившей у графини Салтиас.

Кроме того, она сообщала, что, «находясь в гостях у Авдотьи Васильевны Петрово-Солоповой в то время как случайно было известно об убийстве купчихи Симон-Деманш, она при разговоре с сестрами Сухово-Кобылина говорила, что она слышала от кого-то из своих знакомых, что девушка Прасковья рассказывала о жестоком обращении Симон-Деманш с людьми, но чтобы люди намеревались ее убить, она этого не говорила и ни от кого не слышала». «С Деманш она не только не была знакома, но даже никогда ее не видела».

Так завязался узел, который предстояло развязать или разрубить судебным деятелям той эпохи.

**АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУХОВО-КОБЫЛИН
И ЕГО СЕМЬЯ**

Началось следствие. Несколько дней полицейские чиновники возились с трупом и собирали «сведения».

Московское общество было взволновано загадочным убийством и на все лады обсуждало поведение Сухова-Кобылина перед катастрофой, его отношения к покойной француженке и, в особенности, его новый роман с Н. И. Нарышкиной.

Тайна не раскрывалась, и начали поговаривать о прикосновенности к убийству самого Александра Васильевича.

Направление дела зависело от московского начальника А. А. Закревского. Он и дал соответствующие распоряжения обер-полицмейстеру Лужину. Оба они — генерал-губернатор и обер-полицмейстер — были завсегдатаями московских аристократических клубов и не могли не поддаться влиянию молвы. А в Москве не любили Кобылина.

Кроме того, обер-полицмейстеру пришла мысль, что не спроста приходил к нему Сухово-Кобылин на следующий день после исчезновения своей возлюбленной и просил принять меры к ее отысканию.

При этом он указал два направления — Петербургское шоссе и Хорошевский Серебряный бор. И тело нашли в одном из указанных им направлений, по пути в Хорошово.

Так или иначе, а надо было проверить подозрение.

Полиция явилась к Кобылину в старый флигель дома № 9 по Отрастному бульвару (старая Сенная), где он временно проживал, так как большой дом в это время занимала его сестра, гостившая у него с мужем. Сделали внезапный обыск, обнаружили кровавые пятна в зале, в сенях и на ступенях черной лестницы, составили акт, изъяли пере-

писку и заодно уже захватили два кинжала. А затем Кобылин был привлечен к следствию как заподозренный.

Первый допрос «по форме» ему был учинен 16 ноября 1850 года.

«Объявите ваш чин, имя, отчество, фамилию, сколько от роду лет, какой вы веры, если православный, то на исповеди и у святого причастия бываете ли ежегодно? Из какого вы звания происходите, холосты или женаты, имее ли детей?»

Он ответил собственноручно, нервным, торопливым почерком, пропуская буквы и слоги.

«Отставной титулярный советник Александр Васильев, сын Сухова-Кобылин, от роду тридцать два года, веры греко-российской, на исповеди и у св. причастия бываю ежегодно. Дворянин, холост, детей не имею».

Любопытство следователей в отношении личности Кобылина не простиралось за пределы перечисленных выше вопросов. Внимание их сосредоточилось на имущественном положении допрашиваемого, а в связи с этим — и на обстоятельствах, его уличающих.

Но если б его в ту пору и порасспросили о событиях его жизни, он немного прибавил бы к числу официально необходимых сведений. Он мог бы уточнить данные о дне и месте своего рождения, так как при допросе он убавил себе один год. Он родился 17 сентября 1817 года в подмосковном имении своего отца, селе Воскресенском (Подольского уезда). Следовательно, ему было не тридцать два, а тридцать три года.

Много лет спустя он написал свою автобиографию и тоже не нашел за эти годы многих замалчиваемых событий. Отметил только свои поездки за границу, — в Германию (Гейдельберг), в Париж и Рим, где учился философии и где сходил с выдающимися писателями и учеными. Это научные за-

нятия и беседы о литературе, искусстве, смысле жизни, о политике составляли, по его мнению, очевидно, самое ценное и существенное в его жизни.

Кроме того, он мог бы еще указать на свои успехи, награды и призы на самых разнообразных поприщах. Будучи на третьем курсе философского факультета в Московском университете, он, тогда девятнадцатилетний юноша, получил золотую медаль за сочинение на тему «о равновесии тибкой линии с приложением к цепным мостам». А через несколько лет (1842 г.) он отличился как спортсмен, взяв первый приз на «джентельменских скачках».

Но ипподром и кристалице были для него не праздным развлечением и не только спортивным занятием. Коннозаводство в то время было одной из форм его разнообразной предпринимательской деятельности. И так как он разводил не скаковых, а рысистых лошадей, то в этот раз он скакал на «Шеголе» кн. Черкасского.

Молодой человек из богатой семьи, вращающийся в кругу аристократической «золотой» молодежи, он проявляет какое-то необычайное благоразумие — не кутит, не пьет, не увлекается ничем сверх меры, ни во что не бросается очертя голову, и даже романы его на редкость благоразумны. Женщины, влюбленные в него, безумствуют, препают, ошибаются и падают, а потом искупают свои увлечения долгими муками. А он наслаждается, не задумываясь о цене, которую платят за эти радости увлеченные им женщины.

И он от младенческих лет живет в убеждении, что все на этом свете создано, чтоб служить ему — люди, вещи, картины, идеи, чувства, — все.

Этому значительно способствовали и его личные свойства и воспитание, данное ему матерью, Маврией Ивановной, урожденной Шепелевой.

Сведения о ней дает в своих воспоминаниях

Е. К. Феоктистов. «Эта женщина, урожденная Шепелева, представляла собою довольно оригинальное явление. Говорили, что в молодости она отличалась красотой: следы красоты эти сохранились и в то время, когда я познакомился с нею, но едва ли когда-нибудь красота эта была привлекательна: уже слишком поражала Мария Ивановна отсутствием всякой женственности, чем-то грубым и резким во всей фигуре. Она похвалялась, что в девичьи свои годы сама объезжала лошадей и ходила с ружьем на охоту. Под старость она, конечно, уж не предавалась этим занятиям, но зато не выпускала изо рта сигару. Помещица она была суровая: крепостным приходилось у нее очень жутко. Но так как преподавателями у ее детей были когда-то люди, занимавшие более или менее видное положение в ученом мире, — между прочим, известный П. П. Надеждин и Ф. Л. Морошкин, — то Мария Ивановна была не прочь побеседовать о предметах, вызывающих на размышление, и даже прочесть ту или другую серьезную книгу. Нередко после расправы с горничными и лакеями, когда пощечины щедро расточались ею направо и налево, она закуривала сигару и усаживалась на диване с французским переводом философии Шеллинга в руках. Более странного сочетания мнимой образованности и самых диких крепостнических привычек не случалось мне встречать на моем веку».

Образованность у Марии Ивановны была не мнимая, а действительная, крепостнические же наклонности были дикими не у нее одной. Эти на первый взгляд контрастирующие свойства были типичным, а не исключительным явлением у дворян 40-х и 50-х годов.

Теми же чертами отмечен и образ ее сына, драматурга и философа.

«Не подлежит сомнению, — пишет Феоктистов, — что это был человек очень умный, а о способностях

его свидетельствует уже написанная им комедия; окончил он курс в Московском университете и даже при выпуске получил золотую медаль; он много путешествовал, любил серьезное чтение, словом, все, повидимому, сложилось в его пользу. А между тем, едва ли кто-нибудь возбуждал к себе такое общее недоброежелательство. Причина этого была его натура — грубая, нахальная, несколько не смягченная образованием: этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентельменские манеры, старавшийся казаться истым парижанином, был, в сущности, по своим инстинктам, жестоким дикарем, не останавливавшимся ни перед какими злоупотреблениями крепостного права; дворня его трепетала. Мне не раз случалось замечать, что такие люди, отличающиеся мужественною красотою, самоуверенные до дерзости, с блестящим остроумием, но вместе с тем совершенно бессердечные, производят обаятельное впечатление на женщин. Александр Кобылин мог похвалиться целым рядом любовных походов, но они же его и погубили».

Слова Феоклистова, что Кобылина «погубили любовные похождения» представляют собой явную «поэтическую вольность».

Можно ли говорить так о человеке, который прожил восемьдесят шесть лет, который написал три замечательных пьесы, самостоятельных и ценных порознь и объединенных единой художественной и философской идеей; который сорок лет работал над огромным философским трудом, который удачливо и разнообразно до глубокой старости руководил целым рядом хозяйственных предприятий, заводов, фабрик, вводил сельскохозяйственные усовершенствования.

Погибла его подруга. Но это несчастье не повлекло его гибели ни физической, ни духовной, ни даже экономической.

Мария Ивановна, передавая своему замечательному сыну так много своих черт — и дурных и хороших и оказывавшая на него всю жизнь решительное влияние, заслуживает того, чтобы ей было уделено некоторое внимание.

Она была родом из небогатых и незнатных дворян Калужской губернии. Молодость свою провела почти безвыездно в родовом имении Расва, потому что у родителей не было средств поддерживать необходимый размах жизни в Москве.

И только когда ее дядя Дмитрий Дмитриевич Шепелев женился на Дарье Ивановне Баталшевой, дела всей семьи улучшились.

Дарья Ивановна была единственной наследницей такого огромного состояния, что отец ее не побоялся ни «бедности», ни расточительности будущего зятя. Он говорил: «Я даю за моей дочерью в приданое семнадцать тысяч крепостных душ, полтора миллиона чистого капитала и металлургические заводы; даже если мой зять и захочет, он не сможет всего промотать».

Старик ошибся. Английская конкуренция помогла Дмитрию Шепелеву осуществить задачу почти невозможную, и в 50-х годах дела пришли в такое расстройство, что понадобились исключительные меры. Над личностью и имуществом Дмитрия Шепелева была назначена опека, и в качестве опекуна был приглашен муж Марии Ивановны, Василий Александрович Сухово-Кобылин.

По словам современников, отец писателя был человеком малособразованным, но прямодушным и честным.

Участник отечественной кампании, он был в Париже в 1814 году с русскими войсками, а под Аустерлицем ему прострелили глаз.

Он вышел в отставку с чином полковника артиллерии и некоторое время был уездным предводителем дворянства.

Очевидно, эта должность и расстроила его некогда большое состояние, и он принужден был согласиться принять опеку над огромной имущественной массой, в состав которой входили знаменитые Выксунские чугунолитейные заводы по речке Выксе, в тридцати верстах от г. Муром, Владимирской губ.

В эту пору делами отца ведал по его доверенности Александр Васильевич. Доходы от имений не могли удовлетворить потребностей разросшейся семьи, и будущий драматург рано понял, что без энергии и знаний денег не добудешь. Он сразу махнул рукой на служебную карьеру и весь отдался предпринимательству. «Это были годы, — справедливо отмечает Е. Н. Коншина¹, — когда дворянство уже не довольствовалось одним лишь сельским хозяйством, но, увлеченное общим духом времени развития торговопромышленного капитала, обращалось к различным предприятиям этого рода».

С уверенностью можно установить, что, помимо рационального сельского хозяйства, которое велось Кобылиным в родительских вотчинах, расположенных в разных губерниях, — Московской, Тульской, Ярославской, Калужской и, кажется, Тверской, — помимо лесоразведения, поставленного молодым хозяином на такую высоту, что он получал премии за леса, он занимался животноводством и выписал из Дании специалиста по постройке усовершенствованных скотных дворов.

У него был конский завод, питомцы которого получали призы на бегах. В селе Воскресенском (Моск. губ.) была текстильная фабрика, обслуживавшаяся крепостными руками. В одном имении он поставил спирто-очистительный и винокуренный заводы, а в другом — свекло-сахарный, и Мария Ивановна с чувством удовлетворенной гордости за свое-

¹ Труды Ленинской библиотеки, вып. 3-й, стр. 215.



А. В. Сухово-Кобылин и его отец

го любимца сообщает дочери, что он продал князю Голицыну четыреста пудов сахару по цене восемь рублей серебром. И обещает помочь сестрам поставить и у них такие же заводы. Он с пристальным вниманием следит за механизированной мельницей зятя, Петрово-Соловово, и дает ему дельные советы:

«Механик вам необходим, как хлеб насущный. Здесь, в России, вы дельного не найдете и не берите никого. Все—ленивцы, невежды и вралы». И высказывает общий принцип своей хозяйственной деятельности. «Вообще я придерживалюсь правила *qu'on ne paye jamais trop sur l'intelligence*», — никогда не платят слишком много за знания.

И все его деловые начала носят прогрессивно-буржуазный характер, а не консервативно-дворянский.

В соответствии с этими правилами он выбирает своими (сотрудниками только иностранцев. Вместе с зятем своим, графом Салиас-де-Турнемир, он участвует в организации первого в России завода шампанских вин.

Дело шло плохо, потому что качество шампанского не удовлетворяло изысканных вкусов потребителя, воспитанного на иностранных марках. Но Сухово-Кобылин и здесь проявляет большую оборотливость.

Для сбыта шампанского и водок собственного производства он открывает розничный магазин, рассчитывая торговлей покрыть убытки производства. Номинальным собственником магазина числилась возлюбленная Александра Васильевича, мадемуазель Луиза Симон, на имя которой для этой цели выправили гильдейское свидетельство.

Когда дела Выхсунских металлургических заводов пошатнулись и залупались до того, что понадобилось установление опеки, Александр Васильевич решил использовать положение, благо заводами

этими на опекуном праве управлял его отец. Он задумал поставку руды для заводов и для этого решился на далекую и утомительную поездку в Сибирь. Письма его из Томска за 1847 год показывают, что он умел правильно оценивать экономическую конъюнктуру. Заднюю он присматривался к горнорудному и приисковому делу, но понял, что низкий уровень техники, дальность расстояния и некультурность населения сделают задуманное предприятие перентабельным. И он его оставил.

Как и во всех делах жизни своей, он добивался успехов настойчивым и упорным трудом, не увлекаясь, не зарываясь, не строя иллюзий и воздушных замков, но не останавливаясь перед производственным риском и затратами.

Он рано взял в свои руки заботу о делах всей семьи и так и не выпустил их во всю жизнь. Поэтому фактически вся семья в материальном отношении зависела от него. А он был по своему справедлив, но прижимист, готов был помочь советом, организовать дело, но денег сверх следующего не давал.

Так старшая сестра его, Елизавета Васильевна, после неудачного романа с Надеждиным, за границей вышла замуж за титулованное ничтожество, какого-то бельгийского графа Салиас-де-Турнемир.

Иностраный аристократик взял за женой приданого восемьдесят тысяч рублей, явился в Россию и решил научить русских дикарей производству шампанского. Выписал мастеров, организовал завод и быстро прогорел. Потом вступался в какой-то мелкий скандал, дрался на дуэли и уехал за границу, оставив жену с тремя малолетними детьми. Более она его и не видела.

Материальное положение Елизаветы Васильевны было очень плачевным, но Александр Васильевич отказался давать ей деньги на том формально законном основании, что девушки, получившие при-

даное, считаются выделенными, и им из общего родового имущества больше ничего не причитается.

Помогала Елизавете Васильевне младшая сестра, Евдокия Васильевна (Душенька, Душа, как ее называли в доме), муж которой, Петрово-Соловово, был богатым и добрым человеком. Предоставленная самой себе, Елизавета Васильевна занялась литературным трудом и стала в свое время довольно известной писательницей. Псевдоним ее — Евгения Тур.

Жизнь молодой женщины, помимо несчастного брака и неблагоприятных материальных обстоятельств, особенно тяжелых среди окружавшего ее изобилия и успехов других членов семьи, рано надломилась трагическим романом.

Девятнадцатилетней девушкой Елизавета Васильевна влюбилась в своего преподавателя, профессора Н. И. Надеждина. Отношения, носившие в течение трех лет чисто литературный характер, летом 1834 года углубились и определились. Сближение произошло в подмосковном имении Кобылиных, Воскресенском. Молодой профессор провел там лето, а осенью с Кобылиными приехал в Москву и поселился в их же доме, на Сениной (ныне Страстной бульвар).

Родные, во главе с Марией Ивановной, решительно восстали против неравного брака.

«Семинарист» и «понович», Надеждин в глазах дворянской семьи был человеком без роду и племени, так как происходил из низшего духовенства и даже фамилии своей не имел. Надеждиным он был прозван по распоряжению митрополита (Надеждин — перевод с латинского фамилии Сперанский).

Положение осложнилось тем, что у Надеждина был раньше роман с матерью его возлюбленной, Марией Ивановной. Как далеко зашли их отношения и какой характер приняли, сказать трудно. Несомненно одно: мать и дочь попали в положение соперниц, взаимно ревновали одна другую и обе очень страдали от этого.

В той исключительной активности, которую проявила Мария Ивановна, чтобы разорвать связь дочери с любимым человеком и не допустить этого брака, конечно, больше было женского пристрастия, чем семейной гордости.

Александр Васильевич, всю жизнь обожавший мать, и здесь решительно стал на ее сторону. Он сделал все, что было в его силах, чтобы этот брак не состоялся. Впрочем, не только в семье Кобылиных, но и в московском обществе роман Надеждина сочувствия не вызывал. Знали, что в первое время знакомства Надеждин питал к своей ученице физическое отвращение. Подозревали, что им руководит не столько чувство, сколько желание обзавестись богатой невестой.

На самом деле, в поведении Надеждина было много, что внушало такие подозрения.

Отчаявшись добиться у родителей согласия на брак, влюбленные собирались завершить свои отношения романтическим бегством. По каким-то причинам, до конца не выясненным, побег не состоялся.

Ходил слух, что, по условию, Надеждин должен был ночью ожидать свою невесту на Страстном бульваре. Прошел условленный час, потом другой. Девушка не появлялась. Очевидно, дома что-то ее задержало. Надеждин, сидя на скамье со своим другом, известным врачом и переводчиком Шекспира, Н. К. Кетчером, заснул. Как ни старался Кетчер растолкать его, ничего не помогло. А в это время бедная девушка успела выйти и подавала бесполезные знаки. Через некоторое время, безнадежно махнув рукой, она вернулась под горький материнский кров. Вскоре ее увезли за границу и там выдали замуж за графа Салнас-де-Турнемир.

И ревность, и честолюбие Марии Ивановны получили удовлетворение. Но это наложило неизгладимый отпечаток на отношения между матерью и дочерью.

Конечно, по сравнению с безродным Надеждиным, Кобылины могли считать себя знатью.

На самом же деле среди знаменитых русских родов Кобылины по своему положению занимали второстепенное место. Правда, они своим родоначальником считали знаменитого боярина Андрея Кобылу, от которого вели свое происхождение сами Романовы, они тешили себя семейными преданиями и родословными легендами и числили среди своих предков знатного прусского рыцаря Гланда Камбила, потомка легендарного латышского царя Вейдевуда, но род их был захудалый, при дворе они приняты не были и к так называемой «аристократии» не принадлежали.

Кобылин это понимал, Россию не любил, взоры его были направлены в страны демократические, то есть буржуазные. Поэтому он и высказывает в письмах взгляды, звучащие, на первый взгляд, парадоксально: «Везите детей за границу и воспитывайте в демократическом государстве, и из них выйдут просвещенные и дельные аристократы».

Таким просвещенным и дельным человеком старался он быть всю жизнь, не чувствуя, что труд и знания меняли его классовые позиции и создавали противоречия между его политическими взглядами и жизненной практикой.

НЕ ЛИЦА

Действующие лица в пьесе «Дело» расположены Сухово-Кобылиным по нисходящей: 1. Начальства. 2. Силы. 3. Подчиненности. 4. Ничтожества или частные лица и, наконец, 5. *Не лицо* — Тишка.

Ирония автора в эпоху написания любимой драмы была искренним и серьезным жизнесприятием его до катастрофы. Сам он, будучи частным лицом, еще не ощущал себя ничтожеством. Но окру-

жавших его крепостных слуг решительно считал за «не лица».

В этом смысле великолепен ответ, данный им следственной комиссии на вопрос, не заметил ли он в своем камердинере Макаре Лукьянове, который его раздевал в ночь с 7-го на 8-е, чего либо особенного? — «Не заметил ничего особенного, да и внимания на него особенного не обратил».

Между тем, и в масштабе семьи, и в масштабе страны крепостные заслуживали «особенного» внимания.

Не всегда и не везде они терпели безропотно и безответно издевательства над собою дилких самодуров.

«Правительство, — писал Белинский, в знаменитом письме к Гоголю (1847 г.), — хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и *сколько последние режут первых*».

Так, граф М. Д. Бутурлин¹ рассказывает, что один из богатых московских самодуров — П. А. Базилевский «был высечен крепостными его людьми за жестокое с ними обращение (место происшествия было в деревенской глуши одного из его имений), после чего они же взяли подписку с него, что он действительно был сечен ими, на тот-де конец, что если бы он захотел из милости отдать кого-нибудь из них в рекруты без очереди, то они могли бы тогда предъявить начальству этот документ в доказательство, что он им мстит. Расчет оказался, помнится, верен».)

И подобных эпизодов, характеризующих крестьянскую борьбу против помещиков в эпоху, предшествующую так называемому «освобождению», можно было бы привести много.

Посмотрим, кто были дворовые Кобылиных и как им жилось.

¹ Записки графа М. Д. Бутурлина. Русск. Архив. 1897 год, ноябрь.

К сожалению, сведения об этом крайне скудны. Для буржуазных мемуаристов и для дореформенных приказных дворовые — «не лица», они ни одному из них особенного внимания не уделяют. В лучшем случае отделяются общими фразами о жестоком обращении. Поэтому полных биографических данных о настоящих героях катастрофы 7 ноября мы сообщить не сможем. Все-таки соберем и систематизируем, что есть. Кобылинных обслуживала многочисленная дворня. Управляющий — Николай Фирсов, экономка — Анна Фирсова, конторщик — Федор Федотов, личный камердинер Александра Васильевича — Макар Лукьянов, дворники — Игнат Пахомов и Антон Павлов, кучера — Игнат Макаров и Иван Тимофеев, прачка — Марфа Игнатъева, плотник — Саввин Карпов, наконец, повара — Никифор Матюфеев и Ефим Егоров и некоторые другие. Была, само собой, и приживалка, мещанка Екатерина Ильина. Симон-Деманш, жившая отдельно в доме графа Гудовича по Брюсовскому пер., уг. Тверской, имела в своем распоряжении из крепостных людей Сухово-Кобылина двух горничных: Пелатею Алексееву — пятидесяти лет и Аграфену Иванову Кашкину — двадцати семи лет, кучера — Игната Макарова и повара Ефима Егорова.

Кроме того, для нужд магазина ей служили: конторщик Федор Федотов и мальчик по винной части Галактион Козьмин лет шестнадцати-семнадцати. Он же иногда исполнял обязанности кучера.

Ефим Егоров жил в старом флигеле Кобылиных, но готовил на кухне Деманш, так как Александр Васильевич чаще всего обедал у нее.

Сведения о нем мы заимствовали из показаний Сухово-Кобылина. Барин отозвался о слуге, как о человеке «умном и для своего звания довольно образованном», и объяснил, что «повар Ефим Егоров поступил к нему в услужение с октября 1849 года,

жалованье получал он от его домовой конторы, как и другие служители, по третям года, за каждую треть по пятидесяти рублей ассигнациями, а в год сто пятьдесят рублей ассигнациями, на всем господском содержании; сверх того, он постоянно имел дозволение отлучаться из дому его на работу, чем еще более мог увеличивать свои денежные средства, а когда случалось ему готовить кушанье у Симон-Деманш, то получал от нее денежное вознаграждение, что составляло в год приблизительно до пятидесяти рублей ассигнациями, и он оставался ею доволен, как сам говорил смотрителю дома графа Гудовича, Дорошенку».

Последний, действительно, подтвердил ссылку на него и добавил, что «о хорошем житье слуг у Деманш» они ему сами говорили, и, кроме того, он лично заметил, что «утром и вечером ежедневно они пили чай, а в праздниках имели пироги».

Этот чай с пирогами оказался достаточным, чтоб преданный и выслужившийся холуй показывал о хорошем житье слуг Деманш против всех без исключения соседей и знакомых.

«Несмотря на то, что содержание и денежные средства Ефима были вполне удовлетворительны, в последнее время дознаю им, что он не только не имел лишнего денег, но постоянно в них нуждался», — утверждает Кобылин и находит этому причину «в частых отлучках из дому, которые принимал он как занятие своим ремеслом». На самом деле, они «имели источником праздность и привычку бродить по трактирам и другим местам; быв в учении в доме Рахманова, он отправлен был за два года пред тем родителями его, Кобылина, в Петербург, где находился в кухне графа Воронцова-Дашкова. Естественно, что привычки, приобретенные им в домах сих, а еще более знакомство с какой-то женщиной в башмачном заведении Цармана далеко превышали денежные средства, получаемые им из его

домовой конторы, и, наконец, дознано также им, что он, Ефим, занимался и картежною игрою».

Девушку, служившую в башмачном заведении Цармана, звали Татьяной Максимовой. Ефим Егоров не отрицал, что с ней у него была любовная связь.

«Умный и для своего времени довольно образованный», избалованный жизнью среди чужого изобилия, развращенный трактирной культурой, девками «вольного обращения», карточной игрой и овязью с башмачным заведением Цармана, которое пользовалось дурною, но вполне определившеюся репутацией, повар Ефим Егоров только в 1849 году, то есть двадцати лет от роду, уже сложившимся человеком, поступает под тяжелую руку Кобылина и Деманш. Пришел он в дом к Кобылину уже озлобленным и на барина и на его фаворитку, так как незадолго до этого в горничных у Деманш служила его сестра, Василиса Пастухова.

«В услужении у ней была в продолжение трех месяцев, — рассказывала Василиса, — и отошла от нее по строптивому и злomu ее характеру. Злоба происходила от того, что она по-русски говорила невразумительно и разговора ее она не понимала, не могла ей потрафить в исполнении приказаний, за что она, выходя из себя, бивала ее».

Василиса самовольно сбежала от Деманш в дом Марии Ивановны, а та в наказание отправила ее в деревню Бегил и выдала замуж «за мужика».

Случай с Василисой Егоровой был не единственным. Как сообщал на следствии Ефим, та же судьба постигла Прасковью Тимофееву, которая, впрочем, сумела откупиться на волю, затем Настасью Никитину и Дарью Федорову.

Галактион Козьмин, чернорабочий по винной части, получал по пятнадцати рублей ассигнациями в месяц жалованья на хозяйских харчах. Эти занятия его в самый день преступления были окончены: «вп-

но окончательно розлито в бутылки и уложено в ящики для отправки; самый подвал, где производилась работа, сдан домовладельцу, а сам Галактион через несколько дней должен был получить расчет; мало того, он отправлялся с ведома его в свою сторуку для женитьбы».

«Две женщины, Аграфена и Пелагея, определены были к Деманши не из его дома, а за несколько месяцев перед сим были привезены из тульской вотчины, где они работали на ткацкой фабрике».

Фабричные работницы стали горничными. Отдельного помещения для прислуги у Деманши не было, Пелагея спала на кухне с Галактионом.

Жалованье им было обещано в месяц один рубль серебром; но фактически оно не выплачивалось. Пелагея служила с декабря 1849 года по ноябрь 1850 года, и получила во все время один целковый, а Аграфена — с января 1850 года и ни разу денег не получала. Из одежды Аграфене за время-службы сшили одно ситцевое платье и дали два шейных платка, каждый в пятиалтынный, а Пелагею и того не сделали. «Обувь была ее, Деманши, а одежда верхняя и нижняя собственная».

На пищу люди не жаловались.

Вспомним, что на провизию для одного дня Кобылин отложил три золотых полуимпериала.

Впрочем, расход провизии был под зорким контролем, потому что за сливки, истраченные без приказа, Кобылин бил Пелагею так, что она была без памяти.

ИСТОЧНИКИ ДЕЛА

Заведенное 9 ноября 1850 года дело «О зарезанной временной купчихе Луизе Симон-Деманш» окончилось туманным приговором, который одинаково отпускал на свободу и Сухово-Кобылина, и сознавшихся крепостных. Тайна осталась неразрешенной.

Приговор имел тяжкие последствия для Кобылина. Московское общество отшатнулось от писателя. Все решило, что крепостные оправданы потому, что они действительно невиновны, а Кобылин — потому, что сумел откупиться от правосудия. Даже люди, близкие Сухово-Кобылину, как Голомбневский и Рембелтинский, которые взялись за старинное дело с искренним желанием реабилитировать писателя, и те остановились на полдороге. Кобылина они действительно сочли шепованным в крови своей любовницы, но истинных виновников преступления они не назвали.

Последний исследователь старинного процесса Леонид Гроссман вынес Сухово-Кобылину непоколебимое: «Да, виновет». И все же на вопрос: где и когда пробыл последний час несчастной француженки, он принужден был ответить: «Обо всем этом приходится гадать, соображать и строить умозаключения».

Если обвинитель не может с точностью доказать, что убийцей был именно Кобылин, если не может

установить времени, места и способа совершения убийства, а также и сокрытия следов преступления, он должен признать несостоятельность обвинения, а не строить гипотез, догадок и умозаключений.

В деле Кобылина защита имела бы полную возможность ограничить свою деятельность. На единственно необходимый вопрос: «Доказано ли, что в ночь с 7 на 8 ноября А. В. Сухово-Кобылин убил описанным в актах способом французенку Симон-Деманш», вполне достаточно было бы ответить защите: «Нет, не доказано».

Вся тяжесть доказательств лежит на обвинителе.

И особенно осторожен должен быть обвинитель в отношении к мертвому подсудимому, который уже не может восстать сам и опровергнуть обвинительные гипотезы.

Приняв на себя защиту Сухово-Кобылина в непоколебимом убеждении, что великий комедиограф неповинен в убийстве, мы не ограничиваем своей задачи установлением только того обстоятельства, что обвинение против Кобылина не доказано.

Внимательное ознакомление с делом привело нас к выводу, что по существу дело необычайно просто, никаких тайн и загадок в нем нет, и мы легко сможем ответить на вопросы о том, — кто, где, когда и каким способом убил французскую гражданку Луизу Симон-Деманш.

Из сохранившихся материалов на первое место надо поставить три тома старинного производства, найденные недавно в Московском губернском архиве.

Первый том (дело № 215, связка № 22) содержит в себе следственный материал, собранный комиссией Шлыкова и его полицейскими предшественниками. В двух других томах находится производство Чрезвычайной следственной комиссии.

Это материал первостепенной важности. Там содержатся собственноручные записи показаний Ко-

былина и других прикосновенных к делу лиц. В частности, собственноручное признание Ефима Егорова.

Выцветшие, уже истлевшие страницы старинного производства сохраняют полностью редакцию вопросов и ответов. Современный исследователь не может передопросить свидетелей, поэтому, читая старинное следствие, он, прежде всего, учит формулировку вопроса и в связи с ней характер ответа. В некоторой степени это может заменить непосредственный допрос.

Кроме того, в Ленинградском центральном архиве хранятся два дела: первое (по архиву № 10606)— «Дело государственного совета гражданского департамента о дворовых людях Сухово-Кобылина, судимых за убийство купчихи Симон-Деманш», 1853—1854 гг. (на 304 листах); второе (по архиву № 11 644)— «Дело государственного совета гражданского департамента об убийстве иностранки Симон-Деманш» (на 284 листах).

В театральном музее имени Бахрушина хранится экземпляр печатной «записки» (инвентарный № 5491).

Здесь же отметим, что «записка» — это технический термин. Им обозначались процессуальные документы, которые секретари составляли для судей. Сами судьи подлинных дел не читали: одни по неграмотности, другие же из барского или по-чиновничьи равнодушного отношения к делу. Поэтому, прежде чем подвергнуться разбору, дело должно было пройти сквозь фильтрацию канцелярского средостения. Секретари с их помощниками обязаны были изготовить «з а п и с к у» с изложением дела и с доводами сторон, произведя при этом надлежащие справки и ссылки на законы» (Бочкарев).

«Записка» заканчивалась следующим скреплением секретаря:

«Сия «записка» из дела учинена правильно, и

узаконения приличны приведены все, и больше приличных узаконений не имеется, в чем и подлежку ответственности по законам за всякую несправедливость».

Для суда эта «записка» являлась отправной точкой, а иногда и единственным материалом при разборе дела, на что по закону определялось *не более трех часов*.

Перечисленные выше источники содержат в себе ряд неравноценных сведений. Наибольшую силу в глазах современного исследователя имеют протоколы осмотра местности и трупа, а также медицинского освидетельствования. Затем планы квартир, протоколы обысков и, наконец, письма.

Свидетельские показания, так же как и показания подсудимых, излагаются в «записке» в виде связного рассказа, и не всегда можно судить о том, как был поставлен вопрос для получения того или другого ответа. Поэтому нам приходится в отдельных случаях проверять «записку» по подлинным записям вопросов и ответов.

Помимо этих, так сказать, официальных источников, современный исследователь располагает еще и дополнительным материалом в виде дневников, записок, писем и воспоминаний участников дела и современников их. Сохранились отрывки из дневника Кобылина, опубликованы в печати воспоминания Феоктистова, Рембеллинского, обер-прокурора Сената К. И. Лебедева и других.

Этим материалом можно пользоваться только для подтверждения обстоятельств, установленных объективными данными следственного производства. Совершенно неправильно пополнять ими отсутствие точных сведений и строить гипотезы для освещения темных мест процесса. Нельзя забывать, что все эти записки и воспоминания представляют собой худший вид свидетельских показаний. В этих записках, письмах, дневниках и воспоминаниях, исклю-

чая дневники Кобылина, свидетельствуют люди о том, чего сами не видели, передают слухи из вторых, а, может быть, и третьих рук.

Наконец, отметим и те источники сведений о старинном деле, которые должны быть отброшены с точки зрения азбуки уголовного процесса. К их числу принадлежит, прежде всего, молва, сплетня или, по выражению Л. Гроссмана, «общественная версия».

«Образовалось два мнения, — вспоминает Феоктистов первые дни после катастрофы: — одни утверждали, что убийцей был Кобылин, другая версия приписывала преступление слугам Кобылина, отданным в распоряжение Деманш, которые решились умертвить женщину, так как считали ее главной виновницей своей печальной судьбы». По мнению Феоктистова, обе версии были правдоподобны.

Какой же это судебный материал?

В данном случае одна версия исключала другую, и, следовательно, обе были непригодны для какого-нибудь положительного суждения. Но если бы даже после убийства француженки в обществе образовалось одно мнение, никакой разницы с точки зрения правильного судебного приговора не было бы. Всякая сплетня, всякий слух, всякая молва представляют собою то неизвестное, тот икс, который только подлежит проверке судебными средствами. Сам по себе слух ни уликой, ни доказательством на суде служить не может. Молва может иногда помочь следователю, но она всегда мешает судье. Следователь должен молву проверить, но если нет возможности подкрепить и подтвердить слух точными и объективно проверенными доказательствами, такому слуху не может быть места в числе судебных доказательств.

Еще меньше можно пользоваться материалом, который Леонид Гроссман назвал «свидетельство Боборыкина».

Как известно, писатель Боборыкин в художественной форме изобразил преступление, подобное тому, которое молва приписывала Кобылину (повесть «На суд»).

Можно ли из этого сделать вывод, что Боборыкин свидетельствует против Кобылина и что ему известен истинный виновник убийства?

Разве писатель не может использовать слух, молву, ни на чем не основанную сплетню, как благодарный материал для художественного произведения?

Обычная ошибка «общественной версии» в том, что все недостающие факты пополняются желаемыми. Сплетня, слух, молва, легенда ценны тем, что они определяют отношение общества к лицу, о котором создается легенда.

Художественное произведение, ни в коем случае не может быть признано свидетельством против живого, реального подсудимого.

Из характера сплетен, слухов и пересудов о Кобылине можно сделать только вывод, что Кобылина не любили в обществе. Это подтверждается и современниками.

«Что касается Кобылина, — пишет Феоктистов, — то из разговоров, которые мне приходилось слушать, я мог убедиться, что, за редким исключением, никто не принимал его сторону: такое успел он внушить к себе отвращение».

Именно поэтому нельзя принимать «общественную версию» как улику против Сухова-Кобылина. Чем хуже было отношение к нему московского общества, тем легче могла зародиться такая сплетня, тем благодарнее почва, которую она нашла для своего распространения и, значит, тем строже должны отнестись к такой сплетне судьи, тем менее пригодна эта сплетня служить уликой для суждения о виновности Кобылина.

Ненависть к Сухово-Кобылину, очевидно, была

так велика, а злоба, которую он возбуждал, была так интенсивна, что через несколько лет после его смерти на страницах «Русского архива» Павел Россияев позволил себе беспримерный в литературной истории поступок: он привел свидетельские показания анонима, не пожелавшего открыть своего имени.

Изложив «общественную версию» (сплетню) о встрече во флигеле Сухово-Кобылина Нарышкиной и Деманш и о трагической сцене, якобы там разыгравшейся, Россияев продолжал:

«По А. М. Рембелинскому, это мало вероятная версия и вздорная болтовня. Что делать?»

А мы, окираясь на свидетельство родственника А. В. Сухово-Кобылина и посейчас здравствующего лица, верим, что наш известный писатель действительно был убийцей француженки Симон.

И не одна только эта родственница знает про драму в жизни писателя».

Так свидетельствует Россияев со слов неведомой родственницы Сухово-Кобылина.

Как известно, очевидцев преступления, кроме его непосредственных участников, не было совсем. Что же могла рассказать пресловутая родственница: повторила ли она ходившие по Москве слухи или изложила собственные предположения? Мы не знаем, какие это были предположения и сколько лет было свидетельнице, когда жизнь Сухово-Кобылина была переломлена громадным несчастьем.

Россияев описывал это свидетельство в 1910 году, преступление совершилось в 1850 году — за шестьдесят лет до свидетельства. Сколько же могло быть лет «ныне здравствующей родственнице» во время производства следствия по делу? Несомненно, что в 1850 году эта особа была очень юной.

Мы же точно знаем, что ни в квартире Деманш, ни во флигеле Сухово-Кобылина детей в то время не было. Единственные родственники, проживавшие в большом доме по Страстному бульвару, были:

сестра Сухово-Кобылина Евдокия Васильевна, с мужем полковником Петрово-Солововым.

Нет никаких оснований предполагать, чтобы свидетельство безымянной родственницы имело хоть какую-нибудь ценность.

Павел Россиев ей верит. Вольно ему. Это бы и оставалось его личным делом, если бы он не решился опубликовать такого недопустимого и недобросовестного показания.

В нашем исследовании мы будем опираться на источники возможно более точные и поддающиеся объективной проверке. Все спорное и неясное мы будем либо подвергать по возможности такой же проверке, исходя из положений, уже доказанных, раскрытых, или же просто будем отбрасывать. При этом мы проверим не только результаты следствия, но и действия самих следователей.

В первую очередь мы остановимся на следственной и судебной системе, а для этого познакомимся с дореформенным уголовным процессом.

ДОРЕФОРМЕННЫЙ ПРОЦЕСС

«Старый суд. При одном воспоминании о нем волосы встают дыбом и мороз дерет по коже», — писал славянофил И. С. Аксаков, прослуживший в системе дореформенных судов первые годы своей молодости.

Какими же конкретными чертами должен быть отмечен этот старый суд, чем помянуть его, чтобы современный нам читатель, строитель социализма и участник величайшей эпохи в мировой истории, мог хотя бы отдаленно представить себе специфические ужасы, бытовавшие в дореформенном судилище.

Всякий, кто войдет в двери пролетарского суда, сразу увидит, что нынешний суд представляет собой олицетворенное мышление, где обвинитель устанавливает положение (тезис), защита — противоположение (антитезис) и, наконец, беспристрастный судья высказывает свое синтетическое суждение. В его лице государственная власть заинтересована, прежде всего, в установлении факта и правды, и, только установивши действительного виновника преступления, судья ставит перед собой вопрос о личности подсудимого и об его отношениях к обществу. Действительно ли эта личность социально опасна и какие меры нужно принять для того, чтобы оградить общество от ее действий.

Поэтому приговор современного суда, основанный на социальной целесообразности, необычайно гибок и разнообразен. Одно и то же действие может вызвать совершенно различную судебную реакцию.

Современный суд — гласный, открытый, представляет собой борьбу сторон, а современное следствие начинается с того, что подсудимому предъявляется конкретное обвинение и предоставляются возможности для оправдания.

Дореформенный суд и дореформенное следствие были построены иначе.

Старый суд эпохи «Свода законов», так же как и весь государственный и общественный строй того времени, был пронизан сословностью. И это было главным органическим пороком суда.

Задача старого суда сводилась к отысканию условного вывода, правильного с точки зрения процессуальной логики того времени.

Нынешний суд спрашивает: доказано ли, что А. сделал то, в чем его обвиняют?

Старинный суд ставил вопрос иначе: имеются ли в достаточном количестве предустановленные законом доказательства? И если таковых не было, суд не имел права делать выводы из того разнообразного материала, который давался жизнью, а должен был за отсутствием «совершенного» доказательства отказываться от постановки приговора.

Судьями были выборные от дворянства или от купечества.

Между тем, мелкопоместные дворяне, которые повсеместно преобладали на выборах, в своей массе отличались почти поголовным невежеством. Многие из них за безграмотностью не могли даже расписаться в получении пособия (А. И. Кошелев).

Образовательного ценза для судей закон не устанавливал, и каждый дворянин, имеющий какой-

нибудь чин, или купец, приписанный к гильдии, могли быть избраны на любую должность в местных судебных установлениях. Поэтому в судах первой инстанции неграмотные или малограмотные составляли большинство. Даже в Сенате образованные люди являлись большой редкостью. В 1841 году в семи петербургских департаментах Сената и двух общих собраниях, имевших отдельную канцелярию, было всего только шесть человек с высшим образованием (Бочкарев).

Кто же играл главную и реальную роль в судах? Конечно, не судьи, а секретари и столоначальники, — люди в большинстве своем опытные и находчивые, прекрасно разбиравшиеся в делах, имеющие полную возможность под покровом бюрократических форм направить или затянуть всякое дело.

Деклассирующееся дворянство вносило в суд крепостнические навыки и смотрело на свою должность паразитически, — отсюда поголовное чудовищное взяточничество, процветавшее в судах.

Любопытно, что исследователь дореформенного суда Бочкарев, желая дать читателю яркое представление о бесчисленном множестве тех ухищрений, путем которых неопытные в проделках судебных канцелярий люди быстро попадали в крепкие сети дореформенного крючкотворства, воспроизвел письмо Кречинского из пьесы Сухово-Кобылина «Дело» о взятке.

Художник помог ученому. Недаром Сухово-Кобылин писал «с натуры». За семь лет судебной волокиты Кобылин стал глубоким знатоком старинного уголовного процесса.

Много вдохновенных строк уделено в русской литературе теме «взятки». От Капниста до Щедрина, все, что было в России честного, в первую очередь обрушивалось на исконное зло бюрократического аппарата.

Взятку высмеивали в «Ябед» знаменитыми куплетами:

Бери, — большой тут нет науки,
Бери, что только можно брать.
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать.

Взяточников хлестали по лицу:

Ты скажи мне, гадина,
Сколько тебе дадено.

Но никто не написал о взятке такой жестокой правды, как Сухово-Кисылин. Сосредоточившись на судебной или уголовной взятке, он дал жуткую картину сложных приемов лихоимства и вымогательства, он установил, что взятка является целой наукой, что приемы ее получения доведены до высоты тонкого, хотя и обратительного искусства.

Он же вскрыл и пороки системы, делающую взятку неизбежной, он показал социально-экономические корни взяточничества и этим значительно помог пониманию классовых отношений эпохи.

Выводы ученых подтвердили правильность творческих «вымыслов» художника.

«Главной язвой, разъедавшей старье суды, было поголовное взяточничество, в котором повинны были решительно все, от мелкой приказной сошки до сильных высокопоставленных чиновников министерства юстиции. Почти все современники в один голос говорят нам о широко распространенном обычае *брать с правого и виноватого*, брать всем, чем ни попало».

В эпоху Николая I все были настолько проникнуты мыслью о невозможности жить без взяток, что сам министр юстиции, граф Панин, составляя рядную запись в пользу свей дочери в петербургском уездном суде, вынужден был дать взятку через директора департамента Тапильского в сто рублей надсмотрщику, в руках которого находилось это дело.

Взятничество было не только следствием глубочайшего морального падения, до которого докатилось николаевское чиновничество, — взятка была и необходимою не только личной, но и государственной. Жалованье чиновников было так ничтожно, что без взяток они бы не просуществовали. Даже в высших губернских судебных установлениях, в палатах уголовного и гражданского суда, при распределении общей суммы, на долю некоторых канцелярских чиновников приходилось нередко меньше одного рубля в месяц. Если бы не «добровольные» приношения посетителей, в канцеляриях не на что было бы бумагу купить, — так ничтожны были ордества, отпускаемые от правительства.

Система дореформенного судоустройства и судопроизводства необычайно помогала всяким злоупотреблениям и покрывала их. Судоустройство отличалось тем, что судебные места были натромождены беспорядочно друг на друга и представляли собою неизмеримо запутанную систему. Уголовный процесс был проникнут так называемым розыскным, инквизиционным началом.

«В этом процессе, — по словам даже таких консервативных профессоров, как И. Я. Фойницкий, — идея *государственности* поглощает все другие; права личности отрицаются в обвиняемом, который становится предметом исследования; отрицаются эти права в обвинителе, которого заменяет безличная воля закона, стремящегося определить движение процесса; отрицаются и в судьях, которые связываются формальной теорией доказательства; понятие сторон изгоняется из процесса; последний перестает быть живым судебным спором их и превращается в безличное исследование, движущееся волею одного закона; понятие обвинения заменяют ловоды возбуждения уголовного дела; обжалование уступает место ревизионному порядку; все участвующие в процессе лица обязываются по долгу

службы стремиться к раскрытию материальной истины, достижение которой объясняется государственным интересом».

Отсюда громадный разрыв между формально правильными приговорами и жизненной правдой. Самую гнусную, вопиющую неправду можно было облечь в безукоризненно точные канцелярские формы. Следствие заключалось преимущественно в «собрании бесспорных доказательств» к открытию и обличению виновного, а судебное разбирательство почти исключительно сводилось «к суждению по силе доказательств о виновности или невинности подсудимого и к постановлению приговора на основании совокупности бесспорных улик».

Следствие распадалось на предварительное и формальное. Предварительное следствие могло начаться при наличии установленных в законе поводов.

Предварительное следствие должно было сводиться к исследованию «буде возможно по горячим следам» того, действительно ли случилось происшествие, заключающее в себе преступление.

Формальное следствие состояло «в обнаружении и приведении в совершенную известность, над каким лицом или имуществом учинено было преступление, в каком действии оно состояло, каким способом, когда, где и кем было совершено, одним словом, чтобы вообще все обстоятельства дела приведены были в ясность и полноту».

Все производство следствия было тщательно регламентировано, затем добытый следствием материал поступал в суд. Как во время следствия, так и в суде все основные этапы процесса проходили без непосредственного участия прикосновенных к делу лиц или их поверенных. Следствие было письменным, бумажным и тайным. Кроме того, суд был скован системой формальных предустановленных доказательств.

«Эта система дает в руки суда готовый рецепт, где

установлены заранее виды и дозы доказательных средств»... — пишет А. Ф. Кони.

Задача сводится к механическому сложению и вычитанию доказательств, вес и взаимная сила которых заранее определены, причем даже и для сомнения есть определенные формальные правила. Хотя при господстве розыскного следственного процесса судебная власть сама собирает доказательства, но, собрав их, она не дает суду права свободно сопоставлять и сравнивать их, руководствуясь внутренним убеждением, а указывает ему для этого готовое непреложное место.

«Время господства системы формальных доказательств может быть поэтому названо временем *связанности внутреннего убеждения суда*.

В силу правил о формальных доказательствах закон требовал от судьи признания виновности лишь при *совершенных* доказательствах. По отношению к главному из доказательств вообще — показанию свидетелей — было принято законом, что они по отношению к установленному ими обстоятельству не имеют силы «совершенных» доказательств, если не даны под присягой и притом двумя свидетелями, буде только один из последних не мать или отец, показывающие против своих детей. Когда судья встречался с искренним и правдивым показанием, закон говорил ему, что оно не идет в счет, если свидетель признан по суду «явным прелюбодеем», или «портившим тайно межевые знаки», или оказывается иностранцем, «поведение которого неизвестно» и вследствие этих своих качеств не может быть допущен до присяги. Но и по отношению к показаниям, данным под присягой, закон предписывал давать предпочтение показанию знатного над незнатным, духовного перед светским, мужчине перед женщиной, ученого перед неученым».

«Эта система, связывая убеждение судьи и внося в его работу элемент бездушного механизма, соз-

давала уголовный суд, бессильный в ряде случаев покарать действительно виновного, но достаточно могущественный, чтоб разбить личную жизнь человека слиянием бесконтрольного возбуждения преследования воедино с преданием суду и оставлением невинного *в подозрении*, что заставляло его болезненно переживать стыд, который ни разъяснить, ни сбросить с себя нельзя. Под ее покровом вершились иногда уголовные дела, содержание которых и теперь, по прошествии многих лет, волнуется при знакомстве с ними и оскорбляет чувство справедливости» (А. Ф. Кони. Введение к Уставу угол. судопроизводства, под. ред. М. Н. Гернета, 1914 г., стр. 6).

Уголовный процесс усложнялся обилием инстанций в судах.

Первой инстанцией окончательно решались дела о чрезвычайных происшествиях в том случае, когда преступник не был отыскан. Все они шли на утверждение губернатора, а если губернатор был не согласен с решением суда, то дело передавалось на ревизию второй инстанции. Но по преступлениям, влекущим за собой наказания, сопряженные с лишением прав состояния, судьи первой инстанции могли выносить только мнение, которое шло на ревизию Уголовной палаты.

В некоторых случаях дела обязательно шли на ревизию Сената. Например, когда дворянин приговаривался к наказанию, сопряженному с лишением прав.

Некоторые дела шли еще дальше Сената. Так, в Государственный совет поступали все те приговоры, по которым или не состоялось надлежащего большинства голосов в Сенате, или следовал протест генерал-прокурора.

Наконец, «на высочайшее утверждение вносились дела, по которым в преступлениях участвовали помещики вместе со своими крепостными».

Таким образом, дело Кобылина по свойствам своим обречено было пройти после предварительного и формального следствия не менее пяти инстанций и закончиться высочайшим утверждением.

Не лучше суда было и следствие, производившее преимущественно чинами полиции.

Как замечает Кони, «следствие было в грубых и нечистых руках, а между тем составляло не только фундамент, но, в сущности, единственный материал для суждения о деле».

В бытность А. Ф. Кони прокурором Казанского окружного суда, где знаменитый судебный оратор начал свою деятельность при самом введении судебных уставов, ему пришлось ознакомиться с целым рядом следственных дел, производившихся до-реформенными следователями. Насколько неграмотны были эти следователи, свидетельствуют заголовки на обложках.

Так, на одном деле стояло: «О происшествии, заключающемся из преждевременных родов». На другом: «О крестьянине Василии Шалине, обвиняемом в нанесении волостному старшине кулаками буйства на лице».

Лично мне в захолустном уездном суде показывали старинную обложку, где четким писарским почерком было выведено: «Дело генеральши Шмурло о согбеннии двух пальцев со внедрением между ними третьего и присовокуплением слов: «На-кося, выкуси»».

Закон воспрещал чинить «пристрастный допрос, истязания и мучения», но предписывал стараться обнаружить истину через тщательный расспрос и внимательное наблюдение и соображение как слов, так и действий подсудимого.

Однако допросы «с пристрастием» были рядовым явлением. «Кормление соленым сельдем не в виде пытки» составляло самый обыкновенный прием полицейского следствия.

В 50-х годах один из московских частных приставов судился за то, что, выворотив руки заподозренному в грабеже, связал их бичевкой, а затем подвешивал на-перекосяк, отчего тот лишился рук.

Подводя итоги исследования свойств и особенностей дореформенного суда и подходя к старому суду с точки зрения сторонника судебных уставов 1864 года, Бочкарев замечает:

«Итак, нашему старому суду эпохи Свода законов присущи были следующие органические недостатки:

1) Принцип сословности, как основная система судоустройства; 2) низкий умственный и нравственный уровень личного состава суда; 3) нищенские оклады жалованья по ведомству министерства юстиции, порождавшие непомерное взяточничество решительно во всех судебных местах; 4) рабская зависимость суда от администрации; 5) фактическое бессилие прокурорского надзора; 6) бесконечное разнообразие и многочисленность судебных инстанций; 7) непомерная волокита при обилии процессуальных форм; 8) отсутствие устности и гласности в судопроизводстве; 9) господство канцелярской тайны; 10) следственный или инквизиционный характер процесса, основанный на теории формальных доказательств; 11) бесцельная жестокость карательной системы».

Особенности и свойства старинного суда и следствия надо твердо помнить при чтении памятников одного из самых замечательных дел той эпохи.

УЛИКИ ПРОТИВ СУХОВО-КОВЫЛИНА

Члены первой следственной комиссии — Троицкий и Хотимский — во время «переследования» признали, что поводом к обыску во флигеле Сухово-Кобылина было то, что московский обер-полицмейстер в своем предписании частному приставу Хотимскому о производстве следствия в связи с убийством Симон-Деманш упомянул фамилию Сухово-Кобылина, который первый явился к нему с извещением о том, что Симон-Деманш не возвращалась домой.

«Побудительной причиной, — гласит показание следователя Троицкого, — к отобранию при обыске от Сухово-Кобылина двух кинжалов, найденных у него, *была записка, в числе многих, писанная рукою Сухово-Кобылина на французском языке, который он (то есть следователь Троицкий) понимает. В записке этой он намеревается поразить Симон-Деманш кастильским кинжалом.*»

Итак, при самом начале следственных действий подозрительным показалось:

1. Сообщение Сухово-Кобылина полицмейстеру о том, что Симон-Деманш не возвращалась домой.
2. Французская записка.
3. Два кинжала.

О явке Кобылина к обер-полицмейстеру мы скажем ниже, когда будем обсуждать вообще все по-

ведение Сузово-Кобылина после убийства. А пока — только о записке и кинжалах.

Деманш не заколота кастильским кинжалом, к данному убийству угроза поразить ее прямого отношения не имеет. Но угрожал, значит — намеревался. По общественной версии, убийство произошло в запальчивости и раздражении, то есть непреднамеренно. О каком же предварительном намерении можно говорить по поводу непреднамеренного убийства?

Все-таки познакомимся с запиской. Л. Гроссман поместил ее в приложении к своей книге неясно, в каком качестве. Не то как материал для биографии Кобылина среди других документов, безразличных для раскрытия дела, не то как документ, подтверждающий обвинительную версию.

Для этой роли документ совершенно непригоден.

Вот дословно его текст:

„Chère Maman, il se trouve que je resterai quelques jours à Moscou. Sachant que vous n'êtes restée à la campagne que pour faire vos farces et pour écouter une passion qui, hélas! ne vous dit pas mon nom, mais celui d'un autre!.. J'aime mieux vous rappeler près de moi pour avoir une femme ingrate et perfide sous mes yeux et à la portée de mon poignard Castillan.

Revenez et trrrrrr..... blez“¹.

Принятая всерьез записка эта не имеет просто никакого смысла. Письмо — конечно, шутка. Но и в шутливой форме оно не содержит никакой угрозы. Следователи и сами признавали записку шутливой,

¹ «Милая мамочка, случилось так, что я несколько дней останусь в Москве. Зная, что вы остались в деревне только для того, чтоб разыграть ваши фарсы и слушать голос страсти, который твердит вам, увы, не мое имя, но имя другого, я предпочитаю призвать вас к себе, чтоб иметь неблагодарную и вероломную женщину под моими глазами и у порога моего кастильского кинжала. Возвращайтесь и тррр...епещите».

но их смущало упоминание о кастильском кинжале.

Между тем, все письмо носит грубо эротический характер. Кобылин, предвидя, что его любовница будет слышать голос страсти (*escuiter une passion*), предпочитает призвать ее к себе, чтобы иметь ее под своими глазами (*sous mes yeux*) и у порога... своего кастильского кинжала. образу кастильского кинжала придан явно эротический смысл. Наконец, последнее *ttttt...* *blez* имеет в виду, конечно, трепет страсти, а не страх смерти. Это ясно и по начертанию и по смыслу. И не должен Л. Гроссман говорить о Сухово-Кобылине, как о человеке, изящно угрожающем любимой женщине кастильским кинжалом, потому что он угрожал не убить, а любить ее.

О том, что сам Кобылин именно так толковал свою записку, подтверждает его сосед по имени А. Рембелинский.

«Об этом письме, как улике, мне часто говорил Сухово-Кобылин; он придавал этому письму совсем другой — *игривый, любовный смысл*».

Для чего же было следователям отбирать у Кобылина при обыске два кастильских кинжала? Какое значение для дела имела записка и два кинжала? Чем освещают они это темное дело? Просто ничем. Это — не улики, а придирки старинного крючкотворства.

Перейдем к другим результатам обыска — к обнаруженным кровавым пятнам.

Так как прямых улик против Сухово-Кобылина нет, никто не был свидетелем преступления и его не оговорил, а Сухово-Кобылин сам никогда за пятьдесят с лишком лет не сознавался, то придется прибегнуть к методу косвенных улик, то есть к совокупности обстоятельств, говорящих за или против его виновности.

Для этого рассмотрим весь материал сначала изолированно, анализируя каждую улику отдельно, а потом всю их совокупность.

Кровавые следы. При осмотре флигеля, где жил Сухово-Кобылин, вернее, где поселился 4 ноября, так как большой дом заняла сестра его Е. В. Петрово-Соловово с мужем, следственная комиссия 12 ноября обнаружила, что:

«...В комнате, называемой залой, видны на стене к сеням кровавые пятна, — одно продолговатое на вершок длины в виде распустившейся капли, другое величиною в пятикопеечную серебряную монету, разбрызганное; на штукатурке видны разной величины места, стертые неизвестно чем, и самая штукатурка в некоторых местах обвалилась, вероятно, от ветхости, полы во всех комнатах крашенные желтою краской и недавно вымытые, в сенях около двери столовой видно на грязном полу около плинтуса кровавое пятно, полукруглое, величиною в четверть аршина, и к оному потоки и обрызги кровавые, частью уже смытые, на ступенях заднего крыльца также видны разной величины пятна крови и частью стертые или смытые».

Обвинительный силлогизм прост: Деманш найдена зарезанной, из резанной раны течет кровь, кровь оказалась во флигеле, где жил Кобылин, следовательно, Кобылин убийца.

На самом деле вопрос сложнее.

Прежде всего, не доказано, что все кровавые пятна произошли от человеческой крови. Пятна эти находились в разных местах дома и на ступенях черного крыльца. Два маленьких пятна — одно величиною в серебряную пятикопеечную монету и другое на вершок длины в виде распустившейся капли — в комнате, которую следователи называли залой.

И, кроме того, пятна в сенях, ведущих в кухню, и на ступенях черного крыльца, ведущего в ту же кухню.

О первых пятнах Кобылин, не зная сам их точного происхождения, объяснил, что в этот флигель,

он переехал только 4 ноября 1850 года, что флигель — старый, и он переехал в него на несколько дней, не собираясь возобновлять или окрасивать эту квартиру, так что пятна могли остаться от живших там прежде его родственников. Так как родственников там жило много, а именно: его мать и тетка, тайная советница Жукова со всем своим семейством, состоящим из восьми человек, с прислугой, а потом осенью — тайная советница Бороздина «с девкой», то он совершенно определить не может причины, по которой эти капли оказались на стене. В виде предположения Сухово-Кобылин сообщил следователю, что дочери Жуковой были больны, их лечили пиявками, что его камердинер Макар Лукьянов страдал кровотечением из носу и, живя в этой комнате и оборачиваясь к стене, мог ее запачкать, наконец прислуга его матери и теток могла испачкать стену от укула, пореза или какого-нибудь другого случая.

Легко верится, что камердинер такого барина, как Сухово-Кобылин, мог быть подвержен «кровоотечениям из носу». Барин часто бивал его из своих руку, а на-руку он был тяжел.

Московская медицинская контора выразила сомнение даже в том, кровавые ли это пятна или только крововидные. Химического состава их определить не удалось. Во всяком случае, по своей ничтожности и незначительности эти красные пятна сами по себе значения для дела иметь не могли.

Не то о пятнах, обнаруженных в сенях и на ступенях черной лестницы. О них обвиняемый дал твердые показания, что они, «без сомнения, произошли от поваров, которые в этих сенях прикалывали живность для стола, привезенную из деревни, чистили рыбу и т. д. Потому-то в этих сенях стоит и помойная лохань».

Ефим Егоров, — повар, главный обвиняемый по делу, — подтвердил, что в сенях он резал цыплят и

кур и, как помнится ему, что и на заднем крыльце что-то резали — утку или цыпленка (показание 22 ноября 1850 года, лист дела 229).

И другие свидетели единодушно показали, что в сенях и на черной лестнице резали живность и дичь. В сенях даже для этого стояла помойная лохань, над которой производится убой птиц. Лохань эта стояла и во время обыска, но следователи не поместили этого обстоятельства в акт осмотра. Много позже, когда уже их самих допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, они признали, что помойная лохань с кровью и другими нечистотами стояла на конце доски в сенях, но они не сочли нужным упомянуть об этом в протоколе.

Для нас их действия ясны. Когда нужно было собрать хоть какой-нибудь материал против Сухово-Кобылина, лохань, конечно, мешала. Кровяные пятна, брызги и подтеки крови сами по себе могли произвести соответственное впечатление. А, находясь рядом с ними, помойная лохань направляла следственную мысль к кухонным будням помещичьего дома, в сенях которого повара обычно режут и прикалывают живность и дичь.

Мещанка Агафья Шумилина подробно рассказала при втором расследовании, что «помойная лохань находилась всегда в черных сенях флигеля возле входа в кухню, а в самой кухне ставить ее никогда не позволялось... случалось ей видеть, что при изготовлении кушаньев для госпожи Жуковой (тетки Сухово-Кобылина) повара, которые были из людей Сухово-Кобылина, сначала Ефим Егоров, а потом Никифор, по отчеству не знает, резали птицу иногда над лоханью, стоявшею в черных сенях, а иногда около черного крыльца на заднем дворе».

Аналогичные показания дали человек десять других свидетелей. Да оно и естественно. В зажиточных и богатых семьях того времени птицу и дичь не покупали на рынках битой, а привозили

живой из своих поместий, часть еще подкармливали и выращивали на дворе, а потом где-нибудь в сенях на черной лестнице, в людской избе или другом удобном месте прирезывали. Поэтому такого типа кровавые следы бывали почти во всяком богатом доме, и *следователи, отыскивая их, шли наверняка.*

Сомнений в том, что пятна крови *могли* произойти от убоя птицы и быть не может.

Но для нас этого мало. Нам важно выяснить, чем уличали Кобылина *данные следы*, даже если б они произошли от человеческой крови.

Судя по расположению следов в комнате, названной следователями залой, а Кобылиным — лакейской, в сенях и на ступенях лестницы, надо представить себе движение кровоточащего трупа в направлении от залы-лакейской через сени и черное крыльцо во двор.

Следовательно, рана была нанесена в зале-лакейской.

Если представить себе, какое количество крови должно было хлынуть из трехвершковой раны, нанесенной одним ударом, перерезавшим обе сонные артерии, дыхательное и пищеприемное горло и крововозвратные жилы, с какой силой должен был брызнуть кровавый фонтан, если рана была нанесена живой женщине, то и без особых медицинских познаний станет ясно, что кровь должна была потоком залить стены или хотя одну стену, полы, участников этого страшного дела, мебель, утварь и т. д.

А между тем, для такой картины преступления крови слишком мало, и она как-то лежит случайными пятнами, не давая следов движения кровоточащего трупа.

Поэтому что-либо одно: если кровь не смывали, то ее слишком мало, если следы преступления уничтожались, то ее слишком много.

Ибо тогда уж должны были смыть, счистить, заштукатурить, закрасить любое пятнышко, хоть чем-нибудь напоминавшее кровь. Времени для этого было больше чем достаточно — пять дней. А между тем, в акте обыска есть драгоценная деталь: «коровье пятно в сенях около плинтуса видно «на грязном полу», а другие пятна были частью счищенные и смытые».

Если б уничтожали следы, то сразу и одновременно все полы мыли бы и все стены счищали бы. Именно потому, что мыли полы частями в той естественной последовательности, какая диктуется хозяйственной необходимостью, ясно, что в эти дни тревог и хозяйственного замешательства часть полов оставили совсем грязными, потому что барин в лакейскую не заходил, наскоро подтирали полы в сенях, а черного крыльца и совсем не мыли.

И приказать было некому. Почти все слуги были или под стражей или на допросе. Управляющий Фирсов был болен и больным увезен в полицию.

И сколько следователи обеих комиссий — и шлыкковской, и высочайше утвержденной — ни допрашивали прислугу Кобылиных о том, кто и когда мыл полы во флигеле, они установили только общее положение: полы вообще мылись во флигеле раз-два в неделю.

Последний раз их мыла прачка (Марфа Захарова) 11 ноября, то есть перед самым обыском.

Таким образом, ни величина пятен, ни расположение их не подтверждают предположения, что резанная трехвершковая рана на шее несчастной француженки была нанесена во флигеле Сухово-Кобылина.

Мало того. Куда же делись остальные кровавые следы? Если тело выносили через черное крыльцо, чтобы вывезти, то почему же нет следов во дворе, на саях, наконец у дома?

Почему и когда перестал кровоточить труп? И почему никто из проживающих в доме Сухово-Кобылина (а проживало там человек до тридцати) не видел ни потоков крови, ни того, как эту кровь смывали? По крайней мере, за те семь лет, что тянулся дореформенный процесс, *ни один человек ни в одном показании не рассказал об этой крови.*

А в доме Сухово-Кобылина далеко не все были его друзьями и «верными рабами». Ряд показаний, например, об алиби, о жестоком обращении его и Деманш со слугами, о «прелюбодейной» связи, что также считалось преступлением, был дан слугами явно против Сухово-Кобылина.

Да и как могло быть иначе? Дворян его трепетала, а тот, кто трепещет, редко любит. Один-два преданных человека, покорных рабской привычке и находящих особые выгоды в барской милости, могли найтись. Но дворовая масса должна была ненавидеть жестокого и надменного помещика.

Таким образом, причинная связь между кровавыми пятнами в старом флигеле и резаной раной на шее Деманш этой уликой не устанавливается.

И еще одно соображение. Даже если б было точно установлено, что в сенях и на ступенях следы человеческой крови, даже точнее, что это кровь именно Деманш,— разве одно это уже с бесспорностью изобличало бы в убийстве именно Кобылина? Разве не мог у него дома, в его отсутствие, убить и зарезать ее кто-нибудь другой?

Конечно, мог.

На этом пока остановимся. Мы еще вернемся к этой улике в связи с другими вопросами: о месте убийства и о сознании Ефима Егорова.

Что же получилось в итоге?

1. Шутливая записка, носившая грубо-эротический характер.

2. Два кинжала, не имевшие никакого отношения к делу, и

3. Наконец несколько пятен неведомо чьей, вернее всего птичьей, крови.

Вот и вся убогая бутафория, которая была со-
стряпана, чтобы заставить Кобылина играть роль
преступника:

С этими данными Сухово-Кобылина осудить
нельзя.

Кто же убил француженку?

КТО УБИЛ ФРАНЦУЖЕНКУ?

Есть две версии.

Одна, так называемая «общественная версия», была сообщена, между прочим, Е. М. Феоктистовым в его «Воспоминаниях». По этой версии убил Кобылин. Случилось якобы так:

«...Однажды мадемуазель Симон (она жила на углу Тверской и какого-то, кажется, Газетного пер.¹), давно уже следившая за соперницей, сумела в поздний час проникнуть к своему возлюбленному. О проклятьях и ругательствах набросилась она на них, и Кобылин пришел в такую ярость, что ударом подсвечника или чего-то другого уложил ее наповал. Затем склонил он прислугу деньгами вывезти ее за город».

Забудем на минуту, что сам рассказчик не верит этой версии, что так называемая «общественная версия» есть просто сплетня, каких должно было ходить много по такому сенсационному поводу, что никаких прямых доказательств этой версии нет.

Отнесемся к ней всерьез. — Л. Гроссман утверждает, что версия Феоктистова о встрече трех героев романтической истории вечером 7 ноября в сукново-кобылинском флигеле и о происшедшей

¹ Деманш жила в Брюсовском пер.

здесь бурной сцене с дикими и жестокими вспышками представляется наиболее вероятной.

Мнение Феоктистова объясняет не тайну преступления, а происхождение сплетни. Характер Кобылина был таков, что, когда в московском обществе узнали о гибели его любовницы, а слухи о его новом романе ходили уже давно, естественно было сделать вывод: старая любовница надоела, завел роман с новой, — такой человек, что мог убить, значит и убил.

Но какой же это судебный материал?

И все-таки примем эту версию всерьез и посмотрим, в какой мере она подтверждается обстоятельствами дела.

Леонид Гроссман повторяет эту версию три раза. Восстановим наиболее подробный вариант, чтоб можно было ответить на все обвинительные пункты:

«Сухово-Кобылин, придя в ярость от поведения своей старой и уже опальной любовницы в месте свидания его с предметом новой любви, — юной и прекрасной великосветской женщиной, — не помня себя от гнева, убивает Симон-Деманш пандалом. Нарышкина спешно вырабатывает план и организует сокрытие тела. Призываются двое преданных слуг — это могли быть только Макара Лукьянов и Ефим Егоров, которым за обещание денег и вольных, играя на их преданности и необходимости «спасти барина», поручается пока лишь вывоз тела на дорогу в Хорошово. Мгновенно создается версия об убийстве француженки с целью ограбления наемным извозчиком по пути к Киберам. Ни Кобылин, ни Нарышкина, конечно, не взяли на себя соответствующую подготовку трупа, то есть снятия с него драгоценностей, богатой одежды и прочее. Второпях об этом могли и не подумать, возможно, впрочем, что понадеялись на людей, которые по пути заберут для себя драгоценности. Это была, конечно, со стороны укрывателей убийства грубейшая ошибка,

сразу подорвавшая первую версию (об ограблении извозчиком) и сыгравшая первостепенную роль в разрушении второй версии (убийство крепостными в доме Гудовича). Но, во всяком случае, крепостные, вывозившие тело своей госпожи, не пожелали грабить его. Они выполнили поручение и оставили тело по пути в село Хорошово»¹.

Очевидцев этой таинственной картины, — представляющей, по словам Л. Гроссмана, перевод «романического изображения на язык действительности», — нет никаких. Хотя соучастниками, если не в убийстве, то хоть в сокрытии следов по этой версии были Макар Лукьянов и Ефим Егоров, однако ни один из них таких фактов ни на одном допросе не сообщал. Почему? Добро бы молчал Макар Лукьянов, преданный барину камердинер. Но почему никогда не поведал правды Ефим Егоров, многократно допрошенный и многократно признанный главным виновником злодеяния?

Кто видел, что Нарышкина в ночь с 7-го на 8-е приходила в дом Кобылина? Никто. Кто знает, была ли она в старом флигеле, сколько пробыла там и когда ушла? Никто. Кто слышал шум борьбы? Кто видел, как увозили труп? Как смывали и уничтожали следы? Никто! Никто!

А могло ли это случиться? Достаточно взглянуть на план дома, достаточно вспомнить, сколько людей провело там ночь с 7-го на 8 ноября, чтоб понять, что десятки глаз должны были с ужасом увидеть страшное дело.

В конюшне и каретном сарае спали два дворника и кучер. Почему же они, «допрошенные по свежим следам» об алиби Кобылина, дали показание, которому верит Л. Гроссман, то есть, что барез был весь вечер и до утра дома. А о том, что среди ночи выводили лошадь, вытаскивали сани, запрягали ло-

¹ Л. Гроссман, — «Преступление Сухово-Кобылина», стр. 111—112.

шадь в сани, вынесли и сложили труп, открывали ворота, смывали потоки крови, — обо всем этом никто не рассказал ни слова. Могло ли это быть? Могло ли быть, чтоб человек, в порыве неудержимого гнева убивший свою любовницу наповал ударом шандала по голове (пусть юпальную, пусть замененную новой — юной и прекрасной), могло ли быть, чтоб этот человек стал добивать (труп?) ее жесточайшими ударами по всей левой части тела, переламывать ей три ребра, из них одно с раздроблением кости, и напоследок бы ее зарезал?

Для чего? Если убил наповал, то к чему добивать? Она и так умерла. Если оглушил, то почему ж решил добить? Ведь намерения убить сначала не было, а была вспышка гнева. Всякий аффект, разрешившийся резким действием, неминуемо влечет за собой реакцию. В чем же она выразилась? Недоуменных вопросов эта версия вызывает много. Она, по существу, ничего не объясняет в этом загадочном деле. Например, присутствие драгоценностей на трупе она объясняет *ошибкой преступников*. Такой метод совсем никуда не годится. Не сходятся факты с гипотезой, — тем хуже для фактов.

Второй пример. Л. Гроссман утверждает, что Кобылин, «не помня себя от гнева, убил Симон-Деманни шандалом».

Между тем, это прямо расходится с данными медицинского осмотра. У Деманни обнаружена «кругом левого глаза *величиной* с ладонь, темно-багрового цвета, опухоль с подтеком крови», закрывшая весь глаз, но от этого удара она не умерла. Вернее, умерла не от этого, потому что по анатомическому свидетельству оказалось, что «кости черепа целы и швы в них не разошлись». Версия ошибочна в самом корне, в основе, с первых шагов.

И дальше: кто и зачем бил ее по левому боку? Каким орудием? Где и сколько времени? И кто, наконец, зарезал?

На все эти вопросы точно и подробно отвечает вторая версия, собственноручно изложенная поваром Кобылина, Ефимом Егоровым, на допросе 20 ноября 1850 года (лист 191, стр. 59, 60).

«7 ноября, то есть во вторник ночью, под среду, часу в два с половиной ночи, убил он купчиху Луизу Иванову Симон-Деманш на квартире ее, на Тверской, в доме графа Гудовича. Участниками с ним были служившие у нее человек помещика его Галактион Козьмин и девки Аграфена Иванова и Пелагея Алексеева. Галактион переломал ей угогом ребра, а он ударил кулаком по глазу и прирезал перочинным ножом, потом свезли на ее лошади за Пресненскую заставу и бросили в овраге за Ваганьковским кладбищем, салоп сожгли. Горло перерезано им, Егоровым, в овраге, а не на квартире, а дома только убили и задушили. Убил ее он потому, что она была злая и весьма капризная женщина. Много пострадало по ее наговорам людей и в том числе бедная сестра его Василиса Егорова, которую отдала за мужика замуж. Более никто в убийстве этом не участвовал».

Сопоставим обе версии:

Общественная версия

1. С десяти часов вечера Деманш ушла из дома и проникла к Кобылину.

2. Все преступные действия совершены в старом флигеле Кобылина.

3. Совершил убийство Кобылин, нанеся смертельный удар. Кто нанес остальные и кто зарезал—версия не разъясняет.

4. Соучастниками были Макар Лукьянов и Ефим

Версия Егорова

1. Деманш в десять-одиннадцать часов вечера легла спать и спала до двух часов ночи.

2. Душили и убили Симон-Деманш в доме графа Гудовича, а прирезали в овраге.

3. Повар Егоров сначала ударил кулаком по глазу. Затем стал душить рукой и подушкой. Козьмин бил угогом по ребрам. Потом Егоров прирезал ее ножом.

4. Соучастники — горничные девки: Пелагея

Егоров, которые только вывезли труп.

5. Орудие преступления — шандал.

6. Мотив — отсутствует. Причина — вспышка гнева, вызванная оскорблением со стороны Деманш.

Алексеева и Аграфена Кашкина, которые одели труп и уничтожили следы преступления.

5. Орудия: руки, полотенце, подушка, утюг, нож.

6. Мотив — месть крепостных за жестокое обращение с ними и с их близкими.

А теперь внимательно вчитаемся в дело и, отделив бесспорные факты от спорных, посмотрим, чем подтверждается и чем опровергается каждая версия.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЕМАНИИ

Мы можем воспроизвести с неоспоримой точностью все события последнего дня покойной до девяти часов вечера.

Обстоятельный и подробный рассказ кучера Козьмина, который ездил со своей госпожой с девяти часов утра до девяти часов вечера, подтверждаются другими свидетелями, и в этой части между защитой и обвинением спора нет.

«Во вторник, 7 ноября, в девять часов утра, — рассказывал Галактион Козьмин, — выезжала Симон-Деманш с ним из своей квартиры, на своей лошади, и начальню отправились к мамзель Эрнестине живущей в Газетном пер., в д. Наумова, с которой ездила за провизией в Охотный ряд для Эрнестины и, по закупке провизии, возвратилась в квартиру Эрнестины, где, пробыв недолгое время, Деманш отправилась с ним в свою квартиру одна и, пробыв с час в своей квартире, отправилась с ним же в книжный магазин Дюкло, состоящий в Леонтьевском пер., и, взяв оттуда книг, приехала домой и, уложивши оные в ящик, отправилась с ним же в контору Шепелевых, состоящую на Никольской, в д. Чижова, откуда ездила к портнихе Друзе на Маросейку, а от нее возвратилась домой, где, одевшись, отправилась с ним же к мамзель Эрнестине обедать и после обеда ездила вместе с Эр-

пестиною и еще двумя неизвестными ему людьми, мужчинами высокого роста, с усами, в партикулярном платье, кататься. Деманш сидела с одним на его санях, а Эрнестина — на лошади Деманш с другим, *коих кучером был он*, и катались они от Тверских до Мясницких ворот около бульваров, откуда на Кузнецкий мост, в кондитерскую Люке, из одной — к Эрнестине, где и пробыла Деманш *до девяти часов вечера, а в том часу приехала домой одна*, и, как лошадь устала, она приказала ему оную отложить, сказав, что поедет на извозчике, но куда намерена была ехать, не сказала».

Запомним из этого рассказа, что Деманш, прежде чем поехать к Эрнестине Ляндерт на обед, дома переделалась.

А о том, что случилось с французенкой по приезде домой, мы узнаем из рассказов ее горничных.

Пелагея Алексеева показала, что «Деманш отлучилась с квартиры одна во вторник, 7-го числа, часов в девять вечера, куда — ей неизвестно, но до отлучки ее она посылала записку с поваром Ефимом к Сухово-Кобылину, но о чем она ему писала, того она, Алексеева, не знает, но только она ему писала на его письмо, за час до отлучки ей принесенное.

По отсылке Деманш письма к Кобылину, на письмо свое она ожидала ответа с полчаса, но, не дождавшись, отправилась, и после ее ухода ответа никакого не было».

К этому показанию есть любопытное прибавление:

«В среду, 8-го утром, приходил осведомиться о ней, Деманш, неизвестный ей барин от мамзель Эрнестины, а после приходил и сам Сухово-Кобылин, который, пробыв немного, отправился куда неизвестно, от Эрнестины же приходивший был высокого роста с небольшими усами и когда сказали ему, что Деманш еще не приходила, то он сказал: «Ах, дело плохо».

Наконец, со слов Аграфены Кашкиной мы узнаем, что Деманш «отлучилась в девять часов утра, целый день ездила с кучером Галактионом в разные места, возвратилась в свою квартиру в девять часов вечера и, пробыв дома не более часа, не сказав куда, пошла *в одном и том же платье* и в теплом салопе, сказав только, что скоро возвратится домой, не приказав даже гасить свеч».

Пока запомним, что ушла Деманш из дому (если ушла) в том же платье, в котором она была на обеде у Ляндерт.

Из ее последнего часа можно восстановить еще первую половину.

В десятом часу был у них конторщик Федор Федотов «с расходными для стола книгами, и Деманш приказывала сказать барину его, чтоб прислал ответ на записку, посланную ему с поваром Ефимом, но барину того не передал, потому что не видал его: когда возвратился он от Деманш, то барина дома не было».

Заключительный штрих о первой половине последнего часа дает Ефим Егоров: «В последний раз виделся он с Деманш в квартире ее во вторник, 7-го числа, в десятом часу вечера, когда приходил к ней с поварской своей книжкой спрашивать ее, какое кушанье готовить для следующего дня. Когда он отправился от Деманш, то она дала ему записку к его барину, которую он отдал камердинеру Макару».

Записка была закрытая, в конверте, но содержание ее легко восстанавливается ответом барина, правда, устным через Макара: «барин-де обещать дома не будет, а чтоб приготовили один завтрак».

И действительно, 8-го числа Кобылин был приглашен на званый обед к князю Вредэ, так что другого ответа и быть не могло.

Пока мы среди хозяйственной прозы. Но с десяти часов вечера начинается поэзия.

«Здесь-то и начинается загадка этого темного дела. Куда отправилась Симон-Деманш, где провела она свой прощальный вечер, когда и где пробил ее последний час?» — спрашивает Л. Гроссман¹.

Для нас загадка, или, вернее, задача, начинается раньше. Отправилась ли куда-нибудь Симон-Деманш из дому после десяти часов вечера или осталась дома и легла спать, — вот первый вопрос, ждущий ответа от судебного деятеля и от историка.

Л. Гроссман утверждает, что Деманш ушла, потому что он верит показаниям дворовых.

«Довольно обстоятельные показания четырех «дворовых» производят впечатление несомненной правдивости и непосредственной искренности, и никаких намеков на утайку или подтасовку фактов в них нет. Все, *повидимому*, обстояло так, как показали слуги в первые же дни следствия»².

«Повидимому, — так».

Л. Гроссман довольствуется личным впечатлением и не только не проверяет этих первоначальных показаний дворовых, но даже не излагает их.

Мы их вначале изложили, а теперь проверим. Единобразие приказного стиля мы отказываемся принять за единодушие. Сомнения вызывают мелочи, но все они роковым образом сосредоточены вокруг одного вопроса — об уходе Деманш из дома.

В показании Козьмина есть мелочь, но характерная и вызывающая сомнение. Приехав домой в девять часов вечера после двенадцатичасового отсутствия и, вероятно, усталая, французженка приказала ему отложить лошадь, сказав, *что поедет на извозчике, но куда намерена была ехать, не сказала*.

А ведь она и сама еще не знала, что поедет куда-нибудь. Ведь ушла она потому, что ждала ответа на записку и не дождалась. Так как же могла она,

¹ Л. Гроссман, «Преступление Сухово-Кобылина», стр. 73.

² Там же, стр. 79.

только приехав домой, уже предвидеть, что ей придется ехать к Кобылину, который должен был ответить на записку?

Не очень правдоподобно и то, что Деманш, приказывая Галактиону отложить лошадей, посвящала его в какие бы то ни было свои намерения. И на каком языке? Она до конца дней своих очень плохо владела русским языком и слуг чаще всего наказывала именно за то, что они, не понимая ее приказаний, не так их исполняли.

Поэтому деталь, отмеченная нами в показании Козьмина, показательна только для того случая, если слуги сговорились показывать что, мол, барыня в десять часов ушла, а куда — не знаем. Тогда роль Козьмина в этом сговоре понятна. Он не мог знать, ушла ли она, но зато мог подтвердить, что *она намеревалась уйти*.

Галактион переусердствовал, и это не к добру.

Дальше, в рассказе Алексеевой, вызывает полное недоумение та часть его, где говорится о визите 8 ноября утром какого-то неизвестного барина, высокого роста, с небольшими усами, и когда сказали ему, «что Деманш не приходила, то он сказал: «ах, дело плохо».

С чего бы Эрнестина, расставшаяся с Луизой Симон в девять часов вечера, стала спозаранку проявлять тревогу и посылать какого-то неизвестного барина, чтоб справиться о том, где провела ночь Деманш?

Тревожиться мог только Сухово-Кобылин. А по рассказу Алексеевой выходит, что барин от мамзель Эрнестины приходил *раньше* Кобылина. Может ли это быть?

Откуда могла возникнуть тревога? Еще и Ефим Егоров от барина не вернулся с ответом на записку и с деньгами, еще не успел он оповестить Кобылина, вернувшись обратно, что француженка дома не ночевала. Кобылин и сам не успел еще встрево-

житься и оповестить знакомых о своих беспокойствах, а уж Эрнестина Ляндерт поспешила снести о чужим и ей и Симон-Деманш мужчиной и послала его разузнавать о ее судьбе.

А если бы Деманш действительно ушла накануне вечером к Кобылину, у него заночевала и явилась бы домой после полудня? Что же, неизвестный барин тоже встревожился бы и громко сказал: «ах, дело плохо»?

Француженка была скромной женщиной и верной подругой, никакие подозрения ее коснуться не могут. Круг ее знакомых был так невелик, что мы знаем поименно почти всех.

Почему же в показаниях Алексеевой неожиданно появляется во внеурочное время неизвестный мужчина?

Потому, что она в это время сама (знает) что с Деманш «ах, дело плохо», и потому, что ей только Галактион мог рассказать, что 7 ноября днем Деманш каталась на санях с мужчиной высокого роста, с небольшими усами. Это был Панчулидзев.

Вот она и проговаривается. В этом добавлении к ее показанию, по существу ненужном и совершенно лишнем, в добавлении, которое своим существованием обязано ее инициативе, так и чувствуется желание отвести внимание следователей в другую сторону, подальше от нее, Алексеевой. Кстати, она совершенно одинока со своим рассказом о приходе неизвестного барина. Кроме нее, этого барина никто не видал и никогда о нем больше разговоров не было.

Ясно — Алексеева солгала. Солгала в первом своем показании, которое кажется обвинителю таким искренним, непосредственным, данным без утайки и фальши.

Но в показаниях дворовых выдаются не утайки, а прибавки. Они есть у всех четырех.

Прибавка Калпкиной — мы просили запомнить —

заключается в том, что Деманш «пошла в одном и том же платье и теплом салопе». Это прямо противоречит точно установленным фактам. Труп Деманш был найден одетым довольно сложно, но... без корсета и без выходной обуви. Она была в бархатных полусалопках. В те чопорные времена Деманш не могла пойти к Ляндерт без корсета на обед, на котором присутствовали двое посторонних мужчин. С Панчулидзевым она познакомилась всего за несколько дней до этого обеда и своей смерти. Это было бы неприлично до неправдоподобия. Мы знаем, что прежде чем отправиться к Эрнестине, с которой она провела полдня в хозяйственных хлопотах и, очевидно, была в домашнем платье, француженка поехала домой специально переодеться. И в самом деле, труп ее был одет в нарядное и дорогое платье. Недоставало только корсета.

Конечно, к Кобылину на любовное свидание Деманш могла бы пойти и без этой жесткой принадлежности старинной моды. Но ее горничная сама подтверждает, что Деманш ушла в одном и том же *платье и в теплом салопе*. Значит, — не переодевалась и корсета не снимала. Впрочем, платья того времени и шили так, что их без корсета носить было невозможно. Иначе платье мялось и теряло форму. Так что, помимо резкого неприличия, такой выход портил платье. Кроме того, в домашних бархатных полусалопках по осенней грязи и по снегу пешком не пройдешь. Погода 7 ноября 1850 года, то дождливая, то снежная, наделала много забот следователям. Нам она поможет. Благодаря ей подтверждается, что Кашкина солгала, сказав, что Симон-Деманш пошла в домашней обуви.

Для чего солгала Кашкина? Ее цель — подкрепить версию, что Деманш ушла. Кашкина знала, что труп обнаружен одетым в «выходное» платье. Труп дворовым был предъявлен еще 9 ноября. Поэтому Кашкина добавляет эту деталь, ненужную:

следствию, и о которой следователи ей и вопросы задавать не могли.

Последняя прибавка в показании Егорова. Он говорил короче и осторожнее других, но и он проговорился.

Так, в первом же показании, 12 ноября, он после слов: «в среду утром был он в квартире Деманш по ее приказанию с известием, что в среду барин велел приготовить завтрак, а обедать не будет, но ее в квартире не было», добавил: «а когда от нее возвращался, то попался ему навстречу его барин, который шел к квартире Деманш». Не барин ему попался. А сам он попался. И довольно неловко.

Возможны два случая.

Либо Кобылин ночью сам убил Деманш и наутро разыгрывает роль человека, встревоженного отсутствием любовницы, либо Кобылин спокойно спал всю ночь, а наутро послал к Деманш, которая заведывала его хозяйством, повара с очередными хозяйственными распоряжениями.

В обоих случаях невозможно, чтобы Кобылин отправился из своего дома утром к квартире Деманш *до того момента*, пока повар не пришел и не сообщил ему, что француженка всю ночь домой не возвращалась.

Кстати, все другие слуги именно так и показывали: что повар первый сообщил барину тревожную новость и вскоре после этого барин пришел в квартиру Деманш.

Играл ли Сухово-Кобылин или действовал искренне, но он мог уйти из дома только после того, как повар ему сообщил об исчезновении француженки. И в самом деле, если он играл, то ему необходимо было, чтоб все вокруг свидетельствовало, что он не знал сам об исчезновении, пока ему об этом не сообщили. В этом случае торопиться было непростительной ошибкой и прямой глупостью.

Если же не знает, что французженки нет, с чего же ему в неурочный, ранний час тревожить свою барскую милость?

Доверие Л. Гроссмана к этому первоначальному рассказу слуг становится совершенно непонятным, если вспомнить, что по обвинительной версии Ефим Егоров был *соучастником* преступления, — по крайней мере, свидетелем и укрывателем трупа и следов.

Значит, с ним-то должен быть оговор у Кобылина. Как же мог появиться рассказ о неожиданной и ранней встрече, рассказ, бросающий явную тень на Кобылина? И как же Л. Гроссман, зная роль Егорова в этом деле, утверждает, что все четверо показывали — без утайки, искренно и непосредственно?

Можно считать установленным, что и Егоров солгал. Таким образом, солгали все четверо.

Неубедителен и мотив ухода французженки из дому в ночную пору, а в ноябре в десять часов вечера — уже ночь. Первоначально у нее не было намерения пойти к Кобылину. Но если бы она собиралась пойти сама, ей не для чего было бы писать. Если бы она собиралась пойти, то она и ответила бы личным свиданием на записку, присланную ей через Егорова. Так что самый факт посылки ответа на записку подтверждает отсутствие у Деманш намерения идти к Кобылину. Кстати, за целый день, что она не была дома, с девяти утра до девяти вечера, она должна была почувствовать усталость и желание отдохнуть. Наконец, дома она не была праздною. Заполнение поварской книги, проверка конторских книг, заботы о хозяйстве — все это не могло создать излишних стимулов к поспешному уходу.

А главное, и торопиться было некуда. Тот час, что Деманш провела дома, от девяти до десяти часов вечера, делился на две почти равные части. Первая половина была занята Егоровым, вторая — кон-

торщиком Федором Федотовым. Следовательно, с момента отсылки ею записки к Сухово-Кобылину и до момента ее мнимого ухода могло пройти немногим больше полчаса.

За эти полчаса Егоров должен был пройти расстояние от Брюсовского переулка до Страстного бульвара, 9, передать барину записку, получить ответ и отнести его по назначению. Может быть, теоретически и можно все это проделать за полчаса. Но в жизни мы учитываем естественные промедления. Егоров не должен был бежать, сломя голову, он мог барина и не застать, барин мог не быть свободным в ту же минуту, как получил записку, или мог по другой причине не сразу дать ответ. В доме Кобылина так и воспринята была записка Деманш. Ответ был дан по приходе барина из гостей в два часа ночи о наказом сообщить его шутру Деманш. Имелось в виду не то, что француженка будет тревожиться, не получив ответа, а просто ответ ей должен быть прислан к тому моменту, когда она, как заведующая хозяйством Кобылина, должна будет приступить к исполнению его распоряжений.

С мотивом ухода не согласуется показание Панчулидзева о том, что «во время бытности Деманш у Сушкова она была в прекрасном расположении духа и ни на что не жаловалась». Откуда взяли, что к концу вечера она стала проявлять беспокойство,— просто непонятно. В материалах следствия данных для этого нет.

Так что не было никакой причины, чтобы Симон-Деманш, не получив с полчаса ответа на свою записку, усталая от удовольствий и хлопот в продолжение двенадцатичасового дня, вдруг сорвалась с места и пошла к Кобылину.

Рассказ дворовых о том, что Деманш ушла из дому в десять часов вечера 7 ноября, не заслуживает никакого доверия. Из сопоставления же их показаний между собой и с показаниями других сви-

детелей можно извлечь несколько точных фактов, а именно:

1) Что до десяти часов вечера Деманш была дома.

2) Что она получила от Кобылина записку и послала с Егоровым ответ и в свою очередь ждала ответа.

3) Что в записке она спрашивала, готовить ли обед.

4) Что, придя домой, она до десяти часов не раздевалась и не переодевалась.

5) Что версия об ее уходе из дому после десяти часов ничем не доказывается, а показания дворовых в этой части либо неправдоподобны, либо противоречат объективно установленным фактам дела.

СОЗНАНИЕ ДВОРОВЫХ

На первом допросе четверо дворовых держались старинной, но самой простой системы защиты — «знать не знаем, ведать не ведаем. В десять часов ушла, а куда — неизвестно».

Но таковы были только первые показания слуг Симон-Деманш, данные ими 11-12 ноября 1850 года.

Через несколько дней картина резко изменилась. Начиная с 20 ноября, все четверо безоговорочно сознаются в том, что убийство совершено ими.

Это — материал исключительной важности. Как ни соблазнительно верить этим показаниям, но и к ним мы отнесемся со всей критической строгостью и, поскольку это в наших силах, проверим, чем подтверждается это сознание и чем оно опровергается.

Раньше других сознался Ефим Егоров, будучи допрошен приставом Стерлиговым 20 ноября в Серпуховском участке.

Показание свое он написал *собственноручно*. В тот же день и сознание и сознавшийся были препровождены к московскому обер-полицмейстеру Лужину, и тот, передопросив Егорова, получил от него более подробное показание. Привожу его дословно:

«Серпуховской части пристава Стерлигову.

Луизу Иванову Симон-Деманш при жизни он знал более десяти лет, потому что она была любовницей его барина и распорядилась в доме у них как барыня; барин ее любил и много слушал, а она пользовалась этим и много наговаривала ему на людей, за что и терпели наказания не только те люди, которые жили при ней на квартире, но даже и в доме барина все люди их ее ненавидели, а в особенности бывшие у нее в прислуге. Последнее время, перед смертью, она сделалась еще злее и капризнее, и как он по поварской должности чаще бывал у нее на квартире, то и всегда почти разговаривали между собою, как бы от нее освободиться. 7-го числа ноября вечером, по обыкновению, пришел он к Луизе Ивановой Деманш за приказанием насчет кушанья — это было часу в восьмом; ее не было дома, и он, сидя с девушками Аграфеной Ивановой и Целагеей Алексеевой, опять возобновили разговор, как бы окончить задуманное дело и, долго разговаривая, кончили тем, что решились в ту же ночь убить ее, об чем он велел сказать Галактиону Козьмину, служившему при ней дворовому человеку их, который, *за болезнью кучера*, ездил с ней в Газетный пер. к мамзель Эрнестине. Он думал было идти домой, как она с Галактионом возвратилась и, увидав его, сказала, чтоб он узнал, будет ли барин кушать дома, и приходил за приказанием поутру, а, между тем, дала запечатанную записочку к барину и приказывала, чтоб он прислал ответ. Выйдя из комнаты, он пошел к Галактиону, который убирал лошадь, и там объявил ему, что ночью придет, и они убьют Луизу Иванову. Возвратясь домой, записку *по небытности барина дома* отдал камердинеру Макару, а сам *пошел наверх в людские комнаты* и лег спать. Макар *в половине второго часу* пришел к нему наверх и велел сказать Луизе Деманш, когда пойдет к ней поутру,

что обедать барин дома не будет и готовить только один завтрак, а также сказано, чтоб не ждала ответа на записку. Макар ушел, а *он, немного погодя*, встал и пошел на квартиру Симон-Деманш. Комната, где спала Пелагея с Галактионом, дверь прямо из сеней, была не заперта по условию их. Он, придя, тотчас скликал Галактиона, который встал, и они пошли в спальню Деманш. Она спала, лежа на кровати навзничь, на столе горела, *по обыкновению*, в широком подсвешнике свеча. Он прямо подошел к кровати, держа в руках подушку Галактиона, которой, прямо накрыв ей лицо, прижал рот. Она проснулась и стала вырываться; тогда он схватил ее за горло и начал душить, ударив один раз кулаком по левому глазу, а Галактион, между тем, бил ее по бокам утюгом. Таким образом, когда они увидели, что совсем убили ее, то девки Пелагея и Аграфена одели ее в платье и надели шляпку, а Галактион пошел запрягать лошадь, а когда была готова, то он пришел в комнаты, взял вместе с ним убитую Деманш и, уложив в сани вниз, прикрыли полостью; Галактион сел кучером, а он, Ефим, — в задок. Ночь была темная, и они, никем не замеченные, выехали за Пресненскую заставу, за Ваганьково кладбище, где в овраге свалили убитую, но, опасаясь, чтоб она не ожила на погибель их, Егоров перерезал ей бывшим у Галактиона складным ножом горло, который также где-то недалеко бросили. Окончив это дело, возвратились на квартиру Симон-Деманш, где девки уже убрали, как надобно; чтоб отвлечь подозрение, они сожгли в печке салоп Деманш и *уговорились, чтоб Галактион, Пелагея и Аграфена при спросе говорили, что она неизвестно куда вышла со двора вечером и больше не возвращалась*».

На следующий день, 22 ноября 1850 года, Егоров, подтвердив свое сознание, дополнительно показал, что, «по совершении им убийства, взял он, Егоров,

у Деманш кожаный портмоне с деньгами пятьдесят рублей серебром и мелочью серебром с целковый и, кроме того, золотые дамские часы и брошку. Деньги все им прогуляны, кроме что три рубля серебром он дал Галактиону; портмоне, часы и брошку он, Егоров, кинул за Преспенской заставой в поле».

В тот же день были допрошены соучастники Егорова, и они показали:

Галактион Козьмин:

«что иностранка Луиза Иванова Симон-Деманш действительно убита была в ее квартире, ночи часу в третьем, поваром Ефимом Егоровым и им, Галактионом Козьминым, по общему их согласию, так как они давно собирались ее убить по чрезмерной строгости и злости ее. Совершено же ими убийство следующим образом. 7 ноября повар Егоров, придя к нему в конюшню, когда он откладывал лошадь, на которой каталась того числа Деманш, сказал, что придет к нему, то есть Козьмину, ночью для убийства Деманш. На это он сказал Егорову: «приходи». Егоров часу во втором ночи пришедши к нему в комнату, где спала Пелагея Алексеева, и разбудивши его, сказал: пойдем, и он, Козьмин, тотчас, взявши утюг, стоявший в кухне у печки, отправился с ним в покой Деманш и, отворивши ее спальню, увидали, что она спит, тихонько к ней, Деманш, подошли, и Ефим накрыл лицо ее подушкой его, взятою из кухни, и когда она проснулась, то стала вырываться. Егоров же, схватив ее за горло, начал душить, ударив один раз кулаком по левому глазу, а он, Козьмин, в это время бил ее по бокам и самое утюгом, а когда у него утюг из рук выпал, то он и Ефим били ее кулаками, и, увидавши, что совсем ее убили, Ефим послал его закладывать лошадь в сани, а служанки Деманш, Аграфена и Пелагея, начали ее одевать. Заложивши ло-

шадь, он, Козьмин, подъехал к воротам и, войдя в комнату, вместе с Ефимом, ее, Деманш, потащили к саням и, бросивши в оные, накрыли их пологом и, отворивши бывшие незалертые ворота, поехали со двора и отправились с покойной Деманш за Пресненскую заставу, где свалили ее за Ваганьковским кладбищем в овраге; Ефим прирезал ей горло ножом, взятым у Козьмина еще в кухне, какой ножик он там же где-то кинул. Окончивши же, они вместе поехали в квартиру покойницы и, по приезде, нашли что комната ее убрана, как надобно. Когда они били еще Деманш, то Аграфена, вошедши, говорила «перестаньте», но они ее не слушали и продолжали бить: но, впрочем, как она, так и Пелагея, о намерении их были известны. Меховой же салоп сожгли они в голландской печке еще до отвоза ими тела. Ни вещей, ни денег он, Козьмин, никаких не брал; брали же, и что Егоров или кто другой, не знает, но Ефим дал ему каких-то денег в три рубля серебром бумажку».

Пелагея Алексеева:

«Иностранка Симон-Деманш действительно убита была в ее квартире 7-го числа ноября, в ночи часу в третьем, поваром Ефимом Егоровым и рабочим Галактионом Козьминым; совершенно же ими сие убийство следующим образом: 7-го числа ноября, часов в восемь вечера, повар Ефим пришел к Деманш для «спроса по обыкновению о кушаньях, и как в это время Деманш еще в свою квартиру эт мамзель Эрнестины не возвратилась, то он вошел в их кухню и сказал ей и Аграфене, что в эту ночь он непременно хочет привести в исполнение свое желание убить Деманш, о чем и прежде им весьма часто говаривал, но она, Алексеева, и Аграфена Иванюва просили его оставить это. Но он, Егоров, опять подтвердил, что убьет ее в эту же ночь, приказал Аграфене двери комнаты, где жила Деманш,

на ночь не запирает и с тем от них ушел в дом барина их. А часу в третьем почил Ефим, войдя в кухню, где спала Пелагея Алексеева и Галактион Козьмин, и разбудивши Галактиона, сказал ему: «пойдем, что ли», и сей, встав, обулся и с ним, Ефимов, вышел вон, а она осталась в кухне. Спустя полчаса, они и Аграфена, войдя к ней, Алексеевой, в кухню, велели ей войти в спальню Деманш, и она, войдя туда, нашла, что она лежала уже на полу мертвая, и в то же время велели ей ее, Деманш, одевать. Аграфена подавала одежду, а она на нее, покойную, все то надевала. Но как совершили Ефим и Галактион убийство и опособствовала ли им в том Аграфена, того не знает и не видала, и сопротивлялась ли Деманш, она не знает, крику и визгу не слышала. Когда же стала она, Пелагея Алексеева, ее, Деманш, одевать, то Галактион отправился запрягать лошадь в сани, а как скоро оные были заложены, то они, Ефим и Галактион, вытащили ее, Деманш, из люков вон, положили ее в сани и отправились со двора, — куда, ей неизвестно, а Аграфена и она убирали комнаты Деманш и, по уборке комнат, меховой салон, принадлежащий Деманш, по совету повара Ефима, в то же время сожгли в голландской печке. Спустя сего час Ефим с Галактионом приехали на той же лошади в квартиру Деманш, но без тела ее, а Галактион, отложивши лошадь, попрежнему поставил ее в конюшню и, пришедши в комнату Деманш, где и все они были, взял из задней комнаты две бутылки какого-то вина и оное с Ефимом начал пить, а часу в шестом утра попили они в какой-то трактир и через час возвратились опять к ним, и Ефим, пробыв немного, пошел в дом барина своего и перед отправлением приказал о сделанном убийстве отнюдь никому не говорить, а если барин спросит, где Деманш, то сказала бы ему, что вечером куда-то ушла и с тех пор не возвращалась».

Аграфена Иванова Кашкина:

Подтвердила предыдущие показания и добавила, что «в третьем часу ночи Егоров с Галактионом, войдя в комнаты, где жила Деманш, и разбудивши ее, Иванову, спросили, есть ли собака в комнате, где спала Деманш. Она сказала, что только одна, и они велели ее оттуда взять. И когда она вошла в спальню за собачкою, то Деманш проснулась и спросила: «что ты тут ходишь?» На что она отвечала ей, что взять пришла собачку, которую взяв, вышла в ту комнату, где спала она, Иванова. В это самое время повар Ефим с Галактионом вошли в комнату Деманш — Ефим с подушкою в руках, а Галактион с утюгом — и начали бить Деманш, которая раза два громко визгнула, и во время битья ими Деманш они требовали у нее, Ивановой, платок, а когда она им таковой подала, то оный вбили в рот и продолжали бить и душить. Вскоре после сего она, Деманш, умерла; тогда повар Ефим стащил ее с кровати, а Галактион отправился закладывать лошадь; Ефим, отыскав от шкафа ключ, начал *искать денег и, найдя портмоне с сколькими-то деньгами, оный взял с собой.* Равным образом *оный же Ефим взял с собою лежавшие на столе дамские золотые часы, брошку и две булабочки.* После всего этого Пелагея Алексеева начала одевать убитую Деманш во все то одеяние, в котором была она у Эрнестины, а Иванова ей только подавала одежду ту, и когда ее убрали, то Ефим и Галактион вытащили ее из комнат, положили в сани, и повезли: куда, — ей неизвестно, а она, Иванова, стала убирать комнату и спальню ее; убравши все, меховой салоп Деманш сожгла по приказанию Ефима в голландской печке. По возвращении же Ефима и Галактиона в квартиру Деманш, Галактион принес из задней комнаты две бутылки какого-то вина, и оное пили, а после вдесятом часу в шестом утра они отправились в какой-то трактир».

Показания эти были даны следственной комиссии Шлыкова. В течение ряда последующих допросов они были дополнены сведениями, не изменившими первоначальной версии. Можно отметить только мелкие разноречия. Они не уничтожают единой и цельной картины преступления, которая рисуется в их подробных рассказах.

Разноречия касались, во-первых, ножа, которым была зарезана Деманш. Егоров называл его то перочинным, то складным, то небольшим кухонным. Разно говорил и Козьмин.

Во-вторых, моментов, когда жгли сало — до вывоза трупа или после — и того, кто сжег его.

В-третьих, вопроса о том, кто одевал убитую — горничные или сами убийцы.

В-четвертых, кто брал вещи Деманш (портмоне, часы, брошку и т. п.) и передал их Егорову.

В-пятых, о платке, взятом у Калпкиной, чтоб вбить в рот Деманш, и, наконец,

в-шестых, о том, руками ли была задушена Деманш или полотенцем.

Все эти разноречия легко объяснить естественным запамятованием в одних случаях, неумением точно именовать и описывать некоторые явления в других, желанием снять с себя часть вины и перебросить на других участников и, наконец, стремлением следователей не выяснить, а запутать дело.

Анализу следственных действий обеих комиссий — Шлыкова и Ливенцова — мы уделим особое внимание.

Но если отбросить все эти мелочи, по существу для дела не очень важные, то останется четкая версия Егорова, изложенная в его показаниях.

Она должна стать предметом нашего пристального и придиричьего внимания.

Сознание Егорова и его сообщников подтверждается неопровержимым объективным доказательством — осмотром трупа.

Труп всегда сохраняет следы преступления, и опытный судебный медик по расположению ран на теле, по форме их и по ряду других признаков может зачастую полностью восстановить картину преступления.

В данном случае задача облегчается тем, что эта картина уже восстановлена участниками, и нам остается только сверить их рассказ с теми следами, которые на трупе сохранились.

Приведем полное описание наружного осмотра «убитого тела», как названо оно в полицейском протоколе.

«По наружному осмотру врачом Тихомировым оказалось: телосложения довольно крепкого, росту среднего, волосы русые, распущенные, с косою, обернутой кругом горла; на передней части шеи, ниже гортанных частей, находится поперечная как бы порезанная, с ровными расщепившимися краями окровавленная рана, длиною около трех вершков, дыхательное и щипцеприемное горло, обе боковые сонные артерии и обе крововозвратные яремные жилы, с повреждением других близлежащих мягких частей и сосудов, совершенно перерезаны; на верхней части всей шеи заметен поперечно вдавленный рубец в объем мизинца; на лбу небольшое, около вершка, продолговатое темно-багрового цвета пятно; кругом левого глаза, величиною с ладонь, темно-багрового цвета опухоль, с подтеками крови, закрывшая весь глаз; на левой руке, начиная от плеча до локтя, по задней стороне, находится сплошное темно-багрового цвета, с подтеком крови, пятно, посредине которого заметен как бы вдавленный рубец темного цвета, косвенного направления, ближе к локтю; на конце этого пятна видна незначительная трехугольная ссадина; на втором сгибе среднего пальца левой руки заметна поверхностная ссадина, величиною с полнотя мизинца; по всему левому боку, к задней его стороне, находится сплош-

ное ярко-красного цвета, в четверть листа бумаги величиною, пятно, на коем видны во множестве разной величины темно-багрового цвета пятна, с подтеком крови; на левом вертлуге находятся две поверхностные, величиной с четвертак ссадины, окруженные темно-багрового цвета пятном, величиною в ладонь; на пояснице заметны таковые же три поверхностных ссадины».

О причине смерти Симон-Деманш по этим признакам врач Тихомиров не мог сделать заключения, и дело было направлено для анатомического свидетельства в Пресненскую частную больницу. Там нашли, что «кости черепа целы и швы в оных не разошлись»; «по отделении мягких частей от ребер с левой стороны, под сплошным ярко-красного цвета в четверть листа бумаги пятном на самих ребрах, начиная от передней части верхнего ребра до поленницы и до позвонков во весь левый бок, *находится большое сседшееся кровоизлияние, причем седьмое, восьмое и девятое ребра этой стороны ближе к соединению их с позвонками переломлены, а девятое ребро — даже с раздроблением кости.*

Заключение: смерть Симон-Деманш последовала от чрезмерного наружного насилия, следствием ко-его были упомянутые повреждения тела, в особенности от безусловно смертельной раны на передней части шеи».

Сознание Егорова и его сообщников подтверждается и общей картиной трупа, которой мы сейчас займемся, и в особенности деталями. Чем мельче, незаметнее и незначительнее след, оставленный на группе, тем более убедительным доказательством он является.

Оттиск пальцев преступника — неповторимый и разнообразный — является доказательством, опровергнуть которое до сих пор еще никому не удалось. Такой оттиск имеется на трупе. С него мы и начнем.

Егоров и Козьмин рассказали, что одним из главных орудий убийства был утюг, и *на трупе есть его следы*. Протокол отмечает вдавленный рубец темного цвета, и на конце этого пятна видна незначительная *треугольная ссадина*. Отчего могла появиться треугольная ссадина, как не от утюга? Вдавленный рубец обязан своим происхождением гладкой поверхности его ребра.

Кроме того, поперечный вдавленный рубец в объеме мизинца на шее подтверждает ту часть рассказа Егорова, где женщины сознаются, что Деманш душили полотенцем. Петля от полотенца образовала так называемую странгуляционную борозду¹.

Резаная рана произошла от ножа и, наконец, первый удар кулаком в лицо, чтоб ее оглушить, оставил след в виде опухоли темно-багрового цвета с подтеком крови величиной с ладонь, закрывшей весь глаз. Опухоль, величиной с ладонь, естественнее всего произошла от кулака.

Сознание Егорова подтверждается не только положительными, но и отрицательными признаками. Если Деманш били каким-то тяжелым орудием, скорее всего металлическим, — по версии Егорова и Козьмина утюгом, — с такой силой, что, начиная от передней части верхнего ребра и до позвонков во весь левый бок, образовалось большое седьшее кровоизлияние, причем седьмое, восьмое и девятое ребра этой стороны ближе к соединению с позвонками нереломлены, а девятое даже с раздроблением кости, то как такие удары могли бы не оставить следов на платье покойной?

Если бы били ее одетую, то левая часть платья превратилась бы в лохмотья и лоскутья. Между тем, изящный и богатый наряд француженки оказался совершенно нетронутым. Это подтверждает

¹ Подробнее об этом см. экспертизу проф. Попова.

рассказ Егорова о том, что они убили ее раздетую в постели.

На трупе, как на топографической карте, можно прочесть всю последовательность преступных действий.

Сначала удар кулаком в лицо, — опухоль величиною с ладонь; затем попытка задушить, — вдавленный рубец на шее. Удары утюгом по спине, — следы на левой части тела, вдавленный рубец и треугольная осадина и, наконец, ножевая рана на шее.

Эта последовательность ударов указывает, прежде всего, на их цель — убийцам нужно было во что бы то ни стало добить свою жертву. Попробовали задушить сразу, не удалось, стали бить утюгом по левой стороне тела. ¹

Наконец, появилось сомнение: убита ли она окончательно, и Егоров одним ловким ударом перерезывает горло.

Эта картина ни в коей мере не соответствует «общественной версии» потому, что если бы Сухово-Кобылин убил ее в запальчивости и раздражении, то и картина следов на трупе должна была бы соответствовать этому его психическому состоянию.

Между тем, труп свидетельствует о непреклонной воле убийцы довести дело до конца во что бы то ни стало, не останавливаясь ни перед какой жестокостью средств.

Для чего бы Сухово-Кобылину таким диким образом добивать пусть разлюбленную, пусть постыдную женщину, — после того, как он первым ударом, как думает Л. Гроссман, убил ее наповал? Не говорю уже о том, что всякий аффект, разрешившийся в действии, влечет за собою обязательную реакцию.

Таким образом, данные объективного осмотра трупа — наиболее точное и наиболее бесспорное доказательство, что эти удары и в этой последовательности нанесены *не* Сухово-Кобылиным.

В совершении этих действий сознались Егоров и Козьмин, описали подробно события, и в той мере, в какой их рассказ подлежит проверке объективно и точно установленными фактами, он вполне соответствует оставшимся следам.

Дополнительно заметим, что сознание Егорова и его сообщников подтверждается и теми обстоятельствами, на которые мы указывали выше: отсутствием корсета и наличием теплых бархатных полусапожек, то есть домашней обуви на ногах у убитой.

Отсутствие корсета только и можно объяснить тем, что Деманш легла спать и для этого разделась, а труп ее впоследствии был одет дворовыми женщинами, которые, естественно, были в таком состоянии страха и торопливости, что не взялись за сложную шнуровку, а, может быть, впопыхах об этом и забыли.

И еще. Деманш найдена с распущенной косой. Кто же распустил ей косу? Обычно, женщины распускают косу на ночь, ложась спать. Если же Деманш, как думает Л. Гроссман, пришла к Сухово-Кобылину в полном выходном платье и даже в шляпке, то она должна была быть соответственно и причесана, и если была тогда же убита, то и труп ее должен был запечатлеть ее последние минуты. А, между тем, *шляпка на ней была, а коса была распущена*. Не ясно ли, что шляпку надели на нее тогда, когда, по естественному ходу вещей, французка была без шляпки. Шляпка на распущенной косе могла быть надета только в искусственных условиях.

Легко объяснить и отдельные моменты преступления. Так например: удары утюгом по левой стороне тела легко объяснить тем, что преступники, как они сами показывали, для того, чтобы Деманш не кричала, прежде всего набросили ей на голову подушку. Тогда, естественно, голова оказалась за-

щищенной и, чтобы достичь результата, преступникам пришлось направить удары только по телу.

Другая их цель, — может быть, избежать следов от сильных ударов утюгом по голове. Они рискнули проломить ей череп и, таким образом, окровавить постель. Между тем, убийцы тщательно избегали всего, что могло их выдать.

Был выбран удачный момент, когда кучер французенки, Игнат Макаров, был болен и когда дворник графа Гудовича, обслуживавший два дома, находился во втором, а кучер Радзивилла спал наверху.

Взяли с собой простые и бесшумные орудия преступления: подушку, полотенце, утюг. Так что один из судебных деятелей даже считал, что они пошли на дело «с пустыми руками».

Наконец, одевали убитую французенку: и убрали ее комнату те горничные, которые это в течение долгого времени обыкновенно делали.

Что же мудреного, что, придя утром 8-го в квартиру Деманш, Сухово-Кобылин нашел все в полном порядке, и убранные комнаты не возбудили в нем никаких подозрений? Здесь же надо отметить, что все шкафы, шифоньер и ящики были закрыты, а ключи находились в платье покойной.

Таким образом, не имея возможности открыть ящиков и шкафов, Сухово-Кобылин в первый день не мог еще сказать, все ли там находится в порядке и все ли вещи его любовницы целы.

Итак, сознание Егорова, Козьмина и женщины бесспорно подтверждается наружным осмотром и анатомическим свидетельством тела.

«Общественная версия» этими же данными категорически опровергается.

Убийство в запальчивости и раздражении характеризуется тем, что злоба нарастает неожиданно для самого действовавшего, она перехлестывает его волю и сознание, пересиливает задерживающие

центры, но зато в акте насилия она вся и изживается. Последовавший взрыв неминуемо влечет за собой реакцию. Такой реакции, опаматования, ужаса от содеянного, насколько это отразилось бы в следах на трупе, не видно.

Наоборот, ясно видна жестокая и сосредоточенная воля, грубо идущая напролом, чтобы только добиться одной цели — уничтожения жертвы. Все действия сознательны, насколько это возможно, обдуманы и целеустремлены.

Есть ли основания думать, что так действовал Кобылин?

Нет никаких оснований.

МОТИВЫ УБИЙСТВА

Самые тщательные поиски не могли установить мотивов преступления для Кобылина.

Пусть разлюбил, пусть завел новый роман и захотел освободиться от старой любовницы. Но разве это всегда значит, что решил убить?

В материалах дела нет решительно ни одного штриха, ни одного намека на то, что Кобылин тяготился связью и подготавливал жестокие и преступные средства, чтобы от нее избавиться. Все намеки на то, что в последние перед смертью дни Деманш нервничала и ревновала больше, чем обычно, исходят только от ее горничных и ничем другим не подтверждаются. Верить им нельзя тем более, что появляются они в то время, когда крепостные ведут борьбу за собственное спасение и оговаривают, кого могут.

Но если б даже и были доказаны измены Кобылина, ревность Деманш, связанные с этим разговоры в повышенном тоне, — что ж такого? От простых жизненных трений до убийства дистанция большая.

Измены, крупные разговоры между близкими людьми, когда один из них, рассердившись, хлопнет дверью в сердцах и уйдет, — такие частые, такие естественные явления быта прошлого, как и нынешнего, что строить на них какие-нибудь судебные выводы чрезвычайно рискованно.

Мы не возражаем против того, что Кобылин способен был убить.

Но мы категорически протестуем против обвинения в том, что он мог убить любимую женщину без всяких к тому оснований.

Быть может, собирая материал об отношениях Кобылина с Деманш в последнее перед ее смертью время, Л. Гроссман хотел сделать правдоподобной версию об убийстве в запальчивости и раздражении. Правда, отношения могут достигнуть такой степени взаимоненависти, столько раздражения друг против друга может скопиться, что достаточно незначительного толчка, чтоб столкновение разрешилось катастрофой. Все это возможно. Но этого не было.

Не в первый раз Кобылин отходил от Деманш и она его ревновала. В их жизни был случай серьезнее, — о нем есть сведения в письме сестры Кобылина Е. В. Салиас-де-Турнемир к нему. Кобылин любил, она была замужем, и он советовался с сестрой, что делать: открыто сойтись с ней — отнять у мужа, опозорить, причинить горе ее родителям, у которых она была единственной дочерью, или стать любовником и делить ее с мужем — скрываться и страдать, либо, наконец, отказаться от нее.

Сестра дала решительный совет: задушить чувство и уйти. Не последнюю роль в этом совете играла Деманш. «Ты мне скажешь, я ее больше не люблю — хорошо, в этом никто не властен, это чувство подвижнее и свободнее облаков, но кое-что да останется после восьмилетней связи, какова была ваша. А так как она добрая и прекрасная женщина, то дурным и неблагодарным будешь ты».

Впрочем, в этот же период — в 1848 году — кроме Луизы Симон, Кобылина связывала еще какая-то Полина, молоденькая девочка, за которой Кобылин ухаживал три месяца и покинул ее.

Судя по письмам, сохранившимся при деле и в

архивах, романов и увлечений у Кобылина было много. Тем-то и ценна была ему связь с Деманш, что она не стесняла его свободы. Жили они на разных квартирах, французенка была верна и покорна своему повелителю и не мешала ему наслаждаться жизнью.

Ему — богатому мужчине, родовитому дворянину, все радости удовлетворенных желаний и даже прихотей, ей — вся жертвенность самоотречения. Такова была мораль эпохи, таков был старый бытовой уклад.

Отзвуки его есть в «Свадьбе Кречинского», еще сильнее — в «Бесприданнице». Очень уж напоминает Паратов Кобылина. И не Паратов, конечно, убивает Ларису. Да ему и не надо. Он и так ее сломаёт, если придется.

Луиза никогда не стала бы на пути к счастью Кобылина. Вся ценность ее в глазах Кобылина и его родных, что она *знает свое место*. Она дает ему те радости, какие способна дать ее любовь, она услужлива в отношении к его матери и сестрам, исполняет все их серьезные и мелкие поручения и за это пользуется материальным благополучием и добрым расположением большой семьи. Она не претендует на брак с ним, понимает, что она *неровня*, и это придает устойчивость их отношениям. Число ее друзей невелико, и оно ограничено людьми ее круга. Это — все лица, занимающие положение среднее между так называемым «обществом» и прислугой, по тогдашней терминологии. Алуен Бессан — управляющий заводом шампанского в имении Кобылина, Эрнестина Ляндерт — любовница поручика Сушкова, купец Кибер — вот почти весь круг ее знакомых. Для Кобылиных, которые перерождались из дворянства в буржуазию, но желали сохранить привилегии и того и другого положения, Луиза Симон была неоценимо нужным человеком.

У Кобылиных — не только имения. Они широко

развивают промышленную деятельность. Металлургические заводы в Выксе, где громадным делом управляет старик В. А. Сухово-Кобылин, отец драматурга, текстильная фабрика в Воскресенском, заводы шампанского и водочные — таков диапазон их промышленного предпринимательства. Организующий центр — в Москве, в конторе на Никольской. Но такие товары, как шампанское, водки, крахмал, мука, мед и патока, нуждаются в розничном сбыте. Торговля открывается на имя Симон-Деманш — и дворянская честь неприкосновенна, и доход обеспечен. В деле находится верный и преданный человек, тесно связанный с интересами всей семьи. Что же мудреного, если после этого мать Кобылина, жестокая и надменная крепостница, пишет ей ласковые и заботливые письма: «Будем делать так: если вы ко мне ни за чем не пришлете, то я буду знать, что вы ни в чем не нуждаетесь, если же я вам в чем-либо откажу, то будьте уверены, что у меня этого нет!» Бескорыстная любовница сына, добросовестная исполнительница мелких, но житейски-важных поручений для всей женской части семьи, честный и преданный контрагент, на имя которого можно содержать любое предприятие, неудобное для дворянской спеси, скромная и тактичная женщина, знающая свое место, — такова Деманш в глазах Кобылиных.

Что же такого, если она порой понервничает, поплачет или вспылит? Можно спокойно переждать, пока пройдет гнев, или отшутиться. Так чаще всего Кобылин и делает. Его письма полны спокойного сознания беспредельной власти над любящей женщиной. Он шутя обзывает ее неверной и неблагодарной, грозится высечь, отрекается от знакомства — «Мадам Симон... мадам Симон... не знаю такой, первый раз слышу», — но, в конце концов, либо зовет к себе, либо приходит сам, — и мир снова восстановлен.

Но любовница — не жена, любовь — не вечна, и француженка всегда готова к разлуке.

С ее слов поручик Сушков сообщил, что «бывали у нее с Кобылиным споры и ссоры, но короткие, кончавшиеся всегда примирением». Но в этот период все было благополучно. Деманш спокойно вела домашнее хозяйство Кобылина, заботилась о его столе, на ее имя содержалась торговля мукой, медом и патокой из вотчины Кобылина. Другая торговля — вином и шампанским — была закрыта, так как шампанские вина собственного производства оказались никуда негодными, и квартира француженки была частично превращена в склад «неликвидного» товара.

Тем не менее, она твердо уверена, *qu'elle serait rentière*¹, и этой уверенностью делится со своими друзьями.

Как понимать эту фразу? Если бы она продолжала оставаться в Москве, ей никакого состояния не нужно было бы, потому что она была на полном иждивении Сухова-Кобылина. Об отдельном состоянии можно было говорить только на случай, если они разойдутся. Из шпеем ее видно, что она собиралась в Париж. Естественно, что Кобылин выделил бы своей возлюбленной и компаньонке состояние, которое обеспечило бы ее дальнейшую судьбу.

И если она в хорошем расположении духа говорит, *qu'elle serait rentière*, это значит, что она спокойно оценивает положение, что она без протеста примет то решение ее судьбы, которое выберет Кобылин, и что с нею бороться не надо. Она не собирается оказывать сопротивление. И ревность ее в этот период не могла принять особенно острого или бурного характера. Чего уж ревновать, когда все равно ехать в Париж? Не все ли равно, кто ее за-

¹ Что она будет иметь свое состояние.

менит, если она с Кобыльным разоидется? Он сам показывал следователям, что «Симон-Деманш, покончив свои дела, собиралась отбыть за границу». Не для чего было Кобылину убивать Деманш, не за что было особенно гневаться на нее. Но, примирившись с судьбой, довольствуясь тем, qu'elle serait gentille, готовая уехать в Париж, она, конечно, ощущала обиду и боль от социального неравенства.

Кто была она? Бедная французская девушка, па чужбине, без родных и близких, облагодетельствованная любовником, который давал ей прекрасное материальное положение в течение десяти лет и любил ее... как умел. При ее социальном самочувствии и речи не могло быть о том, чтобы она бунтовала против своего господина и возлюбленного. Слишком уж в глазах обоих их права и обязанности были неодинаковы. Он изменял ей. Но известно, что «все мужчины таковы», что «нам, мужчинам, все можно», а добродетель женщины — «в верности, покорности и терпении». Так Деманш и делала, неся терпеливо обязанности и заботы подружки и хозяйки.

Но зато перед крепостными Кобылина она широко пользовалась привилегиями своего социального положения и рабского строя. За все унижения, испытываемые ею от социальной несправедливости, за всю боль, которую причинял ей Кобылин, за все обиды, которые она терпела от светского общества, окружавшего Кобылина, и куда ее же выпускали, где каждую минуту могли отнять у нее любовника, так легко поддающегося женскому очарованию, она находила удовлетворение в общении с крепостными.

Здесь ей не приходилось сдерживаться, подавлять искренние чувства, покорно опускать голову.

Быстро усвоив прерогативы помещичьей власти над крепостными, она дала полную волю своему тем-

пераменту, своей вспыльчивости и капризам. Жутко приходилось от нее крепостным. Она не только избивала их сама, но жаловалась на них Кобылину, и тот, в угоду своей любовнице, не довольствуясь наказаниями «из своих рук», отдавал девушек в деревню «замуж за мужиков», а мужчин — в рекруты.

Фаворитка барина легко и бездушно губила подчиненные ей человеческие жизни. Крепостные платили ей за это лютой ненавистью. Жестокость французенки переполнила меру терпения крепостных. Произошел беспрецедентный факт. Крепостная девушка Настасья Никифорова подала военному генерал-губернатору жалобу на жестокое обращение с нею Симон-Деманш. Оказалось, что несчастная девушка была избита половой щеткой. Лекарский осмотр удостоверил, что у Никифоровой опухли оба века левого глаза, припухли плечи, на руках царапины, на бедре, на плечах и предплечьях синеватые пятна.

Крайний и рискованный шаг увенчался успехом: Деманш обязалась подпиской, что она «на будущее время о находящимися у нее в услужении людях будет обращаться, как следует», а в вознаграждение за побои дала обиженной десять рублей серебром. Чтобы представить себе, какова была реальная ценность этой суммы, вспомним, что жалованье горничных ее составляло один рубль серебром в месяц. И притом далеко не каждый месяц выплачивалось.

Таким образом. Никифоровой пришлось уплатить годовой оклад жалованья.

У Егорова были с Деманш свои особые счета. Родная сестра его Василиса была сослана в деревню Бегил по неудовольствию Деманш, у которой прослужила с полгода, и выдана замуж «за мужика». И не одна его сестра. Та же участь постигла Прасковью Тимофезву, Дарью Федорову и других.

От правды не уйдешь. Мстить ей было за что. И в первом же показании, данном Стерлигову, и во многих последующих Егоров не скрывал, что «главная причина, побудившая его посягнуть на жизнь Деманш, была та, что она со всеми жестоко обращалась, била многих из своих рук, а на него, Егорова, часто жаловалась его барину, который по жалобам ее с него разыскивал».

Не только ее крепостные, даже люди графа Гудовича и князя Радзивилла и те ее ненавидели.

Друзья Деманш — поручик Сушков и Эрнестина Ляндерт — должны были это признать в первые дни следствия (когда еще преступники не сознались).

Замечательно, что сам Сухово-Кобылин в *ущерб своей защите* отрицал этот мотив, рыцарски защищая память покойной и утверждая, что ее убили из корыстных побуждений.

Факт жестокого обращения Деманш с крепостными вне спора. Это удостоверяет эпизод с Никифоровой, трагическая судьба сестры Егорова — Василисы и других горничных Деманш; это признают ее друзья Ляндерт и Сушков, это знают, наконец, дворники дома, где она живет. И особенно хорошо знают находящиеся в ее услужении люди.

Кто же оспаривает, что Деманш убита из мести за жестокое обращение? Один только Сухово-Кобылин. Он выдвигает другой мотив — ограбление, и на этом настаивает в продолжение всего процесса.

Оба мотива — месть и ограбление не исключают, а чаще всего дополняют друг друга.

Побудительные причины к действиям не живут изолированно.

Ради корыстных побуждений Егоров, быть может, и не убил бы француженки. Но уж, когда убил, то заодно и попользовался.

И разве в убийстве Демани осуществлялась одна только месть ей? Разве Егоров не понимал, что этим он одновременно бьет и по барину? Отнимает у него любовницу, хозяйку, компаньонку в делах, втягивает его, наконец, в длинную судебную волокиту.

Должно быть, труднее стерпеть истязания и побои, когда их наносит не свой, «законный» русский барин, а чужеземка, любовница, узурпировавшая помещичьи права и присвоившая себе власть над телами подвластных ей душ.

Так и Настасью Минкину убили крепостные Аракчеева.

МЕСТО И ВРЕМЯ

Где и когда совершилось убийство?

И следователи, и судьи, и сенаторы, и министр юстиции, и тот, кто писал за него особое мнение и, наконец, современный исследователь дела придадут этому вопросу первостепенное значение.

И действительно, для обвинительной версии необычайно важно установить, что преступление совершилось именно во флигеле дома № 9 по Страстному бульвару, где проживал Сухово-Кобылин.

Уликой, связующей Кобылина с преступлением, является кровь, обнаруженная следователями в сенях и на ступеньках черной лестницы.

Как известно, в квартире покойной французженки кровавых следов не найдено, а так как на трупе оказалась большая трехвершковая резаная рана, то естественно было сделать вывод, что там произошло убийство, где найдена кровь. Этот первый довод обвинителей подкреплялся еще тем соображением, что в доме графа Гудовича невозможно было совершить преступление без того, чтобы оно не было замечено и обнаружено окружающими.

Между тем, как увидим ниже, все эти рассуждения искусственны и неосновательны.

Егоров и Козьмин признали, что процесс убийства распался на две части: били и душили на

квартире Деманш, а горло перерезали в овраге у Ваганьковского кладбища.

Попытаемся проверить их признание на основании объективных доказательств.

К сожалению, в деле следственные материалы недостаточно точны.

Первая следственная комиссия произвела осмотр платья Деманш только 23 января 1851 года, то есть по истечении двух с половиной месяцев после совершения преступления.

Протокол комиссии до странности краток:

«Оказалось, что малишка сорочки и платье в верхнем конце спереди довольно много окровавлено и залито кровью; одна белая юбка и шапочка также запятнаны кровью; на прочих принадлежностях одежды кровавых пятен не усмотрено».

Вот и все.

Вторично платье Деманш было осмотрено Чрезвычайной следственной комиссией 24 марта 1854 года. Из Первого департамента надворного суда был прислан в комиссию запечатанный узел с платьем, в котором Деманш была найдена убитой. Печать на этом узле оказалась в целости, но мы решительно не знаем, как хранилось платье и не могло ли оказаться так, что кровавые пятна не сохранили своего первоначального вида только потому, что могли отпечататься на других вещах, на которых первоначально таких следов не было¹.

Когда узел был распечатан, в нем нашли: 1) зеленое с клетками шелковое платье, 2) белую коленкоровую юбку, 3) ватную драдедамовую черного цвета юбку на подкладке из светло-серого коленкора, 4) белую бумажную тканевую юбку, 5) белую голландского полотна рубашку, 6) белые коленкоревые кальсоны, 7) две пары чулок белых, из которых одна пара шелковая, а другая бумажная, 8) шапоч-

¹ Подробный анализ см. в экспертизе проф. Попова.

ку из синего атласа, 9) одну пару черных бархатных или полубархатных полусапожек, 10) газовую белую косынку, 11) батистовую косынку с голубыми клетками, 12) черную тюлевую или газовую вуаль.

Комиссия установила, что белая рубашка обогрета кровью в верхней части как с передней, так и с задней стороны, а также во многих местах до перехвата талии, особенно спереди под рукавами, а сзади — на спине и ближе к правому боку. Но ниже перехвата талии кровавых пятен на рубашке нет, кроме нескольких небольших кровавых знаков на самом подоле спереди.

Судя по тому, что рубашка была с рукавами, следует думать, что это была ночная рубашка, потому что дневная выходная дамская сорочка обычно без рукавов.

Отсутствие защиты и гласности сделало все эти мелкие, но необычайно существенные обстоятельства незаметными для судебных органов.

Сам подсудимый в осмотре вещественных доказательств не участвовал, да ему было и не до того, а его следователи и судьи не были заинтересованы в том, чтобы добросовестно и объективно собирать материал.

Трудно объяснить, как попали кровавые пятна на заднюю часть рубашки, если не считать, что эти пятна являлись просто следствием неправильного хранения белья и платья убитой в судебном узле. Этих пятен не объяснит и версия обвинителя.

Далее, зеленое шелковое платье оказалось залитым сплошными потоками крови: спереди от самого верха до поясницы и отсюда по правому боку далее внутрь более, нежели на четверть аршина, а сзади, начиная с поясницы, до самого низа.

На коленкоровой белой юбке, находившейся, как видно из дела, под шелковым зеленым платьем, на

многих местах значительной величины кровавые пятна. Оверх этого, синие и зеленые пятна — от сбегавшей краски с означенного платья.

Если могла сбегать с платья краска, то в какой-то части могла сбегать и кровь. Это только подтверждает нашу мысль о том, что платье и белье хранились неправильно.

Наконец, на драдедамовой ватной юбке едва заметен как бы след кровавых пятен, но на внутренней стороне юбки, подложенной светло-серым клеенкором, никаких кровавых пятен не оказалось.

На третьей белой тканевой юбке и на кальсонах также нет никаких кровавых знаков. Чем ближе к телу части одежды, тем менее они окровавлены. Запомним этот факт.

Вся та часть синей атласной шапочки, которая лежала на шее Деманш, и белая сверху подкладка шапочки значительно обгажены кровью.

Газовая косынка почти вся замарана кровью, а равно заметны кровавые знаки на нижнем борте черного тюлевого вуаля.

Наконец, на том месте, где был найден труп Деманш, под горлом ее обнаружено небольшое количество крови.

Какой вывод можно сделать из приводящей в содрогание картины кровавых знаков, пятен и следов?

Если бы Деманш была зарезана живой, то радиус разбрызга крови был бы настолько велик, что вся она, так же как и ее убийцы, была бы сплошь залита кровью. Кровь сплошным потоком покрыла бы и большую площадь в той комнате, где было бы совершено странное дело. Такой картины мы нигде не наблюдали. В следственных материалах нет даже намека на что-либо подобное; кровавые пятна, обнаруженные во флигеле Кобылина, ничего общего не имеют с той картиной, которая бы создалась, если

бы нож убийцы провел по горлу живой женщины трехвершковую рану.

Найденные следы полностью подтверждают рассказ Егорова о том, что между моментом ее смерти и перерезом горла прошло более получаса. Сердце уж перестало биться, кровь не фонтанировала, и поэтому перерез горла не повлек за собой обгащение всего трупа и всей одежды, какая была на Деманш.

Но за полчаса труп ни остыть, ни окоченеть не мог.

Направление крови от горла книзу, приостановленное в своем движении у талии, доказывает, что кровь спускалась медленно и постепенно по наклонному вниз трупу, вытесняемая из вен и артерий и падавшая только силою естественной тяжести.

Уж одно это подтверждает, что горло было перерезано после смерти.

Следственная комиссия не только произвела осмотр и описание платья погибшей, но тут же, в протоколе, и отметила свои выводы:

«Судя по обгащению кровью платья и происшедшему вывозу Деманш из места убийства, следует безошибочно заключить, что местом убийства не могла быть занимаемая во флигеле графа Гудовича квартира, в которой никаких кровавых знаков не было».

Вывод комиссии совершенно игнорирует прямое признание Козьмина и Егорова. По правилам, в протоколе осмотра таких выводов комиссия помещать не должна была.

Как видим, «безошибочное» заключение комиссии не только ошибочно, но и просто недобросовестно.

Кроме того, комиссия явно намекала на кровавые знаки, найденные в старом флигеле Кобылина по Страстному бульвару.

Чтобы подкрепить свой «безошибочный» вывод о месте убийства, Чрезвычайная следственная комиссия даже делала опыты, слышен ли в квартире Радзивилла наверху шум и крики из квартиры Деманш.

Попутно заметим, что с этой точки зрения флигель Сухово-Кобылина совершенно не был подвергнут исследованию.

Можно ли произвести убийство в доме графа Гудовича так, чтобы никто не слышал шума и криков и чтобы никто не видел, как вывозили тело?

Подчеркнем, что аналогичного вопроса в отношении старого флигеля по Страстному бульвару ни следователи, ни обвинители не ставят.

Соображения о том, что убийство не могло произойти в доме Гудовича, совершенно не убедительны. Там не обнаружены кровавые пятна, но это только значит, что Деманш там не была зарезана. Этого обстоятельства никто и не утверждает. Сознавшиеся убийцы относят к дому графа Гудовича только первый процесс убийения.

Почему не был слышен шум борьбы? — спрашивает комиссия, а с нею и обвинители¹.

Прежде всего, потому, что преступники, предвидя это, приняли меры: они пришли с подушкой и, кроме того, вбили в рот своей жертвы платок. Преступление было совершено в третьем часу ночи. Наверху, в квартире Радзивилла, молодого студента Мос-

¹ Этот вопрос находит более правдоподобное объяснение в одном из писем матери Сухово-Кобылина Марии Ивановны к дочери Е. В. Петрово-Соловова (по-французски), где говорится, что «этот подлый поляк Радзивилл всюду рассказывает, что он слышал крики, но не имеет мужества свидетельствовать об этом официально».

Принимая во внимание нравы дореформенных следователей и судей, поведение Радзивилла, который не хотел связываться с приказными крючкотворами и вымогателями, вполне понятно и легко объяснимо.

ковского университета, проживало, кроме него, всего три человека: его товарищ и двое слуг. Молодые люди могли и не слышать двух-трех вскриков, раздавшихся в глубине чужой, запертой на зиму квартиры.

Слуги князя Радзивилла и дворник графа Гудовича отговорились полным незнанием того, что произошло, объяснив, впрочем, что они рано легли спать и ни шума, ни крика не слышали.

Кстати вспомним здесь показания поручика Сушкова и других, в которых говорилось, что дворник дома графа Гудовича ненавидел покойную. Можно допустить, что прислуга Радзивилла и дворник Гудовича могли даже быть осведомленными о совершенном или совершавшемся преступлении и, не принимая в нем лично участия, молчаливо попустительствовать.

Расположение комнат в квартире Деманш было таково, что обеспечивало незаметное совершение убийства и вывоз тела (см. план и описание квартиры).

Правда, лошади Деманш находились в общей конюшне с лошадью Радзивилла, но кучер в конюшне не ночевал, а спал он наверху, в квартире своего хозяина, и, следовательно, можно было запрячь сани и вывести лошадь совершенно незаметно.

В квартире Деманш (см. план) было три выхода: ее парадный выход примыкал непосредственно к воротам, и, следовательно, труп вовсе не нужно было выносить через двор, а прямо из двери он мог быть вынесен в подъезд к саням.

Ключ от ворот не находился у дворника, а лежал в общем, всем известном, месте. Дворник графа Гудовича обслуживал два дома: маленький, в котором было только две квартиры — Деманш и Радзивилла, — и другой дом — большой, отделенный от маленького деревянным забором, и это обстоятельство почему-то обвинители забывают.

Соображения некоторых судей о том, что если бы несли труп, то это было бы видно в кухне Радзивилла, не выдерживают критики, потому что кухня Радзивилла была отделена от коридора Деманш стеной, через которую ничего не видно, и, наконец, в третьем часу ночи кухня была пуста, так как слуги Радзивилла спали не в кухне, а наверху в комнатах.

Наконец, выскажем общее соображение, что доказывать отсутствие какого-либо факта на том основании, что такой факт не мог произойти, чрезвычайно рискованно, для этого нужно установить объективную физическую невозможность существования такого факта.



АЛИБИ

Тесно связан с вопросом о месте убийства и вопрос об алиби. По мнению Л. Гроссмана, огромное значение для Сухово-Кобылина представляло установление его алиби, то есть отсутствие его из собственной квартиры в вечер исчезновения Симон-Деманш.

Значение этой улики преувеличено.

Алиби вообще не улика, а способ оправдания.

Можно быть ни в чем не виноватым и в то же время неудачно оправдываться, так что ничего серьезного, с точки зрения положительного доказательства вины Сухово-Кобылина, вопрос об алиби не представлял.

Однажды установленное отсутствие подозреваемого в том месте и в то время, где и когда совершилось преступление, конечно, освобождает его от полной прикосновенности к делу.

Не то в настоящем случае. Ни время, ни место убийства не были с точностью установлены, если не верить рассказу Егорова. Поэтому алиби могло иметь второстепенное значение. Но так как главной уликой в глазах следователей против Кобылина были кровавые следы в сенях и на ступенях, а ушла Деманш, по первоначальным словам слуг, в десять часов вечера, то возникло предположение, что Деманш

убита и зарезана была там, где обнаружены пятна, и в то время, когда исчезла.

По вопросу об алиби Кобылин, допрошенный 16 ноября по всем обстоятельствам дела и еще не искушенный в тонкостях дореформенного следственного крючкотворства, принял на веру сообщение слуг, что француженка ушла со двора вечером в десятом часу и больше не возвращалась. Это и заставило его предполагать, что с нею случилось несчастье.

Если бы Кобылин был автором сознания, данного Егоровым и другими, то он уж, конечно, по центральным событиям дела говорил бы иначе. По крайней мере, высказывал бы сомнение в том, действительно ли уходила француженка из дому или с ней там что-нибудь случилось. 16 ноября, когда писал свое показание Кобылин, труп уже был осмотрен, акт составлен, внутреннее освидетельствование тела произведено, и если бы действительно существовала «организация подложного сознания», как утверждает Л. Гроссман, то она должна была бы отразиться в этом моменте, то есть в его первом письменном показании.

Между тем, рассказывая подробно о том, когда в последний раз он видел Деманш, Кобылин сообщил, что «в последний раз свидание у него с Симон-Деманш было в понедельник, 7-го числа, на ее квартире; они были одни и никого постороннего не было. В его же доме он со времени приезда родственников ее не видел. Вечером 7 ноября он находился на вечере у Александра Григорьевича Нарышкина, где ужинал в часу втором пополудни, возвратился домой, не застав никого, раздет был камердинером и лег спать. В наружности камердинера его ничего особенного не заметил, впрочем, и внимания на него особенного не обращал. Сколько мог припомнить, отправился он на вечер и возвратился домой пешком, ибо его лошади были заняты сестрами, а из-

возчика в тот вечер не нанимал. На вечер к госпоже Нарышкиной уехал в восемь часов или девятого четверть».

«Дообеденное время, то есть до пяти часов вечера, в доме не находился, вечером обедал с зятем Петрово-Солововым и его женой и никого не принимал и не видел до тех пор, пока не отправился на вечер».

Дословно приведенные нами подлинные показания Кобылина необычайно характерны тем надменным барским тоном, которым отзывается Кобылин о своем камердинере, в котором «он ничего особенного не заметил, да и внимания на него особенного не обращал».

Разберемся в этом показании.

Я не придаю алиби большого значения для защиты Кобылина.

Если кровавые пятна были нанесены кровью Деманш, то вовсе не обязательно, чтобы время убийства было между десятью часами вечера и двумя часами ночи. Из рассказа Егорова видно, что преступление было ими совершено в два с половиной часа ночи, и весь процесс преступления и вывоз тела занял часа три—три с половиной. В шесть часов утра и следы были уничтожены, и Егоров с Козьминим уже пили чай на Моховой, в трактире «Оучек». Если бы версия обвинителя была доказана, то даже пребывание Кобылина в тот вечер у Нарышкиных ее бы не опровергло. Вполне можно допустить, что Деманш могла с десяти часов вечера забраться во флигель Кобылина, ждать его там и дожидаться, допустим, того, чтобы он вернулся не один, а с Нарышкиной, а дальше было бы все то же самое, только с перестановкой на несколько часов. Поэтому придется признать, что установление алиби фактически безразлично для защиты Сухово-Кобылина, и если, тем не менее, мы останавливаемся на этом вопросе, то только потому, что он имеет значение для характеристики следственных действий.

Материалами дела алиби доказывается бесспорно. В первом же показании по делу, в том самом, которому верит Л. Гроссман, когда, по мнению его, следствие «шло по свежим следам» и все обстояло, повидимому, так, как показывали слуги до сознания, Ефим Егоров утверждал, что когда он от Деманш отправился (7 ноября, в десять часов вечера), то она дала записку к его барину, которую он отдал камердинеру Макару. При отдаче же ему той записки, велела сказать барину его, чтобы прислал ответ, о чем передал он Макару, *так как барина его в то время дома не было*, и возвратился он в квартиру часу во втором ночи. Допрошенный 14 ноября Егоров дополнительно показал, что о возвращении барина его в дом сказал ему камердинер Макар, разбудивший его, так как он спал, и что барин велел сказать Деманш, что обедать дома не будет и чтобы был приготовлен завтрак. Самого же барина он не видел. Посылку же записки Сухово-Кобылину через Егорова можно считать бесспорной, хотя она и не обнаружена. Показание Егорова о том, что барин дома не был, ценно тем, что оно косвенно вытекало из другой темы — о записке. Отсутствием барина Егоров объяснил и отсутствие ответа на записку. И в самом деле: если бы Кобылин дома был, то почему бы он не ответил на деловую записку о том, какое кушанье готовить, и не послал бы просимых денег? Так что в этой части алиби устанавливается не только словами Егорова, но и обстоятельствами дела.

Мало того. Конторщик Федор Федотов подтвердил, что и ему Деманш приказывала сказать барину, «чтоб прислал ответ ей на записку, посланную ему с шоваром Ефимом», но барина он тогда не видел, так как, когда он вернулся от Деманш, то барина дома не было.

«Общественная версия» внутренне противоречива. Если действительно Деманш из дому ушла, то мотив ее ухода из дому в десять часов вечера под-

тверждает алиби Кобылина, иначе уход не мотивирован.

В самом деле: Деманш получила от Кобылина часов в восемь вечера записку с указанием, какое кушанье готовить на завтрак. Егоров, принеший записку, отнес и ответ. Деманш в свою очередь ждала ответа с полчаса, но не дождалась и пошла сама. Почему не было ответа на записку Деманш? Егоров и Федотов объясняют: *потому, что барина не было дома.*

Этим устанавливается алиби.

Барина не было дома часов в десять вечера, поэтому не было и ответа на записку: был бы барин, был бы и ответ. Деманш после записки послала напоминание об ответе, значит, не собиралась сама уходить, а ждала ответа. Объяснения слуг об ее уходе на полчаса «и потому свечей не гасили» ничем не подтверждаются.

Поручик Сушков, допрошенный 12 ноября, то есть на следующий день после начатого следствия, показал, что «слышал он, что Кобылин просидел вечером 7 ноября у господ Нарышкиных (в доме Альфонского, напротив англицкого клуба), слышал от самой Нарышкиной, и будто он пробыл там до двух часов ночи».

Что должны были сделать следователи, получив такие сведения по вопросу, который они считали важным для дела?

Двух мнений быть не может. Проверка алиби не представляла никаких трудностей. Установить, был или не был Кобылин на званом вечере, где находилось человек пятнадцать-двадцать гостей, можно было немедленно опросом хозяев и гостей. Между тем, ни малейших попыток к этому во всем следственном производстве комиссии Шлыкова мы не нашли.

Объяснения напрашиваются сами собой. Если бы в первые же дни следствия было установлено алиби

Кобылина, то он слишком легко ушел бы из рук следователей и к этим рукам ничего бы не прилипло.

Поэтому допрашиваются сначала только крепостные Нарышкиных. А так как по формальной теории доказательств сумма двух таких показаний не может дать «совершенного доказательства» (для большей верности устанавливаются еще и мелкие разноречия в этих показаниях), то оброчная статья остается в прежнем положении.

Обвинение пытается найти опору по вопросу об алиби в показаниях крепостных Сухово-Кобылина, а именно: дворников Антона Павлова и Ивана Пахомова, кухера Ивана Тимофеева и повара Малюфеева.

Почему из пятнадцати дворовых, находившихся в доме № 9 по Страстному бульвару в ночь с 7-го на 8-е, были допрошены именно эти люди, можно только догадаться. Очевидно, показания их были выгодны не следствию, а следователям.

Для чего было Шлыкову пытками организовать подложное сознание, когда он мог просто установить алиби Кобылина? Однако, он этого не делает. Значит ли это, что Шлыков стремился к освобождению Кобылина?

Конечно, нет.

Из четырех допрошенных никто не показал положительно, что он видел Сухово-Кобылина дома в ночь с 7-го на 8-е.

Утверждение, что Кобылин был дома, если свидетель сам его видел, есть установление положительного факта, и оно очень ценно. Но утверждение, что Кобылин *не уходил из дому*, есть попытка доказать отрицательный факт, и оно никакой цены не имеет, ибо доказать отрицательный факт нельзя. Если крепостной не видел, что барин вышел из дому, он так и показывает, но следователи делают вывод, что, значит, Кобылин был дома, и так как в их интере-

сах было собирать материал против Кобылина, то они записывают только вывод.

Поэтому нет ничего удивительного, что когда, при ближайших допросах, уточнили поставленные крепостным вопросы, то есть сами ли они видели, что барин был дома или только не заметили, ушел ли,— все разъясняется.

Становится ясным, что люди эти легли спать рано, что опали они в таких местах, откуда им не могло быть видно, уходил Кобылин из дому или нет.

7 ноября в пять часов вечера он обедал в большом доме и *оттуда* пошел к Нарышкиным. От главного входа в большой дом и до калитки расстояние четыре-пять шагов. Конюшня и кухня, где спали дворник и кучер, расположены так, что невозможно видеть, как выходил Кобылин, а повар Малофеев спал наверху в старом флигеле, то есть в глубине двора, направо, сзади большого дома¹.

Показания дворовых Кобылина, данные по одному вопросу, нельзя принимать оторванно от других обстоятельств дела. Тому показанию дворника Антона Павлова, что «барин был весь вечер дома и из одного никуда не отлучался, да и карета его была в починке», Л. Гроссман верит целиком. Допустим, -- видел, барин был дома.

Тогда как же Павлов мог не заметить, что пришла к барину одна женщина (Нарышкина), потом другая (Деманш), что в доме был шум и крики, что Деманш убили и зарезали почти на лестнице, а потом вывезли ее труп, то есть открыли дверь конюшни, вывели лошадь, открыли дверь каретного сарая, вытащили сани, запрягли лошадь, открыли ворота и т. д. И всего этого дворник не заметил! Не заметил и того, как увезли тело, а потом вернулись, лошадь распрягли, сани отложили и стали уничтожать следы.

¹ Этот «старый флигель» не сохранился.

Тогда одно из двух: либо он спал и ничего не видел, значит, грош цена его показанию, «что барин был дома и никуда до утра не уходил». Либо — его путают следователи.

Отсюда прямой вывод: что спавший дворник не видел, ушел ли Сухово-Кобылин 7-го вечером в гости к Нарышкиной или не ушел — и только. Другими словами, его свидетельское показание так же, как и показания трех других, ничем помочь делу не могут. Приводить это показание в подтверждение или в опровержение алиби Кобылина никак нельзя.

Резюмируем. По данным следственной комиссии Шлыкова, алиби Кобылина подтверждается показаниями Егорова, Федотова, Макара Лукьянова, поручика Сушкова и двух слуг Нарышкиных.

Эти показания объективно подтверждаются фактическими обстоятельствами, сопровождавшими посылку записки Деманш Кобылину, и не опровергаются тем, что слуги Кобылина в первых показаниях алиби не подтвердили. Но причиной тому было старинное письменное производство: записаны были выводы, а не утверждаемые факты. Впрочем, и эти показания были впоследствии уточнены и оказались в пользу Кобылина.

Не вина Кобылина, что следователи не допросили Нарышкиных и их гостей.

Дополнительный материал по этому же вопросу собрала высочайше утвержденная Чрезвычайная следственная комиссия через четыре года. Комиссия допросила, наконец, ряд лиц, которые, по указанию Сухово-Кобылина, были на вечере у Нарышкиных.

«Результаты, — пишет Л. Гроссман, — получились для него мало благоприятные... Только одна опрошенная — Теплова — показала, что видела Сухово-Кобылина у Нарышкиных вечером 7 ноября»¹.

¹ Л. Гроссман, «Преступление Сухово-Кобылина», стр. 116—117.

Этого обвинителю мало. Поддаваясь влиянию формальной теории доказательств, он применяет к этим показаниям количественный, арифметический принцип. Нельзя забыть, что из прежних свидетелей, которые были допрошены через несколько дней после событий, двое слуг Нарышкиных показали, что Сухово-Кобылин на вечере 7 ноября присутствовал.

Но слугам Нарышкиных Л. Гроссман не верит. Они были «обработаны». Тогда неясно, почему такой же обработке не подверглись собственные люди Кобылина. Это было бы и легче и проще: «говори, что барин дома не был — и все, а где был — не твое дело». Утверждать же, что Кобылин был на вечере в присутствии пятнадцати-двадцати гостей, если его в действительности там не было, дело гораздо более опасное и сложное.

При первом расследовании гости и хозяева допрошены не были. Между тем, прикосновенность хозяев к делу и их заинтересованность в том или другом ответе абсолютно ничем по делу установлена не была. Если можно еще говорить о сплетнях по поводу романа между Сухово-Кобылиным и Нарышкиной, то, во всяком случае, муж ее, Александр Григорьевич Нарышкин, человек богатый и независимый, вряд ли стал бы лгать в угоду сопернику, который опозорил его честь и набросил тень на имя его жены. Тем не менее, и А. Г. Нарышкин допрошен не был. Гости же его допрашивались через четыре года после события.

Что же они показали?

«Два-три лица дали весьма неопределенные справки», — сообщает Л. Гроссман (там же, стр. 116).

На самом же деле из их показаний можно извлечь более точный и определенный материал.

Дело в том, что добросовестные люди, выступая в качестве свидетелей, боятся точных и жестких

цифр и дат. Они не определяют, а описывают то, что у них в памяти сохранилось от событий. Особенно, если события произошли давно.

Так, статский советник Бутовский под присягой показал, что в ноябре 1850 года у Нарышкиных был вечер — *числа он не упомянул*. Когда он приехал на вечер, то Сухово-Кобылин уже там находился и там остался еще после его отбытия.

«При отсутствии указания на число и это свидетельство теряло всякое значение» (там же, стр. 116).

Обвинитель рано торжествует победу. Не упомянув числа, Бутовский, — который тем более заслуживает доверия, чем он осторожнее, — зато назвал среди гостей, которые вместе с ним были на этом вечере, Бахметьеву и Теплоу. Сопоставляя же их показания с показаниями Бутовского, нетрудно установить, что речь идет об одном и том же вечере.

Как мы знаем, Теплова признала безоговорочно присутствие Кобылина на вечере 7 ноября у Нарышкиных. Бахметьева же показала, что, «как помнит, она была на вечере у Нарышкиных в ноябре 1850 года, и что это было накануне того дня, когда по Москве пронесся слух о смерти французенки, мадам Симон. Кобылина она на этом вечере видела».

«Слух этот мог пронестись не ранее десятого числа, так что и это показание *ни в коей мере не могло относиться к 7 ноября*», — утверждает Л. Гроссман (там же, стр. 116).

Здесь явное недоразумение. Слух об исчезновении Симон-Деманш разнесся в Москве уже 8 ноября, потому что встревоженный Кобылин 8-го вечером вызывал сбер-полицмейстера то из Английского, то из Купеческого клуба и сообщил ему о своих тревогах. О смерти же Симон-Деманш узнали действительно 9-го вечером (а не 10-го). В обществе же близком к Нарышкиным и Кобылину уже 8 ноября

стало известно, что Деманш исчезла и Кобылин разыскивает ее по всему городу. Знали Нарышкины, Петрово-Солововы, Салиас, Ляндерт, Панчулидзе, знали обер-полицмейстер и военный генерал-губернатор, знали ночные посетители клубов и несколько десятков слуг. Это ли не пронесшийся по Москве слух? Нельзя выводить дату из обмолвки. Были два слуха, а именно: 8-го узнали об ее исчезновении, а 9-го вечером — о смерти. Свидетельница, естественно, через четыре года этих слухов не уточнила, она говорит о первом слухе, то есть об исчезновении, имея в виду слух о смерти. Но придирка к этому не поможет расследованию.

Самое важное — в другом. Неужели Бахметьева могла быть у Нарышкиных на вечере 9 ноября, то есть в тот вечер, когда был найден обезображенный труп Симон-Деманш, и застать там среди веселящихся гостей Сухово-Кобылина? Вечер 9 ноября был бы не только накануне того дня, когда разнесся по Москве слух о смерти мадам Симон, он совпал бы и *со временем обнаружения трупа*. В тот вечер Кобылина вызвали к обер-полицмейстеру и сообщили ему ошеломляющую новость. Неужели Л. Гроссман думает, что действительно 9-го у Нарышкиных был званый вечер человек на пятнадцать-восемнадцать? Конечно, нет.

Начиная с 9 часов утра 8 ноября мы точно знаем каждый шаг, каждое движение Сухово-Кобылина по часам.

8 ноября он с одиннадцати часов день и ночь разъезжал на санях Деманш то к ней на квартиру, то к себе, то в клуб к обер-полицмейстеру, то, наконец, по Петербургскому шоссе, разыскивая следы пропавшей любовницы, и только под утро вернулся домой. 9 ноября было уже найдено тело, и Кобылин, даже если бы и разыгрывал роль, то все же на званый вечер пойти не мог. Нарышкины такого вечера устроить не могли, да и не устраивали.

Все окружающие Кобылина единодушно рассказывают, что и Нарышкина после совершенного убийства оказывала Кобылину чрезвычайное внимание, проводила в его семье все вечера, заботилась о погребении, о том, чтобы Кобылин не был допущен к открытому гробу, словом, делила с ним все страдания и заботы. Ей так же, как и ему, было не до веселья.

Таким образом, бесспорно, что, поскольку все три свидетеля говорят об одном и том же вечере в ноябре 1850 года, на котором они совместно были у Нарышкиных о Сухово-Кобылиным, поскольку Теллова точно помнит, что она была 7 ноября, а после 7 ноября совсем никакого вечера в ноябре быть не могло, поскольку из сопоставления этих показаний видно, что речь идет именно о 7-м числе, так как это был последний званый вечер у Нарышкиных до начала следствия по делу об убийстве, — алиби этими показаниями можно считать твердо установленным.

Судебные власти, сопоставившие показания, приняли вывод Кобылина, который в своих объяснениях все время ссымался на то, что эти три свидетеля подтвердили его присутствие на вечере у Нарышкиных 7 ноября.

Л. Гроссман удивляется, как суд мог принять такую ссылку? Что делать! Ему самому надлежало внимательно отнестись к собранным по делу материалам.

Необходимо осветить еще одно маленькое, но характерное замечание Л. Гроссмана.

В своих воспоминаниях П. Д. Боборыкин, интересовавшийся делом об убийстве Симон-Демашш, пишет, что «А. И. Бутовский (тогда директор департамента мануфактур и торговли) рассказывал мне раз, как он был прикосновенен в Москве к этому делу. Он служил тогда председателем коммерческого совета в Москве и пошел как раз на тот вечер

у госпожи Н., когда в квартире Сухово-Кобылина была убита француженка — его любовница».

«От Бутовского обвиненный (почему обвиненный, а не обвиняемый?) хотел иметь на следствии показание, что он видел его еще на вечере, когда сам уезжал домой. Такого показания Бутовский не мог дать потому, что не хотел утверждать этого положительно, а для обвиненного это нужно было, чтобы доказать свое алиби»¹.

Если верить точности воспоминаний П. Д. Боборыкина, то какой вывод можно сделать из этого внесудебного признания Бутовского? Прежде всего, разумеется, тот, что он был чрезмерно осторожен в своих судебных показаниях и не договорил следователю того, что сказал Боборыкину.

Но ведь необычайно существенно отметить в его рассказе, что он попал *как раз на тот вечер у госпожи Н., когда в квартире Кобылина была убита его любовница*. Здесь-то мы полностью имеем подтверждение алиби, хотя Бутовский числа и не помнит. В чем же разногласия между свидетелем и обвиняемым? Только по вопросу о том, *сколько времени пробыл на этом вечере Кобылин*.

Кобылин хотел, чтобы Бутовский очертил полностью весь отрезок времени, проведенный им у Нарышкиных, а Бутовский помнил только, что видел его на том вечере, и не решался довериться памяти или просто забыл о том, кто из них раньше уехал.

Что же отмечает в этом материале Л. Гроссман?

«Любопытно, что близкий к Нарышкиным Бутовский не сомневался, что любовница Сухово-Кобылина была убита в его квартире» (там же, стр. 116).

Почему под выражением «в его квартире» Бутов-

¹ Л. Гроссман. — Там же, стр. 116—117.

ский должен был непременно подразумевать старый флигель в доме № 9 по Страстному бульвару, ведь и квартира Симон-Деманш была тоже квартирой Сухово-Кобылина?

Первые показания Ефима Егорова в части алиби, ни разу, ни при каком допросе не взятые обратно, подтвержденные даже в Чрезвычайной следственной комиссии, устанавливают, что когда он 7 ноября в десять часов вечера пришел от Деманш домой, то барина дома не было. То же подтвердили конторщик Федор Федотов Митов и камердинер Макар Лукьянов.

Объективно это подтверждается эпизодом с запиской Симон-Деманш к Кобылину. Затем три первом следствии присутствие его на вечере 7 ноября у Нарышкиных подтверждает их прислуга.

Незначительные их разногласия не касаются существа и вполне естественны. Без разноречий бывают только хорошо выгученные и подготовленные показания. Не вина Кобылина, что в первое следствие не были допрошены хозяева дома и многочисленные гости, на которых он ссылался. Следователи всячески уклонялись от простых и естественных действий, *чтобы не столкнуться с правдой по делу, потому что тогда ускользнула бы доходная оброчная статья.* Сознание Егорова было добыто не ими. Оно было неожиданно для участников следственной комиссии Шлыкова, противоречило их воле и их интересам. Надо было чем-нибудь его ослабить, так как и остальные преступники сознались легко и быстро. Замолчать их сознания было опасно, потому что весь материал находился не только у них, но и у обер-полицмейстера и военного генерал-губернатора.

О алиби им было легче. Оно было в их руках, и здесь-то мастера дореформенного крючоктворства бесконтрольно допрашивали того хотели и плели любые петли.

Допрошенные, наконец, через четыре года гости Нарышкиных: Теплова, Бутовский и Бахметьева, при всей их осторожности и осмотрительности, дали полноценный и убедительный материал.

Чего больше можно ожидать при таких методах расследования?

Последнее замечание: для опровержения, так называемой, общественной версии, той самой, которую поддерживает Л. Гроссман, важно установить алиби не только Кобылина, но и Надежды Ивановны Нарышкиной.

Л. Гроссман об этом умолчал. А, между тем, оно устанавливается с такой очевидностью, что даже непонятно, как может писатель верить в то, что Нарышкина вечером 7 ноября была одновременно в двух местах: в старом флигеле Сухово-Кобылина, в доме № 9 по Страстному бульвару, и на Тверской, в доме Альфонского, напротив Английского клуба.

ВЕЩИ, ПОХИЩЕННЫЕ У ДЕМАНШ

В первые дни по исчезновении Деманш было предположение, что она ограблена извозчиком.

Но когда на ее труп обнаружены были «в ушах золотые с бриллиантами серьги, на безымянном пальце левой руки два золотых супира, — один с бриллиантом, а другой с таким же камнем, осыпанным розами, на безымянном пальце правой руки золотое кольцо», — предположение это отпало само собой.

Вид богато одетой, нарядной женщины, с драгоценностями в ушах и на пальцах, при первом поверхностном взгляде подкреплял рассказ слуг о том, что Деманш ушла из дому, в чем была.

При более пристальном рассмотрении ее трупа оказывается, что это предположение ошибочно. Выше мы подробно отмечали, в чем не сходится картина трупа с первоначальными показаниями дворовых. Последующее их сознание полностью подтверждается следами, оставшимися на трупе. Мотивом убийства сами дворовые установили месть за жестокое обращение, и только один Кобылин все время утверждал, что убита была Деманш слугами с целью ограбления.

Можно считать установленным, что, кроме Егорова, соучастники его мало чем попользовались. Имеются некоторые указания, недостаточно проверен-

ные, о том, что пропало какое-то количество кружев, белья и платья. Но француженка, вероятно, и сама не знала, сколько было у нее платьев, белья, кружев, чулок, платков, вуалей и других мелочей дамского обихода. Тем менее мог бы дать об этом сведения Сухово-Кобылин. Кобылин был расчетлив и практичен, но не мелочен. С большей точностью он мог дать сведения о ее драгоценностях, потому что большинство из них (если не все) он ей сам подарил. Странно было, конечно, что Кобылин, сам находясь под судом, не довольствуется тем, что крепостные сознались и выдвинули мотив убийства, реально подтверждающийся обстоятельствами дела.

Он борется с этим мотивом и стоит на том, что крепостные, в особенности Ефим Егоров, убили ее с целью ограбления. Эту странность сам Кобылин сознавал, когда писал 18 марта 1851 года в следственную комиссию Шлыкова:

«Отношения Деманш к людям сим (то есть к ее слугам) были в глазах его до такой степени удовлетворительны, что сам он (то есть Кобылин), подвергнутый жестокому подозрению в убийстве, готов, как выразился он перед комиссией, отдать и имущество, и жизнь, чтобы рассеять окружавший его мрак неизвестности. В самую минуту, тяжкую для чести его ареста, решительно не находил причин подозревать людей сих в совершении преступления, а по этому самому признал себя обязанным перед собственной совестью объявить комиссии, что из ведомых ему людей ни на какого подозрения не имеет»¹.

В этом нельзя не видеть глубоко бережного отношения Кобылина к памяти покойной подруги, которую он оберегал ценою собственной чести, а может быть, и свободы.

Какие же основания у Кобылина были утверждать, что преступление совершено из корыстных побуж-

¹ Кобылин почти всегда писал о себе в третьем лице.

дений, когда на трупе покойной сохранились все драгоценности?

Л. Гроссман объясняет ошибкой преступников нахождение драгоценностей на трупе. И в самом деле. Если бы они хотели инсценировать убийство с целью ограбления, то, прежде всего, нужно было бы снять с покойной все ценности. Но этим версия Л. Гроссмана резко подрывается и, наоборот, если Деманш убили крепостные и хотели скрыть свое преступление, то естественнее всего для них было надеть на нее все те вещи, которые обычно носила на себе француженка, в том числе и драгоценности. Ибо если бы заподозрено было ограбление, то в первую очередь виновниками преступления сочли бы их. Мсть — более тонкий и неуловимый мотив, чем ограбление. Поэтому, убивши ее из мести, они, конечно, не имели прямой цели ее ограбить, и только один из них, Егоров, уже после того, как преступление совершилось, использовал его результаты. Таким образом, как мы говорили, это было не убийство с целью ограбления, а убийство и похищение некоторых вещей.

Но наивно было бы думать, что участники убийства, похитив что-нибудь, эти вещи в той же квартире и хранили. Поэтому, если при первом обыске, произведенном в квартире Деманш, у ее дворовых ничего подозрительного обнаружено не было, это ничего не доказывает. В первую минуту, вообще трудно было установить, пропало ли у француженки что-нибудь, так как ключи от шифоньеров, шкафов и ящиков оказались в кармане убитой. Когда же вскрыли ящики и шкафы, то там обнаружился беспорядок, но как доказать: естественно ли он произведен хозяйкой при ее жизни или же — ее слугами после убийства. И, тем не менее, с точностью можно установить, что некоторые вещи и деньги действительно пропали.

Деньги в количестве пятидесяти рублей серебром,

серия на сумму пятьдесят рублей серебром и один серебряный рубль отобраны были у Ефима Егорова в левом жилетном кармане, за подкладкой, при обыске в Серпуховском частном доме. Но, кроме того, похищены были и вещи. По сведениям Кобылина, поданным им в следственную комиссию, из вещей не оказалось налицо:

«а) золотых часов женевской работы, весьма хороших,

б) к ним золотой цепи,

в) двух булавок, одной весьма ценной, с опалом,

г) броши с камеей в золотой массивной оправе, изображающей канат, который и огибал камео;

д) из белья, кружев и платья, которых у Симон было большое количество, замечен значительный недостаток, которого, однако, точно определить не мог, ибо наличность этих предметов не была ему до верности известна».

Обращает на себя внимание, что, по сообщению Кобылина, наличных денег у Деманш должно было быть около ста рублей серебром, и именно эта сумма обнаружена была у Егорова. Егоров первоначально объяснил, что отобранные у него в Серпуховском частном доме пятьдесят рублей получены им от кухмистра Павла Дорофеева Рахманова за двухлетнее прилежное учение, равно и другие деньги приобретены им экономией и получаемым от господина жалованьем.

Эта ложь Егорова может быть изобличена чрезвычайно легко: пятидесятирублевая серия оказалась 1848 года, в то время, как он у Рахманова работал в 1842 году.

Что касается до вторых пятидесяти рублей в одном кредитном билете, то вряд ли мог он скопить такую сумму, поскольку он всегда пил и любил погулять; сам рассказывал, как бывал у девушек «вольного обращения», была у него и любовница Татьяна из башмачного заведения Цармана. Заве-

дение же это пользовалось дурной славой: не то это был воровской притон, не то пункт скупки краденого. И есть ряд показаний о том, как в последние перед убийством дни Егоров нуждался в деньгах и занимал по мелочам, не более одного рубля серебром, у Феофана Королева, у Макара Лукьянова, у мещанки Смирновой и других, а после убийства, по словам мещанина Сергея Федорова, державшего по соседству с домом графа Гудовича табачную лавку, Ефим Егоров приходил к нему менять пятьдесят рублей серебром. Тогда же, после убийства, он предлагал дворовому человеку господина Поливанова, Григорию Кузнецову, купить золотые часы. Это свое показание Григорий Кузнецов — человек чужой и Кобылиным, и Нарышкиным, и слугам их — подтвердил и на очной ставке.

Галактион Козьмин на одном из допросов рассказал, что серию в пятьдесят рублей Егоров вынул при нем из коробки, которую он держал в руке после того, как она была вынута из шифоньера. Мог ли Ефим Егоров заработать и скопить пятьдесят рублей серебром, когда обычное жалованье слуг не превышало пяти рублей серебром в месяц. Кучер Игнатий Максимов получал семнадцать рублей пятьдесят копеек ассигнациями, то есть почти пять рублей серебром, а горничные по одному рублю серебром в месяц, и то жалование выплачивалось неаккуратно. За два года такой суммы не скопить, да и не такой человек был Ефим Егоров. Был он молод, слишком любил жить и был «развращен» кухонно-трактирной культурой Москвы. Поэтому, если сто рублей серебром были найдены при Егорове, это служит лучшим подтверждением, что убийство совершено именно им. Кроме денег, Егоров взял лежавшие на столе дамские золотые часы, брошку и две булавочки.

В одном из следующих показаний Ефим Егоров, признавший похищение им вещей и денег, прибавил,

что почти все деньги он прогулял, три рубля дал Галактиону, портмоне, часы и брошку кинул за Пресненской заставой, в поле. Егоров солгал: денег он не прогулял и вещей в поле не выбросил. Все оказалось в целости и вскоре было обнаружено: деньги при нем, а вещи на чердаке старого флигеля дома № 9 по Страстному бульвару, где жил Ефим Егоров; найдены были вещи завернутыми в какое-то письмо.

Для чего же Егоров солгал, если самый факт убийства был им признан? — Попробуем допустить, что он взял на себя чужую вину, запутанный пытками и обольщенный обещаниями вольных и денег. Для чего же тогда, с одной стороны, он признает, что действительно деньги в портмоне и ценности им похищены, а, с другой стороны, врет, будто выбросил их в поле. Если обещание ему тысячи пятьсот рублей серебром и вольной родным обязывало взять на себя вину, то он должен был все сделать для того, чтобы самооговор подкрепить. Если признался, то уж заодно предъяви деньги и укажи вещи. Тогда, по крайней мере, барин получит доказательство его искреннего желания помочь делу, и в деньгах тогда никакой нужды не будет. Что уж гнаться за сотней, когда впереди тысячи!

Если же он барину не верил, то нечего было и вину на себя брать. И, тем не менее, он солгал. Ясно, что и факт обнаружения денег и вещей и тем более его ложь только подтверждают, что сознание его не было инсценировкой. Если бы кто-либо хотел инсценировать ограбление, то, конечно, в первую очередь он снял бы с трупа драгоценности. И наоборот. Так как в интересах крепостных было показать, что Деманш ушла, в чем была, а куда пошла — неизвестно, естественно, было для них и соответственно наряжать труп. Но этой их задаче не противоречило похищение тех вещей и тех денег, которые были спрятаны под подушкой, в ящиках и

шкафах и обнаружить которые никто не мог. Вот почему похищено сравнительно мало денег — только сто рублей, вот почему взяты только некоторые первые попавшиеся драгоценности. Ложь Егорова о том, что деньги он прогулял, а вещи выбросил в поле, выдает его с головой и подтверждает реальность его сознания. Не признать факта похищения он не может: Кашкина его изобличила. Поэтому, если у него было действительно желание сохранить деньги и вещи, он мог это сделать, только выдумав, будто все это он выкинул в поле. Ясно, что если бы он давал показания в интересах Сухово-Кобылина, он должен был бы немедленно указать, где похищенные вещи, чтобы придать правдоподобие своему сознанию. Так что сомнения в том, что он давал показания в *своих* интересах при том положении вещей, быть не может.

В его интересах было сохранить и деньги, и вещи, потому что деньги пригодились бы ему и в тюрьме, и на каторге, и в ссылке.

Во время переследования Егоров пытался взять обратно свое сознание и набросить тень на бесспорно установленные факты, а именно: что будто бы вещи на чердаке флигеля при доме Кобылина найдены не по его, Егорова, указанию, а по указанию Макара Лукьянова.

Учитывая:

что Чрезвычайная следственная комиссия произвела переследование через четыре года после происшествия;

что, по показанию одного из понятых, Иванова, Макара Лукьянова даже при этом и не было;

что Егоров к этому времени опорачивал уже все свои прежде данные показания, находясь под влиянием и тюремных низов, и следственных верхов, — весь материал, полученный Чрезвычайной следственной комиссией по этому вопросу, можно не принимать во внимание.

В этом вопросе можно установить некоторые бесспорные факты:

1. Что сто рублей серебром в виде одной пятидесятирублевой серии и одного пятидесятирублевого билета были найдены при Егорове еще в то время, когда он вину свою отрицал.

2. Что вещи, пропавшие у Симон-Деманш, были действительно обнаружены, несмотря на то, что, по словам Егорова, он выбросил их в поле.

3. Что вещи были из числа тех, которые не должны были броситься в глаза в первые дни следствия, и для похищения их не нужно было применять каких-либо особых средств: взлома замков, ящиков, коробок и т. д. И самый факт лжи Ефима Егорова по вопросу о месте нахождения денег и вещей ни в какой мере не подкрепляет ни версии обвинителя, ни его собственного отречения. Только эти факты и могут быть приняты к подтверждению версии об убийстве крепостными, как она выражена в их сознании.

В деле есть сведения, что в тюрьме крепостным жилось лучше, чем на воле. Лукьянов подал военному генерал-губернатору прошение, в котором писал, что он видел на Кашкиной платье, платки и золотые вещи и слышал, что у нее есть платье и платки, принадлежавшие Деманш, что арестанты Егоров, Кашкина и Козьмин имеют «в замке» большую свободу: Егоров служит поваром на дворянской кухне, Козьмин прислуживает у письмоводителя, а Кашкина — у смотрительницы и сверх того торгует чаем.

По прошению Лукьянова было произведено негласное расследование.

Благодаря тому, что смотрительница замка, у которой служила Кашкина, всячески ее покрывала и давала о ней неправильные сведения, расследование ни к чему не привело.

«О том, будто у Кашкиной совсем не было собственных платьев, показания эти сделаны были ею якобы по скорости требуемых сведений, — писала смотрительница, — а теперь, по тщательной проверке арестантских вещей, найдено ею два принадлежащих Кашкиной платья: люстриновое с красным подбором и белое кисейное». Если принять, что вещи эти и не были похищены у Деманш, то, во всяком случае, несомненно, что материальное положение Аграфены Кашкиной в тюрьме резко улучшилось, ибо, по ее собственному показанию, за все время работы у Деманш та платила ей один рубль серебром в месяц, но «оного она от нее не получала, а сшили во все время ей одно только ситцевое платье и два шейных платка, каждый в пятиалтынный. Равным образом и обувь была ее, а прочее все свое».

Подобные же показания дала и Пелагея Алексеева: «при поступлении ее к Деманш в услужение, в декабре 1849 года, она говорила ей, что будет давать в месяц по целковому, но она только получила во все время один целковый. Обувь была ее, Деманш, а одежда верхняя и нижняя — собственная».

Нужно ли после этого удивляться, что крестьяне не боялись наказаний, грозивших им по суду? Разность их положений с положением привилегированных классов, попадающих в цепкие лапы дореформенных следователей и судей, лучше всего понимал и выразил один из темных деятелей царской России, сенатор К. Н. Лебедев, который в дневнике своем писал:

«У нас нет правосудия, а есть суд, постигающий тех несчастных, которых предают в сердцах не нарочно, от нечего делать. Настоящих мерзавцев суд постигает редко и, если постигнет, им не удастся вывернуться, а что касается до низшего класса, то едва ли для него может существовать правосудие»

и наказание в собственном смысле слов сих. Нельзя, собственно, право, судить их, они в ложном, неестественном положении: нет действительных наказаний, ибо участь их едва ли не хуже той, какая ожидает их для наказания. О, мой бог! О, мой бог, какое у нас правосудие!»

Воздадим Кобылину справедливость. Даже, если бы он и послал за себя в тюрьму крепостных, там жизнь их, как видим, к худшему не изменилась. Таков был парадокс эпохи: крепостным от этого стало только лучше. Мудрено ли, что они и не хотели вернуться к такому барину!

ОТРЕЧЕНИЯ

Мы приняли сознание четырех дворовых как положительное доказательство их вины, потому что оно подтверждается объективными фактами во всех тех частях, в каких оно может быть проверено.

Акт осмотра трупа и медицинского освидетельствования, состояние платья и белья, а в них такие мелочи, которых ни предусмотреть, ни выдумать было невозможно в первые дни следствия, то есть 19—21 ноября 1850 года, когда записывались эти показания; все эти факты — и взятые порознь, и сопоставленные друг с другом — создают цельную, неоспоримую картину убийства Деманш сознавшими крепостными.

В самом деле, что можно противопоставить таким уликам, как вдавленный рубец, заканчивающийся трехугольной ссадиной, после того, как Егоров признал, что он бил покойную утюгом?

Утюг этот был найден, предъявлен преступникам и ими опознан. Следователи удовлетвоались тем, что обозрели орудие преступления, установили, что утюг оказался с изогнутой ручкой, опечатали его и приобщили к делу.

К сожалению, следователи не совершили такого простого следственного действия, которое само собой напрашивалось — не приложили утюг к следу на трупе. Впрочем, может быть, они не доценили и

значения этих следов: прошли же мимо них все исследователи старинного уголовного дела.

Дальше. Что можно противопоставить таким обезоруживающим фактам, как отсутствие каких-либо следов насилия на платье, в то время как под этим платьем тело несчастной француженки представляло собой оплошной кровоподтек?

Как объяснить отсутствие корсета на нарядной женщине, домашнюю обувь, две пары чулок, шляпку на распущенной косе, ночную сорочку под изящным выходным платьем, если не верить сознанию?

Наконец, расположение знаков ударов по телу и голове, подтверждающее, что удары наносились лежащей; соответствие всех следов на трупе той последовательности ударов, какая устанавливается по рассказу крепостных, — словом все, решительно все объективные данные подкрепляют сознание Егорова и его сотоварищей по страшному делу.

Казалось, что обвинение должно будет в бессилии опустить руки и отступить от Кобылина.

Не признать за показаниями дворовых сокрушительной силы не мог и Л. Гроссман. Но он не сдался.

«Вполне согласные между собой, во всех подробностях воспроизводящих сложную картину убийства и вывоза тела, они (то есть показания) производят при первом чтении сильное впечатление. Подробности создают ощущение подлинности рассказа».

Значит, рассказ — не подлинный.

И глава называется: «Организация подложного сознания».

Здесь — последний козырь в игре обвинения: сознание — подложное.

И писатель предостерегает: «Трудно не поддаться иллюзии правдоподобного изложения»¹.

¹ «Преступление Сухова-Кобылина», стр. 83—85.

Чем же пытается он доказать, что налицо не подлинное сознание, а подлог, что рассказ об убийстве — вполне согласный в подробностях между собой и с обстоятельствами дела, фактически подкрепленными, — кем-то искусно сочинен и создает иллюзию правдоподобия?

Показаниями того же Ефима Егорова и Галактиона Козьмина.

Но так можно доказать все, что угодно.

Метод старинный и простой: обвиняемые превращаются в свидетелей обвинения, и любое утверждение получает опору в «свидетельских показаниях».

Чтобы доказать, что сознание дворовых может служить уликой против них, мы попытались подкрепить это сознание объективно. Л. Гроссман не проверяет отречения, он просто не верит сознанию и верит отказу от него.

Почему? Ответа, опирающегося на факты, нет. Достоверное сознание опорачивается в глазах обвинителя обстоятельствами, его сопровождающими, и, прежде всего, берутся под подозрение действия следователей в отношении Егорова.

«19 ноября следственная комиссия выносит весьма странное постановление», — пишет Л. Гроссман.

«Принимая в соображение обстоятельства дела, навлекающие сильнейшее подозрение на дворового человека Сухово-Кобылина, Ефима Егорова, равно сбивчивость его ответов, смущение его и как бы нерешительность высказать *нечто тяготеющее его совесть*, признано необходимым подвергнуть Егорова строжайшему заключению в секретной комнате, дабы удалить от него возможность иметь с кем-либо сношения и через уединение предоставить его суду собственной совести; для чего послать в Серпуховской частный дом»¹.

«Между тем, в деле совершенно не имелось об-

¹ Там же, стр. 81.

стоятельств, навлекавших будто бы «сильнейшее подозрение на Ефима Егорова»; указание на его «нерешительность высказать нечто тяготящее его совесть» относится, конечно, к чистейшему импрессионизму следователей и свидетельствует о почти чрезмерной психологической зоркости, которая фактами не может быть подкреплена»¹.

Ирония обвинителя имеет своим предметом приказный стиль, и мы охотно посмеемся вместе с ним над завитушками канцелярского сочинительства.

Но доказывать будем фактами и притом серьезными.

Проверим отречение так же, как проверили сознание, и дадим посильный ответ на все недоумения Л. Гроссмана. Зато в свою очередь поставим перед ним настойчивые вопросы и потребуем ответа.

Во-первых, чем вызвано весьма странное постановление комиссии Шлыкова от 19 ноября?

Во-вторых, почему Егоров отправлен был в Серпуховскую часть?

В-третьих, кто его там допрашивал и о чем?

И, наконец, в-четвертых, чему надо верить: сознанию или отречению?

1. Чем вызвано постановление от 19 ноября?

Неверно, будто в деле не имелось обстоятельств, навлекающих сильнейшее подозрение против Ефима Егорова.

Еще на первом допросе, 12 ноября 1850 года, поручик Сушков высказал предположение, что «*виноваты должны быть люди Демани*, ибо она сама ему говорила, что сии последние ее не любят, и была она нрава пылкого и нетерпеливого и часто бранила и бивала их».

Какие бы мотивы преступления ни приняли следователи в основу своей работы — месть или ограбление, — проверить они должны были и то, и другое,

¹ Там же, стр. 82.

а по обоим мотивам следствие, прежде всего, должно было остановиться на личности Егорова. Если убили слуги из мести, то больше всего оснований для мести было у Егорова, потому что сестра его по жалобе Деманш была выдана замуж за мужика, а сам он терпел от нее ежедневно, так как по должности приходил с ней в постоянное соприкосновение. Она заведывала столом и домашним хозяйством Сухово-Кобылина.

Но и корысть была не чужда Егорову. Об этом знали все. После убийства у него появились деньги. Он предлагал кому-то купить золотые часы. При первом обыске в Пятницком частном доме у него была отобрана серия в пятьдесят рублей серебром, — деньги по тому времени громадные.

Кроме того, ножевая рана на шее изобличала твердую руку взрослого человека. В пятидесятых годах убийство крепостными своих господ из мести за жестокое обращение было явлением бытовым и частым. О жестокости Деманш материал был уже собран.

Так что оснований побеседовать с Егоровым у следователей было достаточно.

Но непонятно, как может удивляться Л. Гроссман повышенному интересу следователей к личности Егорова, когда сам же он утверждает, что Егоров и Лукьянов вывозили труп и, значит, были очевидцами и укрывателями преступления, то есть в какой-то мере его соучастниками.

Что же, надо было допросить Егорова? Непременно надо было. Надо было изолировать Егорова от возможных сообщников? Непременно надо было.

Следователи это делают, и ничего странного в их действиях нет.

А постановление, составленное специфически канцелярским стилем того времени, не представляло собой чего-либо исключительного, примененного только к Егорову.

Такова была тогда форма.

Много позже понял это и Кобылин, когда в «Смерти Тарелкина» воспроизводил любопытный штрих из полицейского быта: «Пиши там... по форме... нечто тяготеющее совесть...» и т. д.

Помещение в «секретную» было естественным и необходимым действием следователей в отношении всех подозреваемых.

Там их изолировали от посторонних влияний. Почти в одно время с Егоровым, с 16 по 22 ноября, в «секретной» сидел и сам Сухово-Кобылин. Таким образом, постановление следственной комиссии от 19 ноября нельзя рассматривать, как подготовку к «организации подложного сознания».

2. Почему Егоров был отправлен в Серпуховскую часть?

Этот вопрос мог бы показаться наивным и праздным. С таким же правом можно было его поставить в отношении любой полицейской части Москвы. Но мы принуждены дать ответ, потому что Л. Гроссману совершенно непонятно, почему «секретная комната вообще и аналогичная камера Серпуховского частного дома в особенности должна была придать Егорову решимость высказаться по вопросам, тяготившим его совесть» (там же, стр. 82).

Ответ простой: чтобы изолировать подозреваемых друг от друга, их надо было рассадить. Специальных следственных тюрем, с особыми камерами и соответственным режимом, в те времена еще не было.

Как можно установить по данным дела, 19 ноября 1850 года Егоров сидел в Пятницкой части совместно с Лукьяновым. Аграфена Каликина находилась в Городской части, а Пелагея Алексеева — в Тверской, Галактион Козьмин — в Яузской. Сам Кобылин сначала — в Мясницкой, а потом переведен куда-то в «секретную». Кроме них, под арестом в разных частях сидело человек до пятнадцати крепостных людей Кобылина.

Куда же было сажать Егорова?

Его и перевели из Пятницкой части, по соседству, в Серпуховскую.

3. Кто допрашивал Егорова и о чем?

В сенатском рукоприкладстве Егоров объяснил, что показание, будто преступление совершено им, было вынужденное вследствие бесчеловечных истязаний пристава Стерлигова.

Доверяя каждому слову Егорова, выгодному для его версии, Л. Гроссман в этих словах черпает и объяснение, почему Егоров был «изолирован» и отправлен в часть, очевидно, известную искусной постановкой дела в «секретной» комнате и «онштом пристава Стерлигова».

Почему это «очевидно» и откуда известен опыт Стерлигова? Кроме слов Егорова, подлежащих серьезной проверке, *в деле никаких подтверждений нет.*

Л. Гроссман пишет: «Создать главного виновника можно было только беспощадным принуждением». Отсюда вывод — отсылка Егорова в Серпуховскую часть и допрос его Стерлиговым сделан следователями с целью организовать подложное сознание.

Стоит только восстановить факты, и вывод этот падет сам собой.

Следствие по делу об убийстве француженки было поручено приставу Городской части, Хотимскому, постановлением московского обер-полицмейстера Лужина, 10 ноября 1850 года.

А 18 ноября 1850 года московский военный генерал-губернатор Закревский «по важности обстоятельств, сопровождавших убийство иностранки Симон-Деманн, нарядил под председательством коллежского советника Шлыкова особую следственную комиссию для производства и расследования о сказанном убийстве и предписал: «употребить самые строгие меры к открытию виновных в преступлении и по окончании действия комиссии произведенное следствие представить к нему».

Комиссия Шлыкова, кроме него самого, состояла еще из двух членов: частного пристава Хотимского и следственного стряпчего Троицкого.

Стерлигов в следственную комиссию не входил.

Для чего же было комиссии привлечь его к следственным действиям?

А его и не привлекали.

Допрос Егорова Стерлиговым был совершен помимо воли членов следственной комиссии и оказался для них совершенно неожиданным.

Никакого поручения Стерлигов от комиссии не имел.

18 ноября организовалась комиссия, 19-го — вынесла постановление об изоляции Егорова и переводе его в Серпуховскую часть, а уже 20-го Егоров сознался и, мимо следственной комиссии, был доставлен к обер-полицеймейстеру, там передпрошен, и собственноручное его сознание в тот же день было препровождено военному генерал-губернатору.

Кто же создал такую спешку и дал поручение Стерлигову допросить Егорова и почему?

Ясное дело, — московский обер-полицеймейстер Лужин. Он один имел право поручить любому приставу производство дознания.

Для чего он это сделал?

Вернее всего, потому, что самое назначение следственной комиссии было актом недоверия военного генерал-губернатора к нему.

Лицо, поставленное им во главе следствия — пристав Хотимский, очевидно, доверия не оправдал, и военный генерал-губернатор, оставляя Хотимского членом следственной комиссии, председателем ее назначил Шлыкова — не из числа полицейских чинов и, значит, не подчиненных непосредственно обер-полицеймейстеру.

Ведомственное самолюбие обер-полицеймейстера Лужина задето, и он спешит реабилитировать свой аппарат.

По делу документально устанавливается, что поручение Стерлигову допросить Егорова дал именно он.

Кстати, этот допрос — *единственное следственное действие, произведенное Стерлиговым*. К следствию об убийстве француженки этот пристав больше никакого отношения не имел.

Ошибка Гроссмана в том, что он обезличивает всех участников дела: одних, называя общим именем «крепостные», а других — «полиция».

Герои дореформенного следствия и сыска от всемогущего военного генерал-губернатора Закревского и до полицейского поручика — шпиика Максимова, имели глубоко индивидуальные интересы в этом деле.

В частности не совпадали интересы следственной комиссии Шлыкова и пристава Стерлигова.

В самом деле, для чего было группе Шлыкова полноценное признание Егорова?

Оно ведь немедленно освобождало Кобылина и тем самым отнимало у следователей возможность получать крупные взятки.

Самым выгодным для следователей было тянуть дело, накапливая взаимно-противоречивый материал.

Им одинаково невыгодно было и полное обвинение Кобылина, и полное его оправдание. В обоих случаях не за что было дальше брать. Их больше всего устраивало *status quo*, «обоюдострость» и «качательность» дела, при котором оно, «если поведи туда, то и все пойдет туда, а если поведи сюда, то и все пойдет сюда».

Стерлигов же, не спрашиваясь их, получил сознание обвиняемого и через голову следственной комиссии доставил и сознание и сознавшегося к обер-полицеймейстеру.

Сенсационный материал, содержащий в себе доказательства служебного усердия господина Лужина и следственной опытности подчиненных ему чи-

Новников полиции, был препровожден военному генерал-губернатору.

Верхи администрации во взятках от Кобылина не нуждались и довольствовались другими трофеями.

Зато следственная комиссия Шлыкова была разгневана: ее обошли и даже чуть-чуть не лишили крупной дичи. Но комиссия Шлыкова не сдалась. И следы канцелярского гнева, а также искусства создавать волчьи ямы для всех, попадающих в дремучий лес дореформенного судопроизводства, сохранились.

21 ноября, то есть на следующий день после показаний Егорова, данных им в двух видах: сначала собственноручно Стерлигову, а потом более подробно обер-полицмейстеру, в журнал комиссии Шлыкова вносится следующая замечательная запись:

«Председатель комиссии Шлыков объявил, что он сам читал накануне у господина военного генерал-губернатора собственноручное Егорова добровольно изъявленное им сознание, которое предшествовало настоящему, присланному обер-полицмейстером, и что *в настоящем пропущены некоторые обстоятельства, объясненные в том*, — положили: вытребовать частного пристава для объяснений, где находится подлинное сознание Егорова и почему оно не доставлено в комиссию».

Таких постановлений не выносят о сообщнике, который, исполняя общую волю, подвергал допрашиваемого истязаниям и добился, чтоб невинный человек взял на себя чужую вину. Наоборот, видно, что этим сознанием Стерлигов поставил шлыковскую комиссию в затруднительное положение.

Но великие крючкотворы нашли выход. В одном из показаний Егорова *«пропущены некоторые обстоятельства, объясненные в другом»*. Значит, есть разногочия, и снова можно плести петли, а из петель — сети, а сетями улавливать живую дичь.

Заодно хотелось и рассчитаться со Стерлиговым, который, в нарушение полицейской солидарности, чуть не «погубил» крупное дело, чуть не сорвал возможность получения громадных взяток.

Но, думается нам, что сам Стерлигов был не очень виноват. Полноценный результат был и для него неожиданным.

Судя по тому, что Стерлигов не мог знать следственных материалов, добытых в первый период приставом Хотимским, потому что все производство было в руках комиссии Шлыкова, членом которой Стерлигов не был, он и не мог получить от обер-полицмейстера Лужина поручение просто «допросить Егорова по «обстоятельствам дела».

Если комиссия Шлыкова, ознакомившись с протоколом осмотра трупа, показаниями Сушкова и других, еще могла взять под сильное подозрение самого Егорова, то ни обер-полицмейстер Лужин, ни тем менее пристав Стерлигов особых подозрений на него не имели.

Следовательно, обер-полицмейстер дал Стерлигову *специальное* задание и притом имевшее тайной *не личность Егорова*. Дело в том, что обер-полицмейстер сам подозревал в убийстве Кобылина.

Члены первой следственной комиссии—Троицкий и Хотимский—во время переследования признали, что поводом к обыску во флителе Сухово-Кобылина было то, что московский обер-полицмейстер в предписании частному приставу Хотимскому о производстве следствия об убийстве Симон-Деманш *упомянул фамилию Сухово-Кобылина, который первый явился к нему с объявлением, что Симон-Деманш не возвращалась домой*.

Ему показалось подозрительной ранняя тревога Сухово-Кобылина о пропавшей француженке. Он уже знал о пятнах крови, обнаруженных в старом флителе по Страстному бульвару. На него—завсегда московских клубов—должны были подейст-

говать слухи и пересуды, поднятые вокруг громкого дела. Наконец, его начальник, московский военный генерал-губернатор Закревский, не любил Сухово-Кобылина.

Поэтому, давая Стерлигову поручение допросить Егорова, проживающего во флигеле Сухово-Кобылина, но прислуживавшего Деманин, обер-полицмейстер, конечно, имел в виду добыть материал *против Кобылина*.

Тема допроса была: «покажи на барина».

О какой степени пристрастия велся допрос, оказать трудно.

Мы не склонны идеализировать методы следствия дореформенных приставов и допускаем применение ими допроса «третьей степени». Но если и было пристрастие, хотя оно и не доказано, то целью его было *обвинение Сухово-Кобылина, а не его оправдание*.

Это косвенно подтверждается беседой Дорошевича с Кобылиным в 1901 году: «Как ни пытали квартальные надзиратели «показать на барина», крепостные и под пыткой твердили: «барин не при чем».

Забудем заведомо неправильное множественное число, так как на допрос с пристрастием жаловался один только Егоров; усомнимся в том, что и под пыткой обвиняемый готов был скорее оговорить себя, чем барина.

Но кое-что из этого рассказа извлечем, а именно: утверждение, что тема допроса была: «показать на барина».

Егоров на это не решился. Почему?

Слишком свежо было свое преступление, слишком рискованно оговаривать барина без какой-либо возможности фактами подкрепить оговор. Под замком сидели его соучастники, и он не знал, не принесли ли они уже новинную; а тут тянут душу вопросами, расспросами; лучше и проще признаться и сказать всю правду. По крайней мере, ~~скорее~~ конец. Но только, сознаваясь приставу Стерлигову, Егоров

еще не знал, что его правда никому не была нужна. Когда он это понял, он отрекся.

4. Чему надо верить: сознанию или отречению?

Отчего рухнуло сознание: от напора фактов, с которыми бессильны были бороться слова, или оно было подточено изнутри, как дерево, червями?

Посмотрим.

И, прежде всего, воспроизведем текстуально оба рукоприкладства:

«Галактион Козьмин: 1) усмотрена им в записке на стр. 495 справка о летах, в коей значится по 8-й ревизии он, Галактион Козьмин, трех лет, а Ефим Егоров показан восьмью лет, следственно он в 1850 году был малолетним и по взведенной на него клевете, якобы в насильственной смерти Деманца, да и при том не подлежит суждению Московской уголовной палаты, согласно 6 и 13 прод., к тому 15, ст. 1581, ибо он, Галактион, показан моложе Ефима Егорова пятью годами. Почему следователь или Уголовная палата не истребовали метрического свидетельства о рождении и крещении его согласно 15 т., ст. 1214, 2;

2) из повального обыска видно, учиненного о его помещике г. Сухово-Кобылине, что только показали шесть человек поведения хорошего, что самое противно 15 т., ст. 1124, 1125 и 1126, да и не видно в деле о его помещике Сухово-Кобылине свидетельства о рождении и крещении также о летах и подсудимости, и не имеет ли он, Сухово-Кобылин, на пред сего каких-либо заслуг, согласно 1214 ст., 15 тома;

3) из учиненного осмотра в доме Сухово-Кобылина явно видно и согласно 15 т., ст. 1191, в коей сказано: личный осмотр учиненного на месте преступления и удостоверяющий в действительном оно-го событии имеет такую же силу, как и свидетельство достоверных лиц, а что действительно он, Галактион, находился в услужении и жил в домах

графа Гудовича и у купца Чижова на Никольской улице, у г. Деманш по приказанию своего г. Кобылина, платы и денег за житье от нее не получал, кроме только на одежду и обувь одну верхнюю, то это видно из показаний его 11 числа ноября и разных сторонних лиц князя Радзивилла и графа. Осмотр же флигеля квартиры его господина, в коем ясно видно во многом количестве кровавые пятна на стенах и на плинтусах полов и на грязной лестнице, сверх того во многих местах на стенах штукатурка обвалилась и обтерта, а потому явный признак, обнаруживающий преступление и зарезание Деманш, от чего и произошла кровь; что же касается мытья полов, то также есть совершенный признак сокрытия истины преступления; но кто именно мыл полы, так равно и какого числа и в каком часу, и с чьего приказания, того в деле и выписке не видно, что самое противно 15 т., ст. 946, 947, 949, 954, 956, 977, 979, 1004, 1016, 1045, 1046, 1052, 1054, 1066, 1095, 1096 и 1097; 1005, 1015;

4) из объявления г. Сухово-Кобылина видно, что он от дачи ему очных ставок с прикосновенными людьми, хотя под разными предложениями и отрекается, то почему комиссия, не дав ему очных ставок, и поступила вопреки 15 т., ст. 1089, 1096 и 1097, как необходимого в деле факта, и притом необходимо было нужно сие сделать, чрез это явно и совершенно могло бы открыться преступление виновника. Это самое доказывается еще и другими фактами разными и осмотром квартиры; сверх сего доказывается в письмах под № 2 в том, что господин его имел долгое время с Деманш любовную связь;

5) на вопросные пункты и ответы, данные им ноября 11 в седьмом часу пополудни, в Городской части, что оные утверждают в полной силе, согласно 1047, 1051 и 1053 ст.; а почему следовательно не сделал точного и ясного доказательства дознания противу его показания, через что осталось его первое

показание без всякого внимания, силы, что самое противно 15 т., ст. 1015, 1044 и 1052;

6) данное им показание уже после ответов он также утверждает в полной силе и надеется, что против ответов и показания, данного им 11 ноября 1850 года, подтвердят под присягою все те лица, где он был и в каких местах, а почему все те лица не спрошены противу его ответа и показания, что сие самое противно 15 т., ст. 946, 947, 949, 955, 1016, 1019 и 1066, да и при том несоблюдение закона и порядка о следствиях и не сделано ему с ними предварительно очной ставки, и при приводе к присяге свидетелей он, Галактион, не находился, что самое противно 15 т., ст. 1096, 1097 и 1098;

7) первое отобранное показание от крестьянина Саввина Карпова, что значится на л. 43, в его показании не видно, с каким он инструментом взят первоначально, что самое противно самой форме и узаконенному порядку; а как ему известно, что он, Саввин Карпов, взят в дом графа Гудовича, вместе с ним, Галактионом, и были при нем: стамеска, молоток и клещи. Ноября 9 дня, г. частным приставом Городской части Хотимским и добросовестным, а именно был этот инструмент для того, чтобы взять из квартиры Деманш имущество, а именно: комод, шкаф и кровать, а почему сие обстоятельство в выписке не помещено;

8) а что данное им подтверждение в 1-м департаменте надворного суда 1851 года, 27 сентября, вместе на одном листе Ефима Егорова, Аграфены Ивановой, Пелагеи Алексеевой и им, Козьминым, это самое видно в выписке на стр. 126, в том, что пристрастных допросов ему не было, что данные им показания, кроме первого ответа и подтверждения, есть все несправедливо, а именно: потому, что он принимал на себя соучастие с Егоровым в убийстве Деманш, совершенно есть несправедливо;

9) потому, что будучи он малолетним;

10) был оболыщен Ефимом Егоровым;

11) был он оболыщен г. частным приставом Хотимским 1850 года, ноября 15, который ему показывал собственноручное письмо господина его, Сухово-Кобыллина; в оном письме он писал, чтобы он, Галактион, принял на себя участие в убийстве Деманши, за что обещал, и писано было то в письме, и что оное письмо он сам читал из рук г. частного, за что обещано ему, Галактиону, вечную свободу и отпускную со всем его семейством, а именно: с отцом, матерью, братьями и сестрами, сверх сего денег тысяча пятьдесят руб. ассигнациями, и притом ему сказал, что будет скоро манифест. А как он был вне себя, то ему ничего не сказал;

12) когда он был послан в Яузскую часть на содержание, то посадили к нему их домового управляющего рядом с его номером, в котором есть сквозь стены щель, и он, показывая ему письмо такое же, в начале письма оболыщал, а потом угрожал, «что, все равно, ежели ты не сознаешься и не примешь на себя, то пропал — ты и твоё семейство (?) пойдут на поселение, а ежели сознаешься и возьмешь на себя, то получишь награждение и свободу родных, а когда он был вытребован из секретной комнаты 7-го числа ноября 1851 года, вместе и в одном фургоне с Ефимом Егоровым, Пелагею Алексеевою, Аграфеною Ивановою и того же числа дали в присутствии Палаты Уголовного суда показание, которое противно 15 т., ст. 1169, 1181 и 1184, в коих сказано: «никто не должен быть присужден к наказанию без точных доказательств, или улик явных, а в преступлениях признание подсудимого почитается доказательством совершенным: 1-е, когда оно учинено в судебном месте пред судьёю; 2-е, когда оно совершенно сходно с предыдущим действием; 3-е, когда показаны притом такие обстоятельства, действия, по которым о достоверной истине оного сомневаться невозможно, и ст. 1184, если при учинении призна-

ния представляются такие обстоятельства, с которыми происшествия действия не сходны, тогда признание не составляет совершенного доказательства, и суд в сем случае изыскивает другие; не имея более ничего прибавить к своему оправданию, он умоляет высокоименитых судей обратить свое милостивое внимание на все изложенные в сем рукоприкладстве доводы, облегчить, сколько можно, его страдания, не быть строгим в присуждении наказания за преступление, тайна коего известна одному всевышнему творцу, от которого не скрыто, что он жертва случая».

Ефим Егоров. «Замечены им некоторые упущения и противозаконные поступки при следствии г. частного пристава Серпуховской части, Стерлигова, почему осмеливается выставить следующие обстоятельства: гг. следователи объясняют, что дворники, Иван Пахомов и Антон Павлов, дежуривши у ворот, имели на него какое-то подозрение; это опровергается собственными показаниями помянутых дворников, что в ночь совершившегося преступления он находился дома, и это могло бы подтвердиться показаниями конторщика Федора Федотова и еще восьми человек, как-то: крепостных его господина, Никифора Малафеева, Григория Андреева, Василия Веденева, Ивана Козьмина, вольного приказчика Куликова и дворовых людей Петрово-Соловова, Григория Леонтьева, повара Алексея и портного; все эти лица спали с ним в эту ночь в одной комнате и видели, что он лег в одиннадцатом часу, как и показал один из них, Никифор Малафеев; встал же он в девятом часу и отправился за приказанием к Симон-Деманш, но эти лица при следствии не спрошены; покорнейше просит гг. сенаторов обратить свое внимание на ответы его господина касательно пропавши Симон-Деманш в ту же ночь, что побуждало господина его к такой поспешной деятельности, когда как эта была прямая обязанность управляющего

дома, графа Гудовича, где жила Деманш. Господин его указал даже путь, куда могла отправиться она: за Тверскую или Пресненскую заставу, где и найдено тело; так же просит обратить внимание на разноречивые показания его господина, в коих он говорит: в 1-м, что Деманш состояния никакого не имела, а что он выдавал ей на содержание умеренно: когда же, вследствие бесчеловечных истязаний частного пристава, Стерлигова, он дал вынужденное показание, что преступление совершено им, то господин его дал второе показание: что у Деманш было денежного капитала до тысячи руб. серебром. Г-н Сущков тоже подтвердил на листе 41, что у пей состояния никакого не было. Г-н Сухово-Кобылин показывает совершенно несправедливо, что повара заведывали денежным расходом. Этот расход постоянно был в руках экономов, которые и покупали провизию, что строго было запрещено поварам от имени господина. Но ежели допустить, что расходом заведывали повара, то и тогда бы не могло это побудить его на столь ужасное преступление, потому что расход этот не распространялся более сд-ного рубля серебра в сутки, как объяснено им при следствии, но г. следователю не угодно было обследовать это обстоятельство; показания г. Сущкова насчет поездки Симон-Деманш в парк разноречивы и навлекают подозрение; что нельзя было провезти мертвое тело ни в Пресненскую, ни в Тверскую заставы, подтверждается показаниями шестнадцати человек солдат, которые занимали караул на тех заставах. Князь Радзивилл показывает, что 6 ноября, во втором часу пополуночи, слышен был шум в квартире Деманш, но с 7-го на 8-е число, когда именно совершено преступление, ничего не было слышно, из этого явно видно, что за день до ее смерти у ней была ссора ночью с кем-нибудь; в ночь же, когда совершено преступление, не могла быть тишина, потому что у Деманш было четыре собаки в

квартире, которые были весьма привержены к госпоже своей и потому при малейшем шорохе, из только насильий, они наделали бы шуму, и люди князя Радзивилла, помещающиеся за стеной ее квартиры, неминуемо слышали бы и поспешили на помощь, но они, напротив, показали, что в эту ночь ничего не слышали и не видали. Дворник графа Гудовича показал, что в ночь преступления он видел в квартире Деманш огонь, и ежели бы происходило столь ужасное дело, то он, вероятно, заметил бы что-нибудь, но он не видал, чтобы кто со двора выезжал или обратно возвратился, да и сверх этого, через дом расположена будка, но будочники ничего не видали и даже не спрошены. Вечером 7-го числа он доставил господину своему записку от Деманш, но этой записки при деле нет, тогда как при деле находятся многие другие, прежде полученные. Господин его объясняет содержание оной, быть может, по своему, причем, не доставляя этой записки к делу, навлекает подозрение: 26-го числа марта, в десять часов вечера, к окну его секретной комнаты в Тверском частном доме подходил неизвестный ему человек, хорошо одетый, который начал просить его ради бога показать, что вещи, принадлежащие Деманш, сохраняются у него, причем вручил ему десять рублей серебром, на что он не соглашался, говоря, что вследствие собственноручного письма его барина, показанного ему г. приставом Стерлиговым, он уже показал, что те вещи брошены им за заставою; после сего, 28 марта, он был вытребован в секретное отделение, где ему объявлено, что те вещи отысканы секретно и находятся в том самом месте, как объяснял ему за два дня перед тем неизвестный человек, подонедший к окну его секретной комнаты, вероятно, подсланный кем-нибудь. Потом гг. следователи с ним отправились в дом его господина, где вещи отысканы не им, а камердинером барина Макаром Лукьяновым, завернутые в письмо Лукьяно-

ва к своей любовнице. Об этом письме гг. следователи не рассудили сделать постановление. Лукьянов в ответах своих, между прочим, говорит, что он ему за несколько времени перед преступлением объявил свою нужду в деньгах и намерение занять деньги — это несправедливо; он никогда об этом не говорил Лукьянову, да и не имел надобности в деньгах, будучи обеспечен всем господским продовольствием и своими трудами. Серия, отобранная у него в Серпуховском частном доме, в пятьдесят рублей серебром получена им от кухмистра г. Рахманова, Павла Дорофеева за двухлетнее прилежное учение, равно и другие деньги приобретены им экономией и получаемым от господина жалованьем; но никогда не показывал, что взяты им из шифоньерки, принадлежащей Деманш, и этого не видно из дела. Галактион об этом предмете показывает разноречиво. Следствие по этому делу производилось в городском частном доме; он же содержался в Пятницком, откуда неоднократно брал его с собою Серпуховский частный пристав Стерлигов в свою часть и допрашивал его самым варварским и бесчеловечным образом; истязания, которые при личности его совершались над ним, были следующие: 1) крутили ему самой тоненькой бичевкой руки столь крепко назад, что локти заходили один за другой, таким образом, он оставался связанным от двух часов пополудни и до первого часу пополуночи; 2) связанного таким образом вешали в вбитый в стене крюк, так что он оставался на-весу по несколько часов, не давали ему пить целые сутки, кормя его одной селедкой и вдобавок, когда он находился связанным в висячем положении, г. Стерлигов собственноручно наносил ему чубуком сильные удары по ногам, по рукам и голове. Сознывая свою невинность, он, сколько в силах был, переносил с терпением; но когда совершенно ослабел, то решился принять на себя то ужасное преступление дабы избавиться бесчеловечных истяз-

заний, в чем и дал показание г. Стерлигову. Для того, чтобы склонить его к скорейшему сознанию при таких ужасных муках, г. пристав ему показал собственноручное письмо его господина, в котором он просил его сознаться, приняв все на себя, а что обещано ему было награждение тысяча пятьдесят рублей серебром, свобода его родственникам и ходатайство об облегчении его участи. Вот почему произошло это вынужденное признание при всей его невинности. Когда г. следователи с ним прибыли на место, где было поднято тело Симон-Деманш, то он не мог указать в точности, а показал совершенно ошибочно; на что г. следователи сделали ему замечание, что он неправду говорит, после чего было сделано постановление, содержание коего ему не объявлено. Об этом обстоятельстве объяснено им в Палате уголовного суда. Покорнейше просит обратить особенное внимание на показание Саввина Карпова. Но из дела не видно, что помянутый Карпов, в числе четырех человек, ездил на квартиру умершей Деманш за имуществом ее 9-го числа ноября, то есть на другой день ее убийства, когда еще не было достоверно известно, что преступление совершено. Саввин Карпов был взят с ее квартиры, имел при себе подозрительные инструменты для отпирательства замков. Это важное обстоятельство не обследовано, так как уже им сделано показание, хотя и вынужденное, которым он принял на себя преступление, то считает нужным отстранить от дела оговоренных им в соучастии крепостных его господина, именно: Галактиона Козьмина, Аграфену Иванову и Пелагею Алексееву. В заключение всего просит обратить внимание, что не сделано точного дознания о летах его, а только собраны поверхностные справки: когда совершено преступление, ему было девятнадцать лет; справка же основана на одной 8-й ревизии, в коей он показан двадцати четырех лет, справок же из консистории не требовалось.

Не имея более ничего прибавить к его оправданию, он умоляет высокоименитых судей обратить свое милостивое внимание на все изложенные в сем рукоприкладстве доводы и облегчить, сколько можно, его страдания, не быть строгими в присуждении наказания за преступление, тайна коего известна одному всевышнему творцу, от которого не скрыто, что он жертва случая».

Теперь, когда оба отречения перед нами, можно разобраться в них и дать им оценку.

Смрадом старинного «аблакатского» подполья, выдающего руку дельца из-под Иверокон, несет от этой юридической стряпни, и невооруженному глазу должно быть ясно, что автором обеих бумаг было одно и то же лицо.

Дословно повторяющаяся витиеватая концовка, один и тот же стиль, одинаковые доводы о возрасте, имеющие целью установить уголовное несовершенство, — одинаковые оговоры Сухово-Кобылина в обольщении путем предъявления несуществующих писем, уликовая борьба, опирающаяся на анализ следственных материалов с точки зрения формальной теории доказательств, неразборчивость в средствах, — все это изобличает одну и ту же руку: опытную, но бессовестную.

В деле есть намеки, что «рукоприкладство» писал стряпчий, по фамилии Налетов.

Действовал ли этот стряпчий только в интересах обвиняемых или за его спиной стояли более крупные мастера уголовного процесса, но несомненно одно: с какого-то момента крепостные попали в сферу обдуманных и организованных влияний и давали такие показания, какие нужны были их вдохновителям.

Из дела мы узнаем, что личная судьба обвиняемых сложилась в тюрьме лучше, чем на воле. Егоров служил поваром на дворянской кухне, Козьмин прислуживал у письмоводителя, а Кашкина — у

смотрительницы тюремного замка и, сверх того, торговала чаем. Кроме того, их никто не бил. Наконец, как видим, тюремная администрация оказывала им и юридическую помощь.

Есть основания думать, что тюремные власти оказывали арестантам и другие виды содействия.

Важно установить, что интересы следователей совпадали с интересами и обвиняемых и тюремной администрации: конец дела, каков бы он ни был, никого не устраивал.

Отдать обвиняемых в каторгу или на свободу для тюремной администрации значило прежде всего: отказаться от их услуг. Для следователей это означало потерю оброчной статьи, а для дворовых — конец привольного житья. Статус-кво — вот, что всем им было нужно. Вот на что направлены усилия и следственных верхов и тюремных низов.

При таком совпадении интересов всех людей, во власти которых находились и обвиняемые и обвинение, естественно, что защита не должна была много ломать себе голову над убедительностью доводов. Всякий вздор, как бы наивен он ни был, будет принят благосклонно следователями.

Как известно, все, что изложено защитником в рукоприкладствах Егорова и Козьмина, сыграло решающую роль во время преследования и стоило Кобылину нескольких месяцев тюремного заключения и лишних лет процессуальной волокиты.

Заслуживают ли «рукоприкладства» того доверия, которое им было оказано чрезвычайной следственной комиссией при жизни Кобылина и Л. Гроссманом после его смерти?

«Рукоприкладство» Егорова распадается по темам на такие части:

1. Установление Егоровым своего алиби.
2. Оговор Кобылина.
3. Опровержение своего сознания фактическими обстоятельствами.

4. Обвинение Стерлигова в пытках и в обольщении.

5. Спор о возрасте.

6. Концовка.

Просительный пункт «рукоприкладства» содержит в себе внутренние противоречия.

Если защита Егорова утверждает, что он ни в чем не виноват и преступления не совершал, то не к чему просить судей «не быть строгими в присуждении наказания», а просто требовать полного оправдания.

Спором о возрасте он борется за установление «уголовного несовершеннолетия». Это имеет смысл только для смягчения наказания за совершенное преступление, и совершенно безразлично, если он ни в чем неповинен.

Эти части защиты его выдают. Но следователи не были так придирчивы к «рукоприкладству».

На первый взгляд, больше всего заслуживает доверия показание Егорова о пытках. Ради чего бы ни истязали и пытали Егорова в полицейском застенке, чтобы принять на себя чужую вину или чтобы показать на барина, в обоих случаях рассказ Егорова совпадал с бытовыми чертами дореформенного следственного производства. Пытки бывали, обвиняемых били и кормили селедкой, и в этом отношении Егоров ничего нового не поведал, но, с другой стороны, именно потому, что допросы с пристрастием были бытовым явлением московских «частных домов», оговорщику легко было использовать это обстоятельство.

Подвергал ли Стерлигов Егорова пыткам или нет, для нашей концепции безразлично, так как мы считаем, что тема допроса была — показать на барина. И если, тем не менее, мы постараемся разобраться в сообщениях Егорова о пытках Стерлиговича, то сделаем это только для того, чтобы оценить долю правды в «рукоприкладстве» Егорова.

Сопоставим факты.

Истязания, «которые при личности его совершались над ним», были следующие: крутили ему самой тоненькой бичевкой руки назад так сильно, что локти заходили один на другой. Таким образом, он оставался связанным от двух часов пополудни до одного часу пополуночи. Связанного таким образом вешали на крюк, вбитый в стену, так что Егоров оставался на-весу по нескольку часов.

На это ответил сам Стерлигов.

«Возможно ли, что человек, пробыв одиннадцать часов со скрученными руками, мог впоследствии действовать ими свободно, не чувствуя сильной боли и не требуя медицинского пособия, и даже свободно писать?»¹

Егоров жаловался, что после истязаний он не мог даже надеть сюртук при отвозе к обер-полицейстеру, между тем обер-полицейстер, к которому был Егоров доставлен немедленно по допросе, не заметил, что перед ним человек, измученный истязаниями.

Замечательно, что Чрезвычайная следственная комиссия ни разу не допросила об этом самого обер-полицейстера. Из рассказа Егорова можно принять одно: что он, как и все преступники в то время, содержался со связанными назад руками.

Поэтому тот факт, что Егоров после допроса мог не только надеть сюртук и шинель, но и написать собственноручно свое показание, не подтверждает его слов, будто он в течение нескольких часов висел на крюке со скрученными руками.

Вторая форма истязаний: что его кормили селедкой и сутки не давали пить, не подтверждается, потому что полных суток Егоров не сидел в Серпуховском участке. Он был перевезен из Пятницкой части

¹ См. об этом экспертизу проф. Попова.

в Серпуховскую 19 ноября в одиннадцать часов ночи, а к полицмейстеру был доставлен на следующий день вечером, часов в шесть после того, как было им написано собственноручное признание. Неужели в первую же минуту, как он пришел, его сразу накормили селедкой? Неужели истязания были организованы все вместе, а не последовательно?

Далее, Егоров показывал знак на голове, происшедший от побоев чубуком. Знак этот странным образом сохранился с 20 ноября 1850 года по май 1854 года. Между тем, этого знака не заметили ни члены комиссии Шлыкова, ни судьи первого департамента надворного суда, ни члены Московской уголовной палаты, не заметили и соседи Егорова по тюрьме и смотритель тюремного замка. Как могло это случиться?

Не желая брать под свою защиту пристава Стерлигова и не сомневаясь в том, что во время полицейских допросов с крепостными преступниками в дореформенных частных домах обращались со всей жестокостью, мы все-таки утверждаем, что ссылка Егорова на истязания и пытки ничего в деле не объясняет.

Вряд ли можно было так быстро склонить его к принятию на себя чужой тяжкой вины. Но главное, — почему мы категорически возражаем против возможности применения пыток к Егорову с какого бы то ни было соучастия или ведома Сухово-Кобылина в организации подложного сознания, — заключается в другом.

Даже по версии Л. Гроссмана Егоров знал подлинную правду дела, ибо он вывозил труп вместе с Макаром Лукьяновым.

Как же можно было подвергнуть его пыткам и выбрать именно Егорова в герои преступления? А вдруг под пыткой Егоров не выдержит и брякнет полную правду? Если бы еще, допустим, иметь в

виду, что допросом у Стерлигова все кончится, и то игра была слишком рискованна и опасна.

Ведь от Егорова требовалось не только, чтобы он в данный момент признал себя убийцей, а надо было, чтобы он с этого момента начал играть роль главного обвиняемого при всех допросах и во всех инстанциях. В одной только комиссии Шлыкора Егоров был допрошен тринадцать раз и выдержал при этом шесть очных ставок. Кроме того, он по нескольку раз допрашивался в надворном суде и в Уголовной палате. Если пытками и можно объяснить сознание Егорова в секретной камере Стерлигова, то объяснение это решительно не годится, когда читаешь подробные и мотивированные ответы Егорова на допросах во время предварительного и судебного следствия.

Мы знаем автора двух «рукоприкладств». А кто же был автором четырех сознаний? Кто их сочинял, согласовывал между собой и создавал яркие неповторимые подробности? Козьмин рассказывал, что во время убийства, «когда у него утюг упал из рук, они стали бить покойную руками». Не верится, чтобы такая деталь могла быть выдумана. Егоров вспомнил, что избивали француженку с такой жестокостью, что Аграфена Кашкина входила в комнату и говорила «перестаньте». Сама Кашкина призналась, что она с Алексеевой, чтобы облегчить преступление, оставили открытыми двери в квартире и в комнате француженки, а потом вошла она и вынесла собачку. Если автором этих подробностей не были сами же крепостные, то другого автора мы не найдем.

Неужели можно поверить, что Ефим Егоров, споря с Галактионом Козьминым на очных ставках, о том, кто из них кого просил первый избавить от злой француженки, оба в это время играли кем-то внушенную роль?

Если показания дворовых были им внушены в ин-

тересах Кобылина, а следовательно, с его участия и ведома, то почему же ни разу не совпали их показания о мотивах убийства?

Кобылин стоял на том, что крепостные убивали из корыстных побуждений. Этим он «рыцарски» защищал память покойной. А Козьмин твердил, что убили из мести за жестокое обращение.

Никакой пыткой нельзя объяснить, почему Ефим Егоров так долго играл роль и почему он игру прекратил.

Есть попытка объяснить длительное сознание Егорова страхом перед возможными новыми мучениями или перед барином.

Но почему этого страха не испытывала робкая Пелагея Алексеева, которая открылась в первом же заседании надворного суда, или Кашкина, которая отказалась от своего сознания, правда, частично в Московской уголовной палате? И только Егоров с Козьминым, подтвердившие свои показания на многократных допросах и очных ставках, в следствиях и судах, через два года, прямо в Сенат и притом одновременно, послали свои отречения.

Защитник Козьмина понимает, что если сознались все четверо, а не один Егоров, и если Козьмин не сидел в секретной Серпуховского участка, то на одних истязаниях и пытках далеко не уедешь.

Создается версия об оболъщении.

Оказывается, что Егоров был оболъщен Стерлиговым, а Козьмин — Хотимским. За то, что Егоров примет на себя вину, ему было якобы обещано награждения тысяча пятьдесят рублей серебром, свобода его родственникам и ходатайство об облегчении участи. Козьмину была обещана вечная свобода ему лично, отпускная всему семейству: отцу, матери, братьям и сестрам и сверх того тысяча пятьдесят рублей ассигнациями. Как видим, Козьмин ценил себя втрое дешевле Егорова: тысяча пятьдесят рублей ассигнациями составляли немногим

больше трехсот рублей серебром. В показании Козьмина замечательно, что, по его словам, обольстителем был не только Хотимский, но и Ефим Егоров.

И здесь замечается несовпадение дат.

Козьмин якобы был обольщен Хотимским 15 ноября (см. его показания). Следовательно, Егоров, обольстивший его, должен был в свою очередь быть обольщенным, если не раньше, то хотя бы в тот же день. Между тем, был пытан и, за недостаточностью физического воздействия, обольщен сам Ефим Егоров лишь 19 ноября.

Ясно, что неразборчивые защитники не продумали своей лжи до конца и не позаботились свести концы с концами.

И вряд ли надо было 19-го числа пытать Егорова, если уже он сам 15-го принимает такое энергичное участие в обелении своего барина, что отыскивает со товарищей по принятию на себя чужой вины.

Можно, конечно, спорить о том, стоило ли продавать свою судьбу ради отпусков родным. Для этого нужно, чтобы Егоров и Козьмин способны были на исключительное самоотречение. Что за радость им, если сами они будут страдать, а родные пойдут на свободу. Обещания хлопотать об облегчении участи или ссылки, соблазн возможностью близкого манифеста представляют собой обещания туманные и неопределенные. Ими соблазнить нельзя. Деньги — единственный реальный соблазн, но и они в каторге изменить условия жизни много не могут.

Нужно быть наивным, чтобы поверить, будто Сухово-Кобылин обольщал своих крепостных людей собственноручными письмами через Стерлигова, Хотимского и еще какого-то неизвестного человека.

Ведь это значило бы признать, что Кобылин трижды собственноручно написал сознание в преступлениях и эти документы роздал трем лицам. Почему никто и никогда писем этих не видел и Сухово-Кобылина не оговорил? Кроме того, такие письма —

это бланковые бессрочные векселя на все имущество Кобылина.

Если бы Кобылин или его родные задумали организовать подложное сознание и убедить крепостных взять вину на себя, то неужели они не могли сделать этого сами, а не через следователей, от которых в первую очередь нужно было скрыть такие попытки?

По версии подпольного стряпчего выходит, что в первые же дни процесса Кобылин только и делал, что создавал против себя улики и накапливал свидетелей своей виновности, а современному исследователю мыслится мощная организация, которая задумала и провела в жизнь подложное сознание, не только взятое на себя четырьмя крепостными, но и поддержанное ими в течение ряда месяцев.

Кто же входил в эту организацию? Очевидно, и комиссия Шлыкова и Стерлигов. Может ли быть, чтобы в эту организацию не входил обер-полицеймейстер?

Но в таком случае как же объяснить, что комиссия Шлыкова собирала систематически материал, опорачивающий это сознание?

Как объяснить, что она чинила Сухово-Кобылину ряд притеснений и неудовольствий, на которые он впоследствии так долго жаловался?

Нет. Приходится признать, что версия об оболыщении еще менее правдоподобна, чем версия о пытке. Никаких вольных родные Козьмина и Егорова в течение семи лет не получили, а если получили бы, то это было бы серьезным доказательством вины Сухово-Кобылина. Если этого нельзя было сделать, то нельзя было и обещать.

И в самом деле, мог ли Сухово-Кобылин дать отпускные семьям убийц дорогой ему женщины?

Вздорность этого утверждения показывает только, как неразборчив был в средствах борьбы стряпчий из-под Иверской.

Еще одно недоумение: вина Егорова и Козьмина в убийстве почти одинакова, и наказание им грозило почти тождественное. Почему же в отношении Егорова нужны были и пытки и обольщения, а по отношению к Козьмину достаточно только обольщения?

Между тем из них двоих Егоров, если не был прямым участником, то при всяких условиях был соучастником. Он вывозил труп, он видел, кто убил, и, значит, с ним была необходима сугубая осторожность, и если его обольщать, если обещать вольную ему и его родным и подкупать деньгами, то, конечно, надо это делать до прихода полиции, чтобы при первых же следственных действиях он дал полное и добровольное признание.

Кстати, в романе Боборыкина этой ошибки нет.

В первые дни следствия, до 19-го числа включительно, Егоров и Козьмин твердо стоят на том, что они к убийству неирричастны, и кто убил, «в том неизвестны». И непонятно, почему сознался Козьмин только 20-го, после того, как ему было объявлено сознание Егорова, хотя обольщен он был, по его же словам, приставом Хотимским 15-го.

И, наконец, последнее соображение: если сопоставить между собой все отречения, данные четырьмя крепостными, то можно заметить в них одну своеобразную черту. Сознались дворовые все сразу и дали единодушные показания, подтверждающие одно другое. В отречении же их есть своеобразная последовательность и постепенность.

Так, во время действия следственной комиссии Шлыкова все четверо полностью поддерживают первоначальное сознание. Правда, в их показаниях содержатся некоторые мелкие разноречия: девушки иа хотят взять на себя всей вины. Они взваливают инициативу то на Егорова, то на Козьмина. Они пытаются установить, что отговаривали преступников от их намерения. Но основное и главное утверждают:

что Деманш убита у себя на квартире в доме Гудовича, и что убийство совершено Егоровым и Козьминым.

Но вот дело перешло в 1-й департамент надворного суда. Там появилось и первое отречение. 31 мая 1851 года Пеллагея Алексеева отказалась от признанного ею сознания: «Что написано в ее ответах, показаниях и очных ставках она не знает, ибо ничего не показывала и ни о чем ей известно не было, причем объявила, что при следствии пристрастия не было».

Тогда же частично отреклась и Кашкина, объявив, что она «в убийстве иностранки Симон-Деманш ни с кем не участвовала, о намерении к убийству ни от кого не слышала, убитую в ее платье не одевала, собаки из ее комнаты не выносила, теплого салопы в печи не жгла, и чего о сем в ответах написано, ей неизвестно, ибо она сего не показывала и ответы были писаны не с ее слов, а со слов самого господина следователя, потому что они писали в ответах, чего хотели, но только слышала она, где спала Деманш, какой-то визг, но от чего он происходил, не знает, и еще видела, как Деманш мертвую тащили из спальни Ефим Егоров и Галактион Козьмин, но о сем как на другой день, так и после не объявила Сухово-Кобылину и полиции от страха, содеянного ей Ефимом Егоровым и Галактионом Козьминым. При этом объявила, что ей при следствии пристрастия и истязаний не было».

В Московской уголовной палате Козьмин и Егоров еще признают свою вину, но спорят о том, кто кого склонил к этому преступлению. Козьмин якобы отказался, а Егоров сказал: «Все равно, убью, а скажу на тебя». Оба оговаривают Кашкину и Алексееву и подтверждают свои прежние показания.

Козьмин при этом вспомнил, как Егорову показалось, что Деманш захрипела, тогда он имевшимся у него принадлежавшим ему складным небольшим

ножом перерезал ей горло. Как он почувствовал большой озноб и пошел с Егоровым в трактир пить чай.

«Почему же крови в том месте оказалось мало, он хорошо совсем не знает».

Кроме Егорова, никто, даже девушки Иванова и Алексеева, его не подговаривали.

Неужели и это все кто-то за него сочинил?

Ведь в это время Козьмин, как и другие обвиняемые, содержался не в полицейских частях, а в Таганском тюремном замке. Следственная комиссия Шлыкova окончила свои действия и больше не могла вмешиваться в ход дела. Обвиняемые числятся за уголовной палатой, и все производство находится в руках новых людей. Кто же является преемником и продолжателем полицейских сочинителей, если таковые были?

Козьмин говорил, будто свои показания он писал под диктовку Хотимского. А вот в надворном суде и в Уголовной палате — вне всякого общения с Хотимским — он дает еще более яркие, более детализированные показания, но в то же время очень разумные и целемерные: не отрицая факта, стремится уменьшить свою вину, переложить всю инициативу на Егорова и представить себя безвольным орудием в его руках.

Впрочем, возможно, что и на самом деле так оно и было.

Аграфена Кашкина в показаниях 8 ноября 1851 года, то есть через год, признает что «часу в одиннадцатом она *раздела Деманш, которая легла спать в спальне*: убравши все, также и сама легла пред тою спальнею в коридоре, и с нею находились, как и всегда ночью, три собачки. Ночью же, когда благовестили к заутрене, слышала и увидела, что в комнаты вошел Егоров с Козьминым и прямо пошли в спальню к Деманш, а когда она подошла к дверям спальни, то увидела, что они душили Деманш».

Дальше все известно, кроме того, что Кашкина пытается еще отрицать свое участие в убийстве, не опровергая самого факта убийства в доме графа Гудовича.

Она якобы сама этому убийству «нисколько не помогала и от страха не знала, что делать». В убийстве она не желала участвовать и скрыла — от страха и угроз Егорова.

15 ноября показания Кашкиной резко меняются. Она сообщает, что 7-го числа Деманш возвратилась домой часу в восьмом вечера и спросила, не приезжал ли барин, Сухово-Кобылин, на что она отвечала, что не приезжал. После сего Деманш опять уехала, но куда именно, ей неизвестно, а сказала, что скоро приедет. Но она не видела, на своей ли лошади уехала и с Галактионом ли Козьминым, после сего она уже домой не возвращалась, а пред утром, когда уже благовестили к заутрени, пришел к ним Егоров и сказал им: «Вы более страдать не будете». Деманш они «порешили, ее уже на свете нет».

Она ахнула и от испуга не знала, что делать.

«А где и каким образом убита была Деманш, Егоров и Козьмин ей не сказывали, а на вопрос ее о том, сказал, что не твое дело».

Финал этого показания своеобразен и неожидан.

«Что же показано ею при следствии, что она убита Егоровым и Козьминым в спальне, то она сознается, как перед богом, велел ей так говорить барин Александр Васильевич, 8-го числа ноября того месяца, придя к ним утром, но для чего именно, ей неизвестно, и обещал за это награду и защиту».

Замечательное показание. В нем элементы всех вариантов, оно перепутывает все версии и дает возможность сделать любые выводы. Впрочем, в тот же день, 15 ноября, на очной ставке с Пелагеей Алексеевой, она отказалась от оговора — «а что она в показании, ныне от нее отобранном, объяснила, буд-

то барин ее научил, как показывать, то это произошло от ошибки и показано ею ложно».

Наконец, на очных ставках с Егоровым и Козьмичем Кашкина, не оговаривая больше Кобылина, снова твердит, что об убийстве она ничего не знает, что Деманш в ту ночь дома не была, уехала, куда неизвестно, и не возвращалась.

Вдумываясь в эти признания и отречения, нельзя не подметить в них своеобразной закономерности.

Пока дело находилось в руках комиссии Шлыкова, оно испытало два превращения: полный отказ крепостных от какого-либо участия в деле и затем полное и безоговорочное признание всех четырех в том, что убийство совершено ими.

В надворном суде отрекается одна Алексеева, в Московской уголовной палате к ней присоединяется Кашкина и, наконец, в Сенате отрекаются уже все четверо.

Чем это объяснить?

Ответ простой: желанием следователей вымогать взятки у Сухово-Кобылина. Иначе не за что было брать. В начале следствия Хотимский с компанией собирал улики против Сухово-Кобылина, не брезгуя куриной кровью, шутиливой запиской и кинжалами, никакого отношения к делу не имеющими.

Мы видели, как шлыковская комиссия, уже после того, как крепостные сознались, тянула следствие, всячески запутывая дело и накопляя противоречия по всем важнейшим вопросам дела — о крови, об алиби, о месте и времени, о мотивах, о вещах, пропавших у Деманш, о данных медицинского осмотра и т. д.

Но, говорят, сколько веревочку не вить, а все кончику быть.

За делом наблюдали обер-полицмейстер и военный генерал-губернатор, и пришлось его закончить и передать в надворный суд.

Чиновники надворного суда тоже не дураки по части «безгрешных» доходов.

А материал по делу им прислали такой, что не подкопаешься. Против Кобылина данных никаких нет, убийцы сознались, и сознание их находится в полном соответствии с фактами дела. Оправдательный приговор для Кобылина предreshен. За что же давать? Вот и появляется первое отречение.

Оно не настолько серьезно, чтоб погубить Кобылина, потому что и тогда не за что брать, но вполне достаточно, чтоб поколебать весы правосудия, чтоб на другую чашу Кобылин положил какую-нибудь сумму. Недаром в «деле» Кобылин с ненавистью говорил о русской Фемиде, что она «на весах, варварка, торгует».

Так же и в Московской уголовной палате. Там тоже люди, которым государева жалованья не хватает. И колебания в ответах Кашкиной прямо отражают ход их переговоров с Кобылиным об откупе за честь и свободу.

Нетрудно себе представить, как вызвали чиновники Московской уголовной палаты к себе Сухово-Кобылина, как предъявляли ему прямой оговор Кашкиной против него, что именно он научил ее, Кашкину, показывать на Егорова и Козьмина и как, получив *удовлетворение*, в тот же день предъявили ему результаты своей судебной опытности. Кашкина оговор сняла, как данный ею ошибочно. И почему-то на очной ставке с Алексеевой, которая Кобылина никогда не оговаривала. Наконец, в московский департамент Сената поступают рукоприкладства Егорова и Козьмина.

Инстанция высокая, аппетиты генеральские, но и положение безвыходное: Кобылин оправдан был в двух инстанциях. В Сенате производство только ревизионное, форма его письменная, передопроса подсудимых там не производят.

Сенат и не ставит перед собой вопроса о новом

приговоре по делу. Сенат может либо утвердить вынесенный приговор, либо отменить его и передать дело на новое рассмотрение.

При том материале, который был собран на дознании и предварительном следствии, сомнения в благоприятном для Кобылина исходе дела и быть не могло. Чтоб вымогать у Кобылина взятки, надо было нанести удар по стержню дела. Таким стержнем, конечно, могло быть только сознание Егорова и его сотоварища по преступлению.

Отказ от сознания вносил хаос и неопределенность во все дело. Самые простые и доказанные факты могли после этого быть взяты под сомнение.

Создалось положение, о котором Кобылин писал в «Деле».

«Положение дела вашего по фактам следствия остается запутанным и, могу сказать, обоюдоострым. С одной стороны, оно является совершенно естественным и натуральным, а с другой — совершенно неестественным и ненатуральным. Где же истина? — спрашиваю я вас. Где она? Где? Какая темнота! Какая ночь! И среди этой ночи какая обоюдоострость!»

Вот за эту обоюдоострость с несчастного любовника можно было брать полной мерой. И недаром он завопил: «Разбой, Муромские леса»... — и дал своему герою символическую фамилию — Муромский.

Так раскрывается *ложь крепостных убийц* в самом тексте ее, в фактах, ими сообщаемых, так разъясняются подлинные причины и мотивы появления этой лжи.

Чтобы окончательно разоблачить неправду, содержащуюся в «рукоприкладствах» Егорова и Козьмина, укажем еще некоторые черты этих произведений подпольного стряпчего.

Отрекшись от сознания, Егоров ведет прямую и открытую борьбу с Кобылиным.

Он «покорнейше просит гг. сенаторов обратить

бвое внимание на ответы его господина касательно пропажи Симон-Деманш в ту же ночь, что побуждало господина его к такой поспешной деятельности, когда как это была прямая обязанность управляющего дома графа Гудовича».

Не довольствуясь намеком на раннюю тревогу Кобылина о пропавшей французенке, Егоров подчеркивает далее, что «господин его указал *даже* путь, куда могла отправиться она: за Тверскую или Пресненскую заставу, где и найдено тело».

Как видим, не указывая прямо на Кобылина, как убийцу, Егоров все делает, чтоб указать на улики против него. А между тем, по версии Л. Гроссмана, он вывозил труп и знает правду. Почему же именно здесь он ее не раскрывает?

Дальше. Егоров «также просит обратить внимание на разноречивые показания его господина, в коих он говорит, в первом, что Деманш никакого состояния не имела, а во втором, что было у нее денежного капитала до тысячи рублей серебром». Здесь стряпчий передергивает. Такого показания не было. Кобылин писал о наличных деньгах—сто рублей серебром и о заемном письме—в тысячу рублей серебром. Но важно не это. Замечательно, что, опровергая мотивы убийства, выдвинутые Кобылиным, то есть ограбление, Егоров ни одним словом не касается *того мотива, который он сам указал*—мести за жестокое обращение. Прав ли был Кобылин, обвиняя его в корыстных намерениях, или нет, не все ли это равно, если Егоров убил ее из мести. В этом мотиве ему и надо оправдываться, между тем, он его обходит полным молчанием.

Такой же характер борьбы с Кобылиным носят указания «рукоприкладства»—на невозможность совершения убийства в доме Гудовича без того, чтоб преступление не было замечено, и на посылку Кобылиным столяра Саввина Карпова «с подозрительными инструментами на квартиру покойной».

Для чего, спрашивается, все эти намеки и косвенные улики против Кобылина, если Егоров знает подлинную правду и действительно борется с подложным сознанием, в котором он теперь раскаивается?

Помогает ли он следствию? Разъясняется ли дело после его отречения или еще больше занутывается?

Больше того. Можно ли такое отречение принять как защиту Егорова? Нет. Думается нам, на это не рассчитывал и сам Егоров. И не он составлял свое рукоприкладство, хотя сознание написал сам.

Все эти стречения имели целью создание из Кобылина оброчной статьи для следственных и судебных чиновников.

Серьезной проверки они не выдерживают. Верить им и выносить приговор, на основании содержащегося в них материала, нельзя.

В заключение вопросы Л. Гроссману:

1. Почему Егоров, если он вывозил труп из флигеля на бульваре и, следовательно, знал всю правду о деле, в своем «рукоприкладстве» ее не сообщил Сенату?

2. Почему Егоров этой правды не рассказал никогда и нигде?

3. Кто сочинял сознания крепостных? Кто их согласовывал между собой? Кто им сочинял разногласия и разноречия? Кто выдумывал детали?

4. Чем объясняется борьба подсудимых между собой за ту или другую степень прикосновенности к делу?

5. Чем он объясняет, что в надворном суде отрекалась от сознания одна обвиняемая, в Уголовной палате — две, а в Сенате — остальные. Почему они не отреклись все сразу, как только вышли из-под власти следователей?

6. Почему обольщение велось через следователей, а не через своих близких людей или самим Кобыли-

ным? Почему этого не сделали дома, в первые же дни и с глазу на глаз?

7. Если сознание крепостных было подлогом, организованным следователями, почему они сами занимаются уничтожением добытых с таким трудом результатов и накапливают после этого материал противоречивый (алиби, кровь, место убийства и т. д.) и, во всяком случае, ослабляющий защиту Кобылина?

8. Почему, кроме обвинения в убийстве, эти же следователи обвиняют его и в других преступлениях: 1) в прелюбодейной связи, 2) в отказе от очной ставки и 3) в жестоком обращении с крепостными?

9. Почему не совпадают мотивы преступления в сознании крепостных и в «сведении» Сухово-Кобылина, если сознание сочинено при его участии?

КАК ВЕЛОСЬ СЛЕДСТВИЕ.

Чтобы вынести приговор по уголовному делу на основании документов и актов старинного производства, мало изучить материал, содержащийся в них.

Нельзя забывать, что между исследователем и фактом, — будь то свидетельское показание или следы на трупе, — находится посредник — следователь, который излагает показания или описывает факты.

Непосредственное впечатление, которого мы лишены, воспринял следственный чиновник. От него зависела постановка вопроса и редакция ответа. Мало того: он ставит и разрешает следственные задачи, он дает направление ходу следствия, от него зависит произвести те или иные следственные действия или воздержаться от них.

Исследуя судебное дело той эпохи, которая была «черна в судах неправдой черной», особенно необходимо произвести двойную проверку.

Необходимо проверить не только добытый следователем материал, но и действия самих следователей. Необходимо проверить, *как* они вели следствие.

При этом не надо забывать самой структуры следственного аппарата и теории формальных, предустановленных доказательств.

По делу об убийстве Деманш, как и по всякому другому делу того времени, следователям надлежало

найти «совершенное доказательство» чьей-либо виновности.

Сначала, то есть с того момента, когда «на Ходынском поле, за Пресненской заставой, было найдено мертвое тело женщины неизвестного звания», пристав Ильинский произвел первые необходимые действия, а именно: осмотр местности, наружный осмотр тела, предъявление тела для опознания и анатомическое свидетельство.

По установлении личности и местожительства покойной, следствие переходит от местного районного пристава к приставу городской части Хотимскому, который получил от московского обер-полицмейстера Лужина особое поручение.

Новый следователь произвел осмотр квартиры покойной, установил, что «кровных следов и салоп Деманш не найдено», наличных денег не оказалось, а «найденные бриллиантовые и серебряные вещи¹ оставлены запечатанными в квартире», и приступил к допросу слуг: Аграфены Кашкиной, Пелагеи Алексеевой и Галактиона Козьмина.

Задачей было выяснить, как провела покойная свой последний день, отыскать следы преступления и мотивы его.

Кучер Деманш, Игнат Макаров, был 7 ноября болен и его заменял Галактион Козьмин — «мальчик» по винной части. Поэтому Макаров и не мог дать сведений о том, где была в ночь с 7-го на 8-е Деманш, но все-таки описал ее привычки и отношения к Сухово-Кобылину и слугам.

«С бариним имела любовную связь, а со слугами обращалась строго, бивала даже из своих рук, одеяние давала недостаточное», — вот что узнали следователи от Макарова, и это же повторялось с не-

¹ Впечатление от протокола обмануло и современного исследователя. «Бриллиантовые и серебряные вещи оказались в целости». Но золотые вещи, а также и деньги пропали и были найдены у Егорова.

большими вариантами почти во всех других показаниях. Затем следствие обратилось к слугам соседей. Дворник графа Гудовича рассказал, «что ночью в квартире ее видел огонь, и тогда говорили, что ждали ее, а шума, крика и визга он не слышал». Но говорили это люди, бывшие под подозрением, так что слова их подлежали еще проверке.

Он же вместе с кучером князя Радзивилла Лукьяном Трофимовым должен был осветить вопрос о месте убийства и в связи с этим установить: 1) где находился ночью дворник и 2) где был ключ от ворот.

Выяснилось, что «ключ находился в водосточной трубе, около ворот, были ли оные заперты на ночь 7-го числа, он не знает, потому что лег спать в девять часов и спал до рассвета».

На этом поиски следователя в доме графа Гудовича кончатся. Установили, со слов слуг, что Деманш в десять часов вечера ушла неизвестно куда, что кровавых пятен и сапога нет, что бриллианты и серебряные вещи целы — и этим удовлетворились. Кстати, о золотых вещах и деньгах забыли.

Уже на третий день внимание следствия было направлено в другую сторону — в дом № 9 по Стражному бульвару, где жил Сухово-Кобылин.

Произведенный 12 ноября осмотр обнаружил пресловутые кровавые пятна. В акте осмотра опущена помойная лохань, при обыске взяты кастильские кинжалы и шутильная записка.

А 16 ноября снова производится внезапный осмотр флигеля. Для чего? Нового ничего не добыли. Зато допросили Кобылина и, не проверив показаний, данных им впервые по делу, взяли его под стражу.

Не ясно ли, что эти действия не имеют никакой другой цели, как только произвести определенное психологическое воздействие на Сухово-Кобылина.

В самом деле. Если кровавые пятна заставили по-

дозреть Кобылина в убийстве, так как Деманш найдена зарезанной, то почему ж его не арестовали в первый же день, когда эти пятна были обнаружены, то есть 12 ноября 1850 г.?

Если одних пятен недостаточно, то какой же другой материал, подкрепляющий подозрения, был получен за это время? Никакого.

Если же об этих пятнах, об отношениях Кобылина с Деманш и о других обстоятельствах дела надо было спросить Сухово-Кобылина, то почему его не допрашивают 12-го же, а ждут четыре дня?

И почему, допросив, не считают нужным раньше проверить его объяснения и ссылки, а сразу лишают его свободы?

И для чего внезапный осмотр флигеля, когда кровавые пятна описаны в протоколе? Не все ли равно теперь, что с ними будет? Даже если их смоят или сотрут, что за беда?

Но пятна найдены в неприкосновенности, — а Кобылин все-таки арестован.

Интересами следствия все эти действия объяснены быть не могут. Остается их объяснить *интересами следователей*.

Естественнее всего предположить, что эти четыре дня были употреблены на вымогательства взяток от Сухово-Кобылина. Должно быть, он не соглашался. С приказным и полицейским миром надменный и расчетливый помещик сталкивался впервые. Горе его было еще слишком свежо и глубоко. О том, что его могут всерьез заподозрить в убийстве и привлечь к делу в качестве обвиняемого, он и представить себе не мог. По сведениям, дошедшим до нас, приказные требовали с него тридцать тысяч рублей. И денег было жалко и дворянская спесь бунтовала. Все лучшее, что было в Кобылине, сопротивлялось и протестовало против гнусного вымогательства. Чиновникам пришлось прибегнуть к крайним мерам и проявить власть.

Кобылин оказался в грязной камере полицейского частного дома, рядом с ворами и «чернью». Нало же помнить, о каком времени идет речь, — тогда «психологическое» воздействие станет ясным.

Между 12 и 14 ноября допрашивают знакомых Деманш: поручика Сушкова, любовницу его, Эрнести-ну Ляндерт, и слуг Кобылина — плотника Саввина Карпова, кучера Ивана Тимофеева, камердинера Макара Лукьянова и дворников Ивана Пахомова и Антона Павлова. Их показания не дали следствию ничего, что подтвердило бы подозрения. И, тем не менее, 16 ноября производится внезапный осмотр флигеля и арест Кобылина.

В постановлении о взятии Кобылина под стражу основанием для лишения его свободы выставляются «разноречья в словах и действиях с ответами Макара Лукьянова и Ефима Егорова». Достаточно прочесть эти показания, чтобы убедиться, что никаких разноречий в них нет. И все-таки...

Арест молодого родовитого богача и привлечение его к следствию в качестве обвиняемого по громкому и сенсационному делу об убийстве произвели громадное впечатление на все московское общество.

18 ноября московский военный генерал-губернатор Закревский предписал организовать особую следственную комиссию под председательством коллежского советника Шлыкова.

Новая комиссия продолжала медленно расспрашивать разных лиц, близких к покойной и к обвиняемым, об отношениях Деманш с Кобылиным, о ее привычках и обращении со слугами, о последнем дне, о том, где был Кобылин в ночь с 7-го на 8-е (алиби); о числе его экипажей; о кровавых пятнах; о том, кто мыл полы в старом флигеле и когда; не было ли слышно визга и крика в доме графа Гудовича в роковую ночь — и все это тянулось бы без конца и результата, как вдруг 20 ноября сознался

Егоров, а 21-го и 22-го — остальные участники убийства.

Мы уже указывали, что сознание это последовало совершенно неожиданно для комиссии Шлыккова.

Кобылина пришлось освободить.

Но для приказных вымогателей освободить Кобылина вовсе не значило выпустить его из рук.

И в этом выдающийся комедиограф, к своему горю, скоро убедился.

20 ноября, в тот самый день, когда сознался Ефим Егоров и, значит, внимание следователей должно было снова обратиться к дому графа Гудовича и оставить в покое Кобылина, производится вновь — уже *третий* — осмотр кровавых пятен и подтеков на полу, плинтусах и крыльце заднего хода во флителе по Страстному бульвару, 9.

И найдено, «что некоторые из прописанных при первом осмотре пятен на лестнице крыльца и на полу сеней уже затоптаны и частью стерлись».

Это было вполне естественно и быть иначе не могло. Флитель запечатан не был, в нем жили люди, они ходили по лестнице крыльца и ступали по полу сеней. Как им было не затоптать грязных пятен?

Но следователи усмотрели в этом улику и помеху своей работе и позаботились «об обеспечении доказательства»: торжественно вырубил плинтус и порог кладовой, а заодно уже и сняли штукатурку со стены, где были пятна, и запечатали все в три отдельных свертка печатями членов комиссии.

Если даже принять, что сознание Ефима Егорова было вынуждено пытками Стерлигова и оболыщениями Хотимского, то следует ожидать, что следствие сейчас же, после этих сознаний, добытых с таким трудом, начнет накапливать материалы, подтверждающие сознание.

Ничего подобного. Третий налет на квартиру Кобылина не может быть объяснен, если верить, что следователи стали на почву сознания Егорова.

Нельзя объяснить и того, что осмотр поля, где, по словам Егорова, был им брошен нож, а также и обыск места между Пресненской заставой и Армянским кладбищем, где якобы он бросил драгоценные вещи, похищенные у Деманш, не дали никакого результата. Ни ножа, ни вещей там не оказалось.

Почему же Егоров, давая признания, вынужденные пыткой и обольщениями, не сообщал тех сведений, которые нужны были следователям, и подкрепляли следствие. При желании — инсценировать находку вещей было очень легко.

Ибо, если Егоров не убивал Деманш, а следовательно, и не похищал вещей, значит, вещи эти были в распоряжении Кобылина и следователей, — ведь впоследствии они были же отысканы на чердаке по указанию Егорова же.

Почему же он не дал сразу правильного указания о месте нахождения вещей?

Приходится признать, что первые же следственные действия, предпринятые комиссией Шлыкова, вслед за сознанием Егорова и его сообщников, направлены *не в подкрепление их сознания, а в его опровержение.*

Наконец, 23 ноября обер-полицейстер послал в комиссию собственноручное сознание Егорова, и тогда же на квартире Деманш был отыскан чуждый утюг с измятой рукояткой. Козьмин признал его за тот самый, которым он бил Деманш.

Факты оказались сильнее следователей. Кроме того, над делом был некоторый надзор обер-полицейстера и военного генерал-губернатора.

Что оставалось делать вымогателям? Волокитить до времени, по возможности, тянуть следствие, добывая взаимопроверчивый материал, одновременно испытывая выносливость и расчетливость Сухово-Кобылина.

Так они и поступили.

С одной стороны, комиссия приобщает к делу про-

изводство по жалобе «дворовой девки» Настасьи Ничкифоровой об истязаниях и побоях, причиненных ей Деманш, а с другой, — устраивают Кобылину очные ставки с камердинером и другими его слугами, заносят в протокол мелкие разноречья их показаний об алиби, предъявляют письма к нему Деманш, в которых якобы «заметен между ними совершенный разрыв», наконец, допрашивают и передопрашивают слуг Кобылина и Нарышкиной все по тем же вопросам, снова находят мелкие разноречия. Точно такой же тактики держатся и в отношении четырех сознавшихся.

Одновременно с этим к делу приобщается заключение медицинской конторы о том, что: «при перерезе больших кровеносных сосудов шеи, каковые в особенности суть сонные артерии и яремные вены, происходит в живом теле чрезвычайно стремительное и обильнейшее кровотечение, какого, однако ж, на том месте, где было найдено тело Деманш, несмотря на совершенное почти в оном бескровие, не было замечено, ибо количество крови усмотрено малое, примерно, простиравшееся только более фунта, и даже не видно из местного постановления, чтобы платье, в коем была Деманш, было замарано кровью, а равно и какие-либо части ее тела, чего при описанном в свидетельстве перерезе шеи едва ли можно было избежать»¹.

Заключение это дано явно против Кобылина, — потому что оно решительно опровергает показания Егорова и Козьмина, что Деманш зарезана в поле, и снова возвращает следственную мысль к попыткам сыграть на кровавых пятнах в старом флителе Кобылина.

Но для равновесия — «качательности» — та же медицинская контора, по физическом и химическом исследовании кровавых пятен, ответила, что

¹ См. подробный анализ проф. Попова.

«Химического состава пятен на штукатурке совсем нельзя было определить». Что же касается до предлагаемых ей вопросов: человеческая ли кровь на кусках дерева или нет и к какому именно времени должно отнести появление кровавых пятен на штукатурке, то «решение этих вопросов лежит вне границ, заключающих современные средства науки».

И снова темнота, и снова можно беспомощно спрашивать: «Где правда? Где она? — И снова обоюдность и качательность дела». («Дело».)

Зная все это, можно ли считать, что следствие ведется в интересах Кобылина?

Двух ответов быть не может.

Осмотр платья Деманш производится следственной комиссией только 23 января 1851 года, то есть через три месяца после убийства.

И составляется протокол до странности краткий: «Оказалось, что манишка, сорочка и платье в верхнем конце, спереди, довольно много окровавлены и залиты кровью; одна белая юбка и шалочка также запятнаны кровью, на прочих же принадлежностях одежды кровавых пятен не усмотрено»¹.

Вот и все.

Где и как хранились три месяца эти вещи, какого размера были эти пятна — установить уже невозможно.

Этот «промах» следствия отозвался впоследствии на работе Чрезвычайной следственной комиссии.

Так тянется следствие комиссией Шлыкова до конца марта, то есть пять месяцев.

Не отдавая себе полного отчета в том, что следователи не столько выясняют дело, сколько его сознательно запутывают, и поддаваясь иллюзии, будто следствие стремится к отысканию истины, Сухово-Кобылин 18 марта подает в комиссию «сведение» с целью помочь делу. Он подробно останавливается

¹ См. об этом в экспертизе проф. Попова.

на мотивах убийства, доказывает, что у Егорова были все основания считать Деманш богатой, описывает подробно и довольно верно характер своей любовницы и ее привычки, а также характеризует быт и нравы их общих слуг и, — что самое удивительное, — необычайно подробно и обстоятельно опровергает мотив преступления, выдвинутый всеми сознавшимися крепостными, а именно: месть за жестокое обращение.

Если б сознание крепостных было сочинено при участии Кобылина, то само собою разумеется, что и причины, побудившие крепостных решиться на страшное дело, были бы указаны те же, которые выдвигает Кобылин.

На самом деле, этого нет, а следовательно, нет и сговора между Кобылиным и приказными, Кобылиным и слугами.

Мало того. Чем же отвечают следователи на сведение, поданное Кобылиным?

Постановление, вынесенное следственной комиссией, настолько любопытно, что мы приведем его целиком:

«Комиссия, рассмотрев сведение титулярного советника А. В. Сухово-Кобылина, в коем поставляет на вид комиссии разные обстоятельства, предыдущие и последующие, относительно убийства Деманш, а равно сообщает некоторые предположения свои, основанные на вероятии, постановила: о тех предметах, изложенных г. Сухово-Кобылиным, которые могут служить пояснением каких-либо обстоятельств, сопровождавших убийство Деманш, сделать должное изыскание, спросив людей, выставленных им в сведении в качестве свидетелей, кроме родственника его, Петрово-Соловово, потому что г. Соловово, находясь при первоначальном обыске в квартире Деманш, *сам подписал постановление, не объяснив замеченного им в шифоньере беспорядка*, равно и после в отобранных комиссией от него отве-

тах о том ничего не упоминал, да и член комиссии, частный пристав Хотимский, находившийся при обыске вместе с Петрово-Соловово и другими лицами, подписавшими постановление, объясняет, что не только поразительного, но и никакого особенного беспорядка в том шифоньере им замечено не было, в противном случае обращено было бы на то внимание; затем все предположения и рассуждения Сухово-Кобылина, на основании Св. зак., т. XV, стр. 916 и 1068, *оставить без исследования*.

Частный пристав Хотимский, тот самый Хотимский, который 15 ноября, по словам Козьмина, обольщал его принять на себя чужую вину, который якобы писал показания дворовых женщин, как хотел, который на глазах у всей канцелярии брал взятки у Кобылина и, обнявшись с ним, вышел, — теперь дает свидетельские показания против обвиняемого, используя не только свое положение как члена комиссии, но и как лица, первоначально руководившего следствием.

Что ж, после такого постановления можно еще подозревать, что следователи, подкупленные Кобылиным, действуют в его интересах, и что тяжесть кобылинского золота перетянула в его сторону чашу судебных весов?

Конечно, нет. Ясно одно: Кобылин продолжает быть игрушкой в руках дореформенных крючковаторов, жертвой их вымогательства, длительной оброчной статьей.

И следствие ведется так, чтоб не дойти до окончательного результата — ни в сторону обвинения, ни в сторону оправдания.

И почему-то следователи делают ряд промахов, едва ли не сознательных.

Так, например, допрашивают дворовых женщин и под их показаниями не берут подписей о том, что показание им прочитано, то есть оставляют их, по старинной терминологии, *без «рукоприкладства»*.

Не снимают плана ни с квартиры Деманш, ни со старого флигеля Кобылина.

Не допрашивают Нарышкина и его жену или их гостей по вопросу об алиби и, наконец, по вопросу о крови не ставят на обсуждение медицинской канторы единственного существенного для дела вопроса: сколько крови должно было вытечь из трупа Деманш, если б она была зарезана *не живую, а мертвой*, то есть через полчаса после смерти, как показывал Егоров.

Пробелов следствия не перечесть.

И все они особенно трудно объяснимы с точки зрения обвинительной версии, потому что в руках следователей было сознание преступников и оставалось только подкрепить его фактами дела.

И уж никак не понятно поведение следователей, если признать, что они же сами были авторами этих показаний.

Остается принять факт таким, каков он был на самом деле, — следственная комиссия Шлыкова действовала в одних только целях: для вымогательства взяток. А для этого ей нужно было не подтверждать сознание крепостных, а, по возможности, ослаблять, не разрушая его окончательно. Потому что и в случае полного подтверждения обвинительной версии Кобылин все равно не платил бы.

Как видим, действительно, следствие так и велось.

Помучив еще Кобылина очными ставками — до того, что он от нервного потрясения заболел и отказался являться на очные ставки, рискуя новым уголовным делом, и, очевидно, получив немало за освобождение осиротевшего любовника от тягостной процессуальной повинности, комиссия принуждена была, наконец, завершить свои действия, и 10 мая 1851 года дело было препровождено в надворный суд.

Строго говоря, следственный материал этим и ограничивается. Судебные инстанции, по которым

проходило дело, — надворный суд, Московская уголовная палата, московский департамент Сената, Общее собрание департаментов Сената, наконец Государственный совет, — следствия не производили.

Но, как известно, дело было направлено к нерасследованию. 27 января 1854 года Чрезвычайная следственная комиссия, учрежденная по высочайшему повелению, открыла свои действия.

Поставим перед собою тот же вопрос, что и в отношении шлыкской комиссии — искала ли Чрезвычайная следственная комиссия объективной правды по делу или занималась вымогательствами?

Посмотрим.

Действия начинаются с допроса Егорова, Козьмина и Кашикиной, но эти лица допрашиваются уже не в качестве обвиняемых, а в качестве свидетелей обвинения.

Первоначальное их сознание не проверяется.

Через четыре года крепостные вспоминают гораздо больше, чем они помнили непосредственно после убийства, — но это не смущает генеральскую комиссию.

Затем производят осмотр квартиры Деманш, составляют ее описание и снимают план. Одновременно с этим исправляется целый ряд пробелов, допущенных в следствии комиссией Шлыкова. Невыясненным оказалось: сколько людей проживало в квартире князя Радзивилла, где ночевала прислуга, сколько в их квартире было комнат. Оупущено, что на два дома был один дворник, который обычно ночевал в большом доме. Не установлено, где ночевал кучер князя Радзивилла. Те же, в общем, пробелы в отношении старого флигеля по Страстному бульвару.

С внешней старательностью и формальной полнотой Чрезвычайная следственная комиссия эти пробелы исправляет.

О кровавых пятнах допрашивается человек двенадцать. Результат — родственники Кобылина не подтверждают его ссылки на происхождение двух маленьких кровавых пятнышек на стене, зато остальные единогласно подтверждают, что над помойной лоханью в сенях и на ступенях крыльца повара прикалывали живность, и таким образом самая, казалось бы, тяжелая улика уничтожается.

Об истязаниях, якобы произведенных Стерлиговым, допрашиваются, кроме самого Стерлигова, унтер-офицер Алексеев и мушкетер Зайцев, на которых, как на помощников Стерлигова при истязаниях, сослазся Егоров. Но оказалось, что Егоров даже не мог опознать Зайцева.

Все темы, бывшие предметом расследования первой комиссии, проверяются Чрезвычайной — об алиби, об утюге, о вещах, пропавших у Деманш, о ревности ее к Нарышкиной, и дело не теряет своей «качательности» и «обоюдоострости». Если одни свидетели утверждают, что такого утюга у Деманш не было, то другие, и в числе их Козьмин, категорически настаивают на том, что предъявленный утюг, — это именно тот, которым гладили белье у Деманш. Если Кашкина вспоминает, что Деманш от ревности все кружилась около дома Нарышкиной, то кучер Игнат Макаров, который всегда ездил с французенкой, прямо отрицает этот факт. О Саввине Карпове Кашкина дает показание, будто барин послал его ломать никаф, но она, Кашкина, его к тому не допустила. Вадорность утверждения, что крепостная Кашкина могла *против прямой воли барина* не допустить Карпова к взлому, не нуждается в доказательствах.

Следствие ведется о шрамах на голове Егорова, о мытье полов в старом флигеле, и никакого материала, прямо уличающего Кобылина, добыть не удается.

Единственное, к чему направляются поэтому усилия следователей, — они пытаются подорвать силу и значение сознания дворовых. Для этого производятся даже опыты, имеющие целью выяснить, мог ли быть слышен шум и крик на квартире Деманш в квартире князя Радзивилла. Испытание показало, «что происходящий в кухне Симон-Деманш стук и обыкновенный разговор слышен в кухне князя Радзивилла, но произнесенных при разговорах слов разобрать нельзя».

Какое все это имеет значение, когда мы знаем, что убивали Деманш не в кухне, а в четвертой от кухни комнате; что приняли все меры к тому, чтоб криков не было, и для этого накрыли ей голову подушкой; что во время убийства — в два-три часа ночи люди князя Радзивилла спали и притом даже не в кухне, а наверху?

А главное, — нам неизвестно, что они видели и слышали, потому что они сами ненавидели покойную.

Если эти следственные действия были хоть внешне обоснованы, то некоторые другие не только не были рациональны и целесообразны, а просто смехотворны.

Например, 15 мая 1854 года Чрезвычайная следственная комиссия спрашивала часовых полицейской будки на Овражках (то есть на скрещении переулков Брюсовского и Чернышевского), не видели ли они, как в ночь с 7 на 8 ноября 1850 года проезжал кто-либо из подозрительных людей на санях так, чтобы один сидел на тех санях кучером, а другой — на задке саней, в которых можно было бы провезти умершую женщину? И часовые, конечно, ответили так, как полагается, — что три с половиной года тому назад, в ночь с 7-го на 8-е они были на своем посту, но ничего подозрительного не заметили, а если б заметили, то задержали бы и донесли по начальству.

Обратили внимание и на то, что за это время Кобылин перестроил черные сени и парадное крыльцо флигеля, в котором в 1850 году были обнаружены кровавые пятна.

Это обстоятельство пытались обратить против Кобылина, а между тем, сени и крыльцо были только утеплены и это никак не могло отразиться на сохранности следов.

Но важно другое, а именно: *что кровавых следов уж там больше не было.* Они вместе с штукатуркой и деревом были вырублены и отправлены в медицинскую контору. Какое же значение эта перестройка могла иметь для дела?

Кроме того, она и произведена была уже тогда, когда следствие давно было закончено и Кобылин дважды был оправдан в судебных инстанциях. Разве могло ему притти в голову, что следствие будет тянуться семь лет и что дело направят к переследованию?

Нельзя ведь каждое самое естественное хозяйственное распоряжение толковать против Кобылина во что бы то ни стало.

Результаты длительных и подробных действий Чрезвычайной следственной комиссии были совершенно ничтожны.

Никакого, прямо уличающего Кобылина, материала в виде показания очевидцев или других прямых улик добыть не удалось.

Поэтому работа Чрезвычайной следственной комиссии свелась: 1) к опровержению сознания Егорова и Козьмина и 2) к уничтожению алиби.

Ни то, ни другое Чрезвычайной следственной комиссии не удалось. «Судя по обгарению платья, — писала Чрезвычайная следственная комиссия, — следует безошибочно заключить, что местом убийства Деманш не могла быть занимаемая ею во флигеле графа Гудовича квартира, в которой никаких кровавых* знаков найдено не было».

Вывод этот сделан явно для психологического впечатления, или, вернее, понуждения к взяткам, в нем содержится угрожающий намек, так как кровавые пятна найдены во флигеле Кобылина. Но логически он бессмыслен. Из того, что во флигеле Гудовича кровавых пятен не было, еще нельзя заключить, что Деманш там не убита; ведь французенку, по словам Егорова, убили в доме графа Гудовича, а зарезали в свраге. Так что угрожающий вывод комиссии по существу ничего нового в дело не вносит и все же был угрожающим по адресу Кобылина.

Характерно, что Чрезвычайная следственная комиссия не сделала вывода, что убийство могло произойти во флигеле Кобылина по Страстному бульвару.

Почему? Опять-таки все из-за того, что и прямое обвинение Кобылина не входило в намерение Чрезвычайной следственной комиссии и не соответствовало ее интересам. Сделав осмотр платья Деманш, Чрезвычайная следственная комиссия прошла мимо двух самых существенных вопросов: 1) Как хранилось три с половиной года платье Деманш? и 2) Была ли Деманш зарезана, будучи живою или мертвою?

Никакие выводы из акта осмотра не имеют серьезной цели без выяснения этих обстоятельств.

В производстве Чрезвычайной следственной комиссии есть один документ, упоминающий о котором я не нашел ни у одного исследователя дела Кобылина.

Это показание некоего поручика Скорнякова.

Многословное и малограмотное, оно производит, на первый взгляд, комическое впечатление и кажется случайным придатком к следствию. Поручик Скорняков сообщает, что «Симону Демьянову» убил княжалом некто Сергеев, подкупленный Сухово-Кобылиным.

И, несмотря на явную вздорность, показание это заключало в себе, очевидно, все слухи и сплетни, порожденные громким уголовным делом, и было все-таки предметом расследования со стороны Чрезвычайной следственной комиссии. Чем объяснить внедрение в следственные материалы, формально соответствующие бюрократическому канону, такой процессуальной нелепости, как это длиннейшее сентиментальное показание об убийстве Демьяниш наемным брави за тысячу рублей серебром?

Объяснение может быть только одно. По формальной теории *ни одного совершенного* доказательства против Кобылина не было. Если что ему и грозило, то только быть оставленным в подозрении.

Много ли можно было взять с Кобылина за освобождение от подозрения?

А вот если б иметь прямой оговор, — тогда дело другое. И цена другая. Поэтому надо считать, что *Чрезвычайная следственная комиссия искала прямого оговорщика Кобылина.*

Где ж его искать, как не среди обитателей тюремного дна? Но материал, полученный от оговорщиков, был слишком явно непригоден. От него за версту дурно пахло, и Чрезвычайная следственная комиссия повозилась, повозилась с героями ею же созданного фарса и оставила их в покое. А с ними и Кобылина. Таким образом, наблюдая шаг за шагом работу обеих следственных комиссий, мы должны прийти к выводу, что ни одна из них не ставила себе целью обелить Кобылина.

Ни одно следственное действие — исключая неожиданное и нежелательное для всех сознание преступных — не было совершено в интересах Кобылина. Но зато интересы самого следствия оказались тоже в заgone. При том материале, который был собран обеими комиссиями, осудить Кобылина было невозможно.

И действительно, когда дело снова поступило в судебные инстанции, он снова был везде оправдан.

Но зато нити были уж так запутаны, что нетрудно было ударить по Кобылину с другой стороны.

Вместе с ним оправдали и сознавшихся крепостных.

Так, на вопрос, поставленный им в пьесе «Дело»: «Где же истина, спрашиваю я вас? Где она? Где?» дореформенные следователи ответили: «Какая темнота! Какая ночь! И среди этой ночи какая обоюдострость!»

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ И МНЕНИЯ «ОСОБ»

Во всех без исключения судебных инстанциях Су-хово-Кобылин бывал неизменно оправдан.

1-й департамент надворного суда и Московская уголовная палата оправдали его безоговорочно. Московский военный генерал-губернатор тоже убедился, что Кобылин ни в чем не виновен, а он-то хорошо знал, как велось следствие, и, главное, как было получено сознание Егорова. Поэтому Закревский предложил Сенату дополнить приговор Московской уголовной палаты «заключением об освобождении Кобылина от суда и следствия по взведенному на него первоначально подозрению относительно смерти Деманш».

Это очень характерное и важное дополнение.

Дело в том, что Московская уголовная палата вынесла приговор по делу об убийстве только в отношении крепостных, присудив их к разным срокам каторжных работ и наказанию плетью.

В отношении Кобылина приговор высказывается по тем обвинениям, по которым Кобылин привлекался к суду, а именно: за прелюбодейную связь и за жестокое обращение. По обвинению в жестоким обращении Кобылин оправдан, — такова была логика классового суда, а за прелюбодейную связь при-сужден к церковному покаянию.

В убийстве он даже и не обвинялся.

Но возбужденное против него дело нигде формально не было прекращено.

Поэтому Закревский и предлагал освободить его официальным актом от «суда и следствия по первоначальному подозрению».

В Сенате три «особы» полагали принять мнение московского военного генерала-губернатора, а одна «особа» — Хотяинцев — признавала необходимым возвратить дело к доследованию.

Возникло, так называемое, «разногласие». Вследствие этого обер-прокурор Сената, П. И. Рогович, дал согласительное предложение по существу дела, с которым две особы — тот же И. К. Хотяинцев и еще С. Д. Нечаев — не согласились, почему дело перешло в общее собрание московских департаментов правительствующего Сената.

Но разногласие последовало и там.

Тогда дело было препровождено на консультацию в министерство юстиции. Министр юстиции, В. Н. Панин, «принимая во внимание недостатки в производстве следствия, указывающие необходимость привести в ясность новые при рукоприкладстве показания обвиняемых, отрепашающихся от прежних своих показаний, и опасаясь произнести решительный приговор к тяжкому наказанию над лицами, в виновности которых законного убеждения, по его мнению, не представляется, он признает ныне невозможным разрешить настоящее дело по существу, а полагал бы подвергнуть дело сие строгому переследованию по всем обстоятельствам оного. По окончании следствия передать все дело в суд первой степени».

Государственный совет утвердил предложение министра юстиции, и для переследования была утверждена Чрезвычайная следственная комиссия. Как мы видели выше, и эта комиссия прямых улик против Сухова-Кобылина не собрала.

Снова дело поступает в судебные инстанции, и снова Кобылина безоговорочно оправдывают надвор-

ный суд и Московская уголовная палата. Но вот Исполнительствующий Сенат, снова не соглашаясь с оправдательным приговором, не имея возможности и оснований вынести обвинительный приговор, составляет проект определения, в котором предлагает «оставить Кобылина в подозрении».

Отметим, что определение Сената, заготовленное по резолюциям от 31 августа 1855 года и 21 февраля 1856 года, препровождалось «на предварительное рассмотрение к министру юстиции».

Определению Сената не суждено было войти в законную силу: обер-прокурор, по поручению министра юстиции, внес в Сенат 21 июля 1856 года новое предложение, с окончательным выводом, что «все обстоятельства, рассматриваемые отдельно и взятые в совокупности, не составляют улики, требуемых законом, к оставлению Сухово-Кобылина в подозрении ни по предмету принятия участия в убийстве Деманш, ни в подговоре людей своих принять сие преступление на себя, а заключают лишь одни предположения, ни на каких данных не основанные».

Но одновременно с этим обер-прокурор пришел к заключению, что «дворовые люди — Ефим Егоров, Галактион Козьмин и Аграфена Капкина — не могут, по правилам закона, быть признаны изобличенными в убийстве Деманш».

Мнение министра юстиции было положено в основу окончательного приговора, вынесенного 25 октября 1857 года соединенным заседанием департаментов гражданского и духовных дел Государственного совета.

3 декабря 1857 года этот приговор был утвержден государем, и дело закончилось.

В итоге семилетних следствий и преследований, в результате многочисленных судов и пересудов, только один проект сенатского определения предла-

гал оставить Кобылина в подозрении, но прямо обвинить его не решился даже и этот проект. А из крупных судебных деятелей той эпохи двое — сенатор Хотяинцев и министр юстиции Панин — изложили свои «мнения» в духе, не благоприятном Кобылину.

Оба они при этом опирались на данные, добытые Шлыкковской следственной комиссией.

Их аргументация и не заслуживала бы рассмотрения по существу, так как они не обвиняли прямо Кобылина ни в убийстве, ни в подговоре, а только критиковали произведенное следствие и требовали направления дела к доследованию.

С этой точки зрения их выводы можно было бы признать и сегодня, даже отвергая аргументацию.

Но тот же министр юстиции и Сенат по его консультации высказывались и после преследования. Пришлось дать окончательный ответ, каков бы ни был материал. Как видим, мнения их не совпали. Сенат хотел оставить Кобылина в подозрении, а министр предложил оправдать и Кобылина, и дворовых.

Как отнестись к этому материалу? Какое значение имеет он для дела? ¹

Бесполезно опровергать аргументацию дорефор-

¹ Верный единому методу — объяснять все говорящее в пользу Кобылина взятками и связями, а все обвинительные мнения считать проявлениями бескорыстия, Л. П. Гроссман опирается на «особое мнение» Хотяинцева и консультацию министра юстиции Папина, как на материал, подтверждающий обвинительную версию. Но даже из них ни один не решился признать Кобылина виновным в убийстве. Оба требовали доследования, так как собранный материал был противоречив и недостаточен. От этого до обвинения очень далеко.

Сенатская формула «оставить в подозрении» — признак полного бессилия обвинительной версии. «В подозрении» можно оставить всякого. Недаром современное правосознание вообще не мирится с такой формулировкой обвинения.

менных юристов, построенную целиком на теории формальных, предустановленных доказательств.

Основной тезис Хотяинцева: «что сознания, с которыми происшедшие действия не сходны, не составляют еще совершенного доказательства, а сознание преступников и их действия оказываются весьма несходными, да и вообще дело шло по показаниям, одно другому противоречащими, как самих преступников, так и всех лиц, мало или много к делу прикосновенных».

В этом сенатор, конечно, прав.

Дело, действительно, полно противоречивых показаний.

Но уж ему-то хорошо было известно, что если бы следствие велось с пристрастием в пользу Кобылина, то никаких разногласий бы не было. Все было бы гладко и чисто.

Аргументация Хотяинцева сводится не столько к обвинению Кобылина, сколько к опорочению следственных действий и оправданию крепостных, а также к опровержению их сознания.

«Всего менее, — пишет сенатор, — можно принять за вероятное показание преступников, что убийство совершено было в доме графа Гудовича, где не было возможности скрыть следов крови, и в особенности перед Сухово-Кобылиным, который, как значится в деле, часу в девятом 8-го числа, то есть часа через три по совершении убийства, приходил в квартиру отыскивать следы пропавшей Деманш и продолжал поиски с таким усердием, с такой тоскливостью и нетерпением, что в течение этого дня и ночи приезжал в квартиру раз шесть и оставался там по нескольку часов, один и вместе с зятем Петрово-Соловово, однако обоими ничего сомнительного не замечено, что могло навести на мысль о том, что Деманш убита в спальне».

Вот образец логики Хотяинцева. Егоров показы-

вал, что Деманш убита в спальне, а зарезана в овраге. Тем не менее, делается ловкая передержка с намеком на кровавые пятна в старом флигеле и дополняется психологическим нажимом — бросанием тени на поведение Кобылина в первый день после убийства.

Не сомневаясь в том, что убийцами были Егоров и Козьмин, Хотяинцев думает, что за их спинами прячется какой-то пособник.

Этому способствовали ходившие по Москве слухи. Любопытно отметить, что мнение Хотяинцева совпадает со следующими строками из воспоминаний Касторы Никифоровича Лебедева (послужившего прообразом Тарелкина), бывшего обер-прокурора Сената:

«Есть неясность и невероятность в показаниях сознавшихся слуг, не совсем достоверно само следствие, но прикосновенность лиц высшего круга, а также виновность повара Егорова и кучера Козьмина, по мнению моему, несомнительны». (Русский архив, 1910, кн. 6-я, стр. 316).

В оправдание Хотяинцева скажем, что не его рука, конечно, писала это мнение.

В том-то и суть, что *особое мнение, на самом деле, не было мнением «особы»*. Нельзя забывать, что ни Хотяинцев, ни, тем менее, министр юстиции Панин не были авторами своих обстоятельных и подробных записок, в которых бросается в глаза чрезвычайная подробность рассуждений и детальное знакомство с делом.

Мнение Хотяинцева, как и предложение Панина, составляют каждое по размеру около печатного листа. Кто же поверит, что сенатор и министр так себя утруждали не только изучением многотомного дела, для чего требуются недели, а то и месяцы упорной и систематической работы, но и сами стали бы писать громоздкие и сложные записки, уснащая их десятками ссылок на законы.

Конечно, авторами этих «мнений и предложений» были чиновники рангом помельче, но с аппетитами покрупнее, — какие-нибудь сенатские и министерские Варравины и Тарелкины.

Да и во имя чего? Во имя справедливости? Ради того, «чтоб не осудить безграмотных женщин к тяжкому наказанию по показаниям, никем за них не зарукоприкладствованных?»

В такой бескорыстный и благородный мотив деятелей эпохи крепостничества и противников отмены крепостного строя, чиновников, привыкших к неправде и притерпевшихся к страданиям невинных, мы не берим.

Основным свойством этих людей было равнодушие к человеческому страданию,

«Кому из них дело, что вы из хлопот ваших умереть можете?» — резонно спрашивал Тарелкин Муромского.

Их действия имеют иную мотивацию.

«Ну, вы сделайте опыт: крикните в окно, что, мол, я деньги даю, посмотрим, что будет».

Правда, это мотивы действий не Панина и Хотяинцева, а их подчиненных.

«Знатные бары не берут». Но, с другой стороны: «На что им брать-то? Да за что им брать-то?»

Ведь не они дело сделают, а только их именем сделается. Панин, как известно, выведен в пьесе под именем «князя». Он человек справедливый, нелицеприятен и права такого, что перед ним все равны.

Но это нелицеприятие — от полного равнодушия. Поэтому равны все перед ним, как перед хлопущей мухи.

«Ведь это только вам так кажется, — раскрывает Тарелкин механику высших сил, — а, в сущности, все одно, да то же».

«Пятьсот просителей — и все тот же звон».

«Вы ему записку — он примет, да чиновнику и

передаст; вам поклон, значит — конечно, к другому — а их до полусотни. У всякого записка — воз; да по почте получен другой; да всяких дел — третий; да у него в час заседание; да комитетов — два; да званый обед на набережной, да вечером опера, да после бал, да в голове уж вот что, — так он вашу просьбу с прочими отдаст секретарю: рассмотрите, мол, и доложите... Понимаете... А секретарь передаст сделать справки мне, а я отдам столоначальнику. Вот вы туда же и попали».

С высоты кавалерий, да власти, да чиновничья ему ничего не видать. Вот и пишут за него и все дела вершат Варравин да Тарелкин.

Аргументация Панина носит такой же характер, как и Хотяинцева. Не указывая прямо на Кобылина, как виновника убийства, записка министра идет по проторенному пути противоречий в показаниях, и доводы в общем сводятся к тому же: 1. Сознание крестных неправдоподобно. 2. Местом убийства не могла быть квартира Деманш в доме Гудовича. 3. Следствие велось плохо. 4. С точки зрения формальных доказательств, совершенного доказательства чьей-либо виновности нет, и дело должно быть направлено к переследованию.

В одном спорить с запиской мы не будем: что следствие велось безобразно.

Об этом писал тот же Лебедев в своем дневнике.

«Дело это (об убийстве Деманш) поставлено Илличевским в самое затруднительное положение. Вопрос идет о том, назначить ли новое следствие или решить дело по показаниям людей. *Я не ожидаю ничего от нового следствия*».

Оставим без возражений аргументацию Панина. Возражением ему является вся наша работа. Отметим только в виде образца и курьеза, что, говоря, например, о мотивах убийства, записка Панина опровергает показание Егорова и Козьмина, что Деманш убита ими за жестокое обращение, — ссылкой

на Сухово-Кобылина, который защищал память покойной, отрицая ее жестокость.

Таковыми изворотами и хитросплетениями полна вся записка. Итак, к особым мнениям, высказавшимся против Кобылина, придется подойти с той же меркой, что и ко всем следственным действиям.

Записки в виде особых мнений, предложений и проектов определений писались все с той же целью вымогательства с Кобылина крупных взяток.

Потому что тем «лицам», которые состояли при Хотьинцеве и Панине, «и сапожки по их званию лаковые, и перчаточки по их званию беленькие, и суконце тоненькое английское, и извозчик первый сорт, и театры им по вкусу, и к актрисам они расположение имеют, а вотчин у них нет. А государева жалования на это не хватает; на государево жалованье такой человек утробу свою не нарадует».

«Вот такому-то лицу, — говорит Сидоров Муромскому, — будь хоть оно три лица, и все-таки вы, сударь, оброчная статья».

Но пусть Панин и не писал своего предложения. Содержание его он знал, с ним был согласен и за него нес ответственность.

Это вызвало любопытные последствия.

В 1853 году Панин в качестве управляющего министерством юстиции и, следовательно, как генерал-прокурор, дал консультацию Сенату и Государственному совету о направлении дела к рассмотрению («переследованию» по старинной терминологии). С ним согласились. Но Чрезвычайная следственная комиссия, утвержденная по высочайшему повелению для этой цели, ничего не добыла. Несомненно, это был удар по его служебному авторитету. Одно из двух: либо он сначала был неправ в своей консультации, либо его следственные органы никуда не го-

дятся. И в том и в другом случае положение складывалось не в его пользу.

Следствие поступает в суды, и первые две инстанции должны оправдать Кобылина. Улик против него нет никаких. Нет ни свидетельских показаний, ни документов, ни признания.

Одни крововидные пятна, которым к концу следствия уже все знают цену, и ссылка на них невозможна даже для дореформенного крючкотворства.

Сенат составляет проект определения по делу. Мы отметили выше, что проект препровождался на предварительное рассмотрение к Панину. И оттуда вернулся с предложением оставить Кобылина в подозрении. Но дело тянулось уже семь лет — не к чести Панина и его ведомства.

А главное, Кобылин был уж не тот. 26 ноября 1855 года состоялось первое представление «Свадьбы Кречинского» в Московском Малом театре.

И Кобылин записал в своем дневнике от 18 ноября 1855 года:

«Был у Закревского, у Шумского. Первые вести — о решении дела и о комедии. Странная судьба — в то время, как, с одной стороны, пьеса моя мало-помалу становится в ряд замечательных произведений литературы, возбуждая всеобщее внимание, подлейшая чернь нашей стороны, *бессовестные писаки судебного глума, собираются ордою клеймить мое имя законом охраняемой клеветой*».

Речь идет, конечно, о проекте Сената — оставить Кобылина в подозрении.

Подтверждение этому в ближайшей записи дневника:

«Декабрь 11. Воскресенье.

«Утром явился Соколов и доставил копию решения. Верить ли глазам? Так сбывается непостижимейшее и невозможнейшее в жизни. Два великих события рядом — одно нежданно-негаданно надевает

мне венец лавровый, другое бессовестной рукой надевает терновый и говорит — ессе homo¹. Против того и другого я равнодушен. Что я вытерпел, выжил или страшно много во мне силы?»

Приговор «оставить в подозрении» посягал только на честь Кобылина. Это дало ему повод противопоставить славу, обретенную его комедией на сцене Малого театра, — судебнo-приказному позорищу.

Но дело этим не закончилось. Снова начались согласования предложений, консультации. Тогда, выведенная из последнего терпения семилетней волокитой, мать писателя обратилась к императрице с письменной просьбой положить конец делу. Письма этого в нашем распоряжении нет. Но самый факт рассказан, Кобылиным в дневнике и повторен его матерью в письме к Петрово-Соловово.

«Петербург. 1856 год, май, 12. Суббота.»

Утро сидели вместе с маменькой. В двенадцать часов доложили, что директор департамента Топильский желает ее видеть. Его приняли — он объявил, что министр юстиции желает ее видеть и будет сам по окончании заседания в Государственном совете. Я бросился сказать Голицыным, и остались дожидаться министра. Были оба в волнении. Условились, чтобы маменька начала говорить о деле, а я буду ей помогать, и, тем самым, войду в разговор. В пять часов министр приехал. Вот его слова:

«Сударыня, вы писали ее величеству?» — «Да». — «Императрица переслала мне ваше письмо с приказанием, чтоб дело было закончено... Оно будет закончено... и чтоб я принял во внимание подробности этого дела, они будут приняты во внимание. А теперь, сударыня, имеете ли вы что-нибудь к этому прибавить? — я готов вас слушать».

¹ Ессе homo — известная евангельская сцена: с этими словами: «Се человек», Пилат указывает на Христа окружающим еврейским церковникам.

«Граф, вот мой сын»...

Я раскланялся. Граф тогда встал и раскланялся и повторил мне те же слова».

В описанной сцене никоим образом нельзя видеть подтверждения вины Сухово-Кобылиным.

Она изображена с глубокой искренностью и волнением невинного человека.

Если бы в письме к государыне и визите министра Кобылин видел хоть что-либо, компрометирующее его положение в процессе, он, конечно, этой сцены не записал бы. Вообще, в отношении к дневнику Кобылина надо принять одно из двух: либо Кобылин писал дневник для себя, искренно и честно излагая свои переживания и события повседневной жизни, либо он писал его нарочито, со специальными целями изобразить себя перед будущим исследователем невинной жертвой чиновничьего лихоимства и человеческой клеветы.

Если он писал правду, значит, правда все то, что он сообщал о своих страданиях, о муках невинного человека, у которого убили любимую женщину, да еще глумятся над ним семь лет.

Если бы он хотел писать дневник для самооправдания в глазах будущего читателя, он не поместил бы в нем ничего, что могло бы бросить хоть какую-либо тень на него.

И в самом деле. Что произошло?

Мать Кобылина обратилась с письмом к императрице. Письмо это пока не найдено, но содержание его и так легко восстановить.

Очевидно, она писала, как женщина к женщине. Просила «*terminer l'affaire*», то есть чтоб дело было, наконец, закончено.

После семилетних мытарств желание вполне законное. И это выражение «*terminer l'affaire*» вовсе не значит «оправдать Кобылина», а именно «положить конец волоките». Здесь характерно и ценно, что Кобылины не обращаются к государю о прекра-

щении дела в порядке аболиции¹, а именно просят императрицу просто призвать к порядку зарвавшихся чиновников.

Императрица не передает этой просьбы мужу — императору, а пересылает письмо министру с приказанием прекратить, наконец, волокиту.

Другими словами — дело предоставляется законному порядку с тем, чтоб закон этот, каков он ни есть, был соблюден. Очевидно, в письме была жалоба и на то, что министр ни разу не дал себе труда выслушать обвиняемого и принять во внимание все обстоятельства, хотя и мелочные, но которые в таком деле должны иметь громадное значение (*prendre en considération les détails de cette affaire*).

Министр был поставлен в положение, при котором, наконец, и на него нашлась управа. Он оказался под контролем и притом таким, который мог стоить ему портфеля. Оказалось, что нельзя обращаться с знаменитым писателем и богатым дворянином так, как с деревенским медведем, вроде Муромского из «Дела».

Панин был побежден. Его заключение о переследовании провалилось, потому что новая следственная комиссия не собрала никаких новых данных, уличающих Кобылина. Само дело угрожающе затянулось, хотя было высочайшее повеление разрешить его вне очереди во всех инстанциях. По согласованию с ним Сенат попытался составить проект определения об оставлении Кобылина в подозрении, но сама формула отживала свой век, и ничье правосознание этим приговором удовлетворено быть не могло. Да и осудить крепостных, оставив Кобылина в подозрении, значило напустить туману вместо того, чтоб дело разъяснить. А если делом и личностью

¹ Право аболции — право, принадлежащее носителю верховной власти не только прощать осужденных преступников, но и прекращать любое дело в стадии следствия.

Кобылина заинтересовался двор, -- игра становилась опасной.

И все-таки министр тянул дело после монаршего приказания еще полтора года.

На вопрос о виновности Кобылина ответ требовался четкий и определенный. И министр нашел выход из положения.

Он лично явился к Кобылиным выслушать их объяснения и жалобы на притеснения, чинимые его следователями, и этим демонстрируя свою готовность выполнить волю царицы и свое беспристрастие, а также готовность принять во внимание все обстоятельства дела.

Но он внес неожиданное, никогда никому не приходившее в голову, предложение: оправдать не только Кобылина, но и сознавшихся крепостных.

Внешне это удовлетворяло общее чувство справедливости и было даже последовательно.

Он ведь раньше только то и утверждал, что следствие страдает недостатками и не обнаружило действительных виновников.

Так вот и в приговоре так же. Вина Кобылина не доказана, но зато не доказана и вина крепостных.

А кто виноват: один, ты, господи, все!

Но министр, разумеется, понимал, что такое решение не только не рассеивает тумана, но еще больше запутывает положение Кобылина.

Отныне ему оправдываться негде и не перед кем. Ход был ловкий до подлости, но понять его и разоблачить не так уж трудно.

В заключение несколько слов о том судебном деятеле, который, судя по его словам, «опасался произнести решительный приговор к тяжкому наказанию над лицами, в виновности которых законного убеждения не представляется». Это был граф Виктор Никитич Панин, управляющий Министерством юстиции, а впоследствии председатель редакционных комиссий, подготовлявших крестьянскую реформу.

Назначение его на этот последний пост вызвало в «Колоколе» Герцена знаменитую статью, одетую в траурную рамку. Герцен сначала не верил ошеломляющей новости:

«Как! Панин, Виктор Панин, длинный, сумасшедший, который формализмом убил остаток юридической жизни в России, — ха-ха-ха. Это мистификация».

А потом, убедившись, что дореформенная Россия продолжала быть страной «неограниченных возможностей», Герцен призывал членов редакционных комиссий подать в отставку.

Даже либеральничавшие аристократы из высшего общества и придворных кругов не могли скрыть от Александра II своего удивления по этому поводу.

Но царь — освободитель дворянства от крестьянской революции — с наивным цинизмом говорил великой княгине Елене Павловне и Н. А. Милютину:

«Вы не знаете характера графа Панина. У него во все нет убеждений и будет только одна забота угоризить мне».

Сам Панин не отрицал, что его служебная философия именно такова и есть.

Он сказал однажды: «По долгу верноподданнической присяги я считал себя обязанным, прежде всего, узнавать взгляд государя. Если государь смотрит на дело иначе, чем я, я долгом считал тотчас отступить от своих убеждений и действовать даже совершенно наперекор им, с тою же и даже большей энергией, как если бы я руководствовался моими собственными убеждениями».

«Это самая откровенная защита подлости, какую я когда-либо слышал», — заметил адмирал Грейг, присутствовавший при этой беседе.

Но прав историк Дживелегов, когда он вносит поправку в понимание характера Панина.

«Это не значит еще, что у Панина не было убеждений. Этот деревянный человек имел их и очень крепкие. И было бы вещью совершенно противоестественной, чтобы их не было у помещика, владеющего огромными поместьями с населением в 21 000 крепостных душ и получающего годовой доход до 136 000 руб., весь проживаемый. Такие убеждения, классовые убеждения крепостника-агрария, не искоренимы по своей природе.

В редакционные комиссии он пошел с плотоядной радостью, что ему в руки попадает вековая тяжба между помещиками и крестьянами, и что у него будет возможность нажать всей своей увесистой пятерней на колеблющиеся весы крестьянско-помещичьих отношений».

Было известно, что этот «кнутофил» и «жестокий буквоед» однажды не согласился дать ход сенатскому ходатайству о замене малолетнему преступнику ста ударов розгами — пятьюдесятью, признав, что уже предшествовавшей заменой малолетнему преступнику плетей розгами чаша милосердия была переполнена до края.

Редко встречается историческая фигура, относительно которой современники разных классов и лагерей отзываются с таким единодушным отвращением, как о графе Панине.

Вот как рисует его Джаншиев: «буквоед, законник, формалист до мозга костей, самоуверенный бюрократ, рутинер, вдобавок педагог, мизантроп, брюзга и деспот-самодур, с которым личные отношения были крайне неприятны».

Дятвелегов повторяет почти дословно те же эпитеты: «бездарный, элементарно не умный, едва ли вполне нормальный человек, несчетно богатый, но алчный и холодный. жестокий помещик, дикая фигура».

У себя в министерстве это был сатрап злой, придирчивый, беспощадный, холодный. Он требовал

не просто подчинения, а своего рода самоотречения.

Раз он приказал, хотя бы приказ был самый желанный, он должен быть исполнен в точности.

Однажды нужно было выдать деньги чиновнику по фамилии Деноткин. Панин по бестолковости написал: выдать Демонтовичу. И ни за что не хотел изменить решение. Наконец, его уломали. Он согласился, положив такую, поистине умилительную, резолюцию: «Деноткин — то же, что Демонтович. Выдать Деноткину по ходатайству Демонтовича». (Н. П. Семенов.)

В другой раз он перепутал фамилии и разрешил отпуск не тому чиновнику, который об этом просил, а другому, и ни за что не согласился изменить решение.

Анекдоты, ходившие о нем, в сумме давали нечто положительно устрашающее.

«Устрашала, прежде всего, стихийная глупость, водворенная на высоком посту и принявшая характер победоносный», — отмечает Дживелегов.

Людей Панин не любил, людского говора не выносил.

Попугаи поречистее, говорившие, как люди, и люди, вроде Топильского, повторявшие его слова, как попугаи, — вот единственное общество этого нелюбимого брюзги.

«Все действия Панина определялись тем, с какой ноги он встал, какое у него было пищеварение», — свидетельствует хорошо знавший его Семенов.

Гордость происхождения заставила Панина считать лицо не его круга простолюдином, а людей низших он признавал, как бы за существа другого побурократом».

Недаром его звали «брамином» —

Мы восприсвели забытые черты этого памятного современникам государственного деятеля, по возможности, чужими словами.

Впрочем, его собственные слова не внесут диссонанса в общий хор:

«Я всю жизнь подписывал вещи, несогласные с моими убеждениями», — гордо утверждал этот самодовольный маниак.

Как известно, он сам давал взятки чиновникам министерства юстиции по собственным делам.

Ссылка на консультацию Панина в подтверждение обвинительной версии против Сухово-Кобылина и в защиту крепостных слуг его — может только скомпрометировать ту позицию, на которой стоял Панин.

ПОСЛЕ УБИЙСТВА

На этом, собственно говоря, анализ улик, добытых следствием, можно было бы окончить. Но современный исследователь не связан рамками процессуального материала.

Он обладает более широкими возможностями, чем следователи и судьи, непосредственно собиравшие доказательства или обсуждавшие их.

Не имея возможности проверить весь материал предварительного следствия судебными методами, современный исследователь зато может выйти за пределы процессуального материала.

И хотя современный исследователь не имеет непосредственных впечатлений от участников дела, он не видит лиц, не слышит слов, не может задавать вопросов и оценивать ответов, но он может услышать и увидеть то, что обычно скрывается в судебной борьбе.

Со времени убийства Деманш прошло восемьдесят пять лет.

Страсти, кипевшие вокруг этого дела, давно улеглись. Мы не судим убийц несчастной француженки, а обсуждаем судебно-исторический эпизод, как предпосылку для научного понимания творчества великого драматурга.

Мы заинтересованы только в одном — в правде, какова бы она ни была.

Кроме выцветших томов старинного производства, мы можем раскрыть дневники, прочитать письма, вслушаться в рассказы и воспоминания участников дела, их родных и близких. Наконец, мы можем обобщить каждый последующий жизненный шаг Кобылина. А прожил он после процесса сорок пять лет.

И прибавив к следственно-процессуальному материалу мемуарный, бытовой и психологический, прочтя его дневники и письма, познакомившись с отзывами и воспоминаниями современников, мы будем иметь право поставить окончательный вопрос: много ли в этих дополнительных сведениях доказательств, уличающих Кобылина?

Ответ будет один — ничего.

Феоктистов видел Кобылина в первые дни после катастрофы. Рембеллинский прожил с ним рядом, как сосед по имению, лет тридцать, и оба они утверждают, что везде и всегда Кобылин с негодованием отвергал малейшее подозрение его в убийстве.

Так что ни в прямой, ни в скрытой форме Кобылин не признавал себя участником преступления.

Но обвинители пытаются в поведении Кобылина после убийства найти опору для обвинительной версии.

Проверим и это.

РАННЯЯ ТРЕВОГА

Еще обер-полицмейстеру Лужину показалась подозрительной ранняя тревога Сухово-Кобылина об исчезновении любовницы.

Тот факт, что Кобылин явился к нему с просьбой принять меры к отысканию француженки, которая ушла и не возвращалась домой, послужил даже поводом к обыску в старом флителе по Страстному бульвару. Было ли у Кобылина основание тревожиться?

8 ноября, утром, Кобылин пришел на квартиру Деманш. От слуг он узнал, что она ушла в десять часов вечера и не возвращалась.

Между тем 7-го ночью, придя домой от Нарышкиных, он застал от нее записку с вопросом, готовить ли обед. Кроме того, Деманш не только вела его домашнее хозяйство, она же и участвовала в его делах, на ее имя была торговля.

Как же могло случиться, что она уехала на день другой и не предупредила об этом?

А кто же закажет завтрак и обед? Кто позаботится о провизии на следующий день, кто распорядится, чтобы все было во-время приготовлено и поделено?

Правда, обедать 8-го числа Кобылин предполагал у князя Вреде, а не дома. Но Симон-Деманш этого еще знать не могла. Об этом он только собирался ее осведомить.

Обвинители, опираясь на слова горничной Пелагеи Алексеевой, утверждают, что бывали случаи, когда Деманш гостила у Киберов по нескольку дней, не предупреждая Кобылина, и он не тревожился.

Из показания жены купца Кибер мы знаем, что Деманш всего-то гостила у них раза два-три за все время знакомства.

А в письмах, приобщенных к делу, есть документальное доказательство того, что Деманш, уезжая, предупреждала об этом Кобылина.

Коротенькая записка — «Любезный друг, я уезжаю к Кибер» — лучше самых подробных рассуждений опровергает слова Алексеевой.

Да и в самом деле, откуда неграмотная горничная могла знать, предупреждала ли барина его фаворитка об отъезде или нет?

Какую цену имеет показание крепостной, которая и по-русски не разобрала бы записки, а тут все время шла французская переписка?

Как мы видели, у Кобылина и Деманш обмен за-

писками и письмами по всяким поводам был привычкой и системой.

В самый день смерти Деманш была озабочена хозяйственными распоряжениями, спрашивала о них запиской и ждала ответа.

Если Деманш без всякого видимого повода бросила хозяйство, дела и дом, уехала с вечера и до утра не возвращалась, естественно было встревожиться и заподозрить недоброе.

ПОИСКИ

В течение дня Кобылин еще владел собой и спрашивался со своим душевным состоянием.

Приходил через каждый час-другой на квартиру любовницы, чтоб узнать, не вернулась ли она, но все-таки в четыре часа пошел на званый обед к князю Вреде.

Вечером тревога стала нарастать. Часам к одиннадцати волнение достигло такой степени, что Кобылин потерял душевное равновесие. К тому же Козьмин, посланный на всякий случай верхом в Хорошово к Киберам, вернулся с печальным известием, что Деманш и там нет.

Тогда Кобылин, *в тех же санях, в которых Деманш каталась накануне*, сам начал поиски.

Из рассказа Козьмина видно, как метался в тревоге несчастный любовник.

Сначала один доехал в дом Гудовича; пробыв немного в квартире Деманш, отправился домой, взял с собой зятя Петрово-Соловово и вернулся в Брюсовский пер.

Оттуда — на Тверской бульвар, в дом обер-полицейстера.

Очевидно, отчаявшись дожидаться ее, решил объявить полиции об исчезновении своей подруги и просить, чтоб начались официальные розыски.

Обер-полицмейстера он не застал дома и поехал искать его по клубам, предварительно заехав к себе домой на полчаса.

От привратника английского клуба он узнал, что полицмейстера нет, и, не поворачивая лошади, поехал в купеческое собрание.

Наконец, там он нашел обер-полицмейстера и смог сообщить ему о беде.

Но, не удовлетворившись передачей розысков полиции, он продолжал и свои.

Опять поехал на квартиру Деманш, оттуда снова к себе — и так раза три.

Потом, вместе с Солововым, отправился на Петровское шоссе, за Тверскую заставу.

Очевидно, он проверял крайнее предположение, что Деманш поехала кататься и по дороге ограблена и убита наемным извозчиком.

Короткая беседа с будочником выяснила тщетность его поисков, и *под утро* Кобылин вернулся домой.

Как видим, тревога Кобылина была своевременна, проявление ее вполне естественно.

Но обвинители Кобылина, Хотяинцев и Панин, или, вернее, те взяточники, которые списали за них особые мнения и консультации, относятся к душевному состоянию драматурга с ироническим недоверием.

Им непонятно, «что Кобылин, часа через три по совершении убийства, приходил в квартиру отыскивать следы Деманш и продолжал поиски с таким усердием, с такой тоскливостью и нетерпением, что в течение целого дня и ночи приезжал в квартиру Деманш раз шесть и оставался в квартире один и вместе с зятем Петрово-Солововым. Однако обоими ничего сомнительного не замечено».

А что могли они заметить?

Деманш в своей квартире была только задушена. Горло ее было перерезано в поле. Поэтому никаких

кровавых следов и быть не могло. Следы борьбы могли быть только на постели, которую убрать и привести в обычный вид было недолго. Нетрудно было и привести в порядок ее комнату привычным рукам двух ее горничных. Шкафы, комод и шифоньер были заперты, а ключи находились в кармане у покойной.

Так что ни внешнего, ни внутреннего беспорядка и обнаружить было нельзя.

В пользу Кобылина свидетельствует тот бесспорный факт, что, не имея ключей в течение целого дня 8-го числа, Кобылин так и не открывал ни ящиков, ни шкафов до прихода полиции.

И все-таки сенатор и министр предполагали у Кобылина симуляцию.

Но в таком случае, для чего и перед кем разыгрывал Кобылин всю эту сложную сцену? Для чего укладывал бы он свое и без того нелегкое положение?

Конечно, при желании все может быть истолковано против заподозренного человека.

Если рыдал или возмущался, значит лицемерил. Если со спокойным достоинством отрицал свою вину, значит хорошо владел собой. Если предпринимал тревожные поиски, значит симулировал. Если б спокойно сидел дома, спросили б, почему не встретился.

Почва для недоверия и произвольных объяснений необычайно богата, но на такой почве можно вырастить все, что захочется.

Научное обращение с таким материалом должно быть совершенно иным.

Естественные душевные движения Кобылина мы приняли такими, какими они были на самом деле. И до тех пор, пока обвинители не докажут, что эти переживания и действия объективно невозможны, мы не выключим их из единой логической цепи.

А сомнений и подозрений нам мало.

Можно ли симулировать смятенное душевное состояние?

Должно быть, можно. Но в отношении Кобылина это не доказано. Исчезла близкая ему в течение десяти лет женщина, он встревожился, предпринял поиски, судорожно заметался, хотя, по возможности, и пытался владеть собой. К ночи тревога стала нарастать, 'перехлестнула его силы, он сообщил полиции о случившемся для официальных розысков, а сам всю ночь, до утра, не видимый никем, кроме зятя и кучера, который в его глазах и человеком не был, мечется с места на место и только к утру без всякой надежды, обессиленный, затихает.

Все это просто и естественно. Никакой загадки его поведение не составляет.

У беспристрастных современников было ощущение полной искренности Кобылина.

«Передо мной возникает, — пишет Феоктистов, — его фигура в те дни, когда было обнаружено преступление. Нельзя представить себе, какое страшное отчаяние овладело им при известии о насильственной смерти женщины, которая в течение многих лет питала к нему безграничную преданность. Этот суровый человек рыдал, как ребенок, непрерывно повторялись у него истерические припадки, он говорил только о ней и с таким выражением горя и любви, что невозможно было заподозрить его искренности. Неужели все это была только комедия, которую он с утра до ночи разыгрывал перед матерью, сестрами и зятем? Когда его потребовали к допросу, когда прямо высказали ему, что его считают убийцей, он отнесся к этому с негодованием и яростью, не свойственными преступнику. Но если даже заподозрить его в притворстве, хотя самый лучший актер не мог с таким искусством в продолжение столько времени разыгрывать роль, то что сказать о На-

рышкиной? С того дня, когда огласилась весть об убийстве, она не покидала Кобылина, находилась в обществе его родственников и ни одним словом, ни одним мускулом своего лица не обнаружила, что была сколько-нибудь знакома с этим делом. Неужели и она могла с таким поразительным самообладанием носить личину?»

Конечно, если б обвинительная версия была верна, Нарышкина не проявляла бы к Кобылину такого исключительного и открытого внимания.

Между тем, она делала больше, чем внемнил Феоктистов. Нарышкина заботилась о погребении, она писала аббату Кудер, прося не допускать Кобылина к открытому гробу.

Она обратилась к французскому консулу с просьбой принять меры к охране имущества покойной и участвовать в печальном обряде.

К своему удивлению, она узнала, что Деманш стала русской подданной.

Очевидно, это нужно было для торговых дел в интересах Кобылиных.

Наконец, Нарышкина, должно быть, в связи с оглаской ее отношений к Кобылину, расходится с мужем, чтоб никогда больше с ним не встретиться, и уезжает за границу.

Поведение Нарышкиной легко объяснить самообладанием опытной светской львицы. Но какую научную ценность имеет такое объяснение?

Блестящий образец того, как любое душевное проявление (состояние) можно истолковать против заподозренного, представляет собою комментарий Л. Гроссмана к воспоминаниям Феоктистова.

Отрицать интенсивность и силу душевного потрясения, пережитого Кобылиным, нельзя. Феоктистов свидетельствует, что отчаяние Кобылина производило впечатление полной искренности.

Что возразить против этого? Объяснение, хотя и своеобразное, а вот все-таки находится.

«Помимо позора и грозного возмездия, ожидавшего его, Сухово-Кобылин не мог не быть искренно потрясенным кровавым эпилогом ового романа, неожиданно раскрывшим в родовитом, культурнейшем дворянине, считавшем себя джентльменом и рыцарем, *инстинкт и нравы темных подонков*», — решает Л. Гроссман (там же, стр. 100).

Ну — куда годится такое объяснение?

В нем все неверно. И, главное, все — искусственно.

Возмездия, или, проще говоря, наказания по суду, конечно, мог бояться и Кобылин.

Но не такого он был характера, чтоб придти от этого в глубокое отчаяние. Наоборот, если б он страшился кары, он всячески скрывал бы и подавлял свои переживания.

А из описания, данного Феоктистовым, чувствуется, что Кобылин свободно изливал свою скорбь, не стыдился ее. Но, конечно, и не афишировал. Его драма протекала в тесном кругу близких людей — на глазах матери и сестер. А Феоктистов, репетитор детей одной из них, был случайно близок семье и мог наблюдать Кобылина.

Так что и притворяться-то Кобылину было не перед кем.

Судя по бурным проявлениям его горя и отчаяния, по тому, что он открыто и не сдерживая себя рыдал, хотя бы и перед близкими, надо думать, что горе его было такого характера, что ему, мужчине, было не стыдно убиваться и придти в отчаяние.

Иначе, думается, этот сильный человек не дал бы себе воли.

Вряд ли его можно считать способным на самообладание меньшее, чем у Нарышкиной.

Но главное в том, что никакого позора — с точки зрения того времени — в убийстве любовницы под влиянием внезапного гнева не было.

Особенно, если это произошло в пылу защиты другой женщины от оскорбления.

Какой дворянин в XVIII—XIX веке не способен был убить?

Дед Пушкина самым феодальным образом повесил учителя на воротах своей усадьбы.

Предок Кобылина умертвил капельмейстера, заподозренного в нежных чувствах к фаворитке барина.

И никто из них не чувствовал себя опозоренным. А потомки их с эпическим спокойствием повествуют об этом, не боясь запятнать чистоту родового имени.

Правда, Симон-Деманш не крепостная, но в глазах ее собственника и повелителя она принадлежит ему так же, как и «синяя даль его полей».

Убийство в запальчивости и раздражении вовсе не является исключительным свойством «темных подонков».

На такое убийство может быть способен просто невоздержанный человек при определенных условиях.

Глубокое отчаяние, которое в первые дни охватило Кобылина, возникло вовсе не оттого, что вдруг перед Кобылиным раскрылись бездны его собственной души, о которых он не подозревал. Инстинкты и нравы темных подонков здесь не при чем.

Скорее может идти речь об инстинктах и нравах господствовавшего в государстве сословия. А ему все можно. Засечь крепостного, повесить учителя на воротах своего замка, убить неверную женщину или оскорбителя, — все это не составляло не только преступления, но и большого греха. Дворянину и мужчине многое разрешалось в тех областях, где сословная и половая мораль делила общество на две неравноправные части. И если бы Сухово-Кобылин действительно совершил кровавую расправу на

непокорной любовницей, — ни окрывать, ни бояться позора, ни особенно рыдать ему было бы не от чего.

Быть может, даже наоборот: в этом можно было бы усмотреть некое грозное молодечество.

За два-три десятилетия до Кобылина этим отличались байронические дворяне, Онегины и Печорины, столь частые в ту эпоху, что гениальный художник прямо назвал их «героями нашего времени». Им чужды угрызения совести, и свои, зачастую жестокие, поступки они отнюдь не склонны объяснять инстинктами и нравами темных подонков, хотя у каждого из них на кровавом счету есть напрасные и ненужные жертвы (Ленский, Грушницкий).

О САВВИНЕ КАРПОВЕ

8 ноября Кобылин просил зятя, Петрово-Соловово, послать людей на квартиру Деманш, чтобы взять оттуда шкаф, комод и кровать.

Соловово послал четырех человек: Саввина Карпова — столяра, захватившего с собой стамеску, молоток, клещи и отвертку, дворника Пахомова, камердинера Лукьянова и кучера Козьмина.

Вот эту экспедицию взяточники из Чрезвычайной следственной комиссии и Сената сочли уликой против Кобылина.

Л. Гроссман также заносит этот факт в пассив Кобылина.

«В первый же день своих тревожных розысков Сухово-Кобылин предпринял такой энергичный шаг, как перевозку к себе громоздкой мебели исчезнувшей женщины (в шкафу и комодѣ хранились его письма к погибшей). (Там же, стр. 114.)

Итак, целью посылки Саввина Карпова на квартиру Деманш Л. Гроссман считает желание добыть письма, то есть уничтожить следы.

Допустим, что в шкафу и комодѣ были письма. Но в кровати их не было. Для чего же было отдавать приказание привезти и кровать?

Саввин Карпов был направлен 8 ноября, когда еще и следствие не начиналось, и, при желании Сухово-Кобылин мог пойти с ним с глазу на глаз и взломать шкафы и ящики и взять из них все, что барину бы захотелось.

Для чего было предпринимать такой сложный и явный шаг, как посылка четырех людей, да еще через посредство зятя, чтоб в присутствии всех дворовых и соседей, которые не могли не интересоваться квартирой исчезнувшей француженки, перетаскивать тяжелую и громоздкую мебель?

Кто же так *скрывает* следы, кто так *уничтожает* улики?

Не было никакого смысла предпринимать такой сложный и явный шаг еще по одной, достаточно серьезной причине.

В письмах, которые якобы стремился изъять Кобылин из шкафа и комода Деманш и которые лежат в деле, как объявил официальный переводчик, «не содержится ничего такого, что могло бы клониться к объяснению хотя и не важных обстоятельств, сопровождавших убийство Деманш».

Мы знакомы с этими письмами и можем только присоединиться к заключению переводчика¹.

Так обвиняют Кобылина.

Посылка Саввина Карпова была вполне разумна и обоснована. И, конечно, Кобылин не намеревался так неуклюже и явственно уничтожить какие-либо следы преступления, хотя бы и чужого.

Дело было проще.

Так как убийцы положили ключи в карман Симон-Деманш, а в течение 8-го числа, приходя не-

¹ Часть писем помещена в приложениях, стр. 335—348.

сколько раз в день на квартиру исчезнувшей подруги, Кобылин ключей отыскать не мог, он и распорядился, на случай прихода полиции, обеспечить осмотр ящичков своими людьми и, главное, столяром, — «дабы не вздумали ломать шкафы, шифоньеры и ящички и чтоб не испортили дорогую мебель», как объяснил он впоследствии в своих показаниях.

Только будучи далек от мысли, что он в какой-либо мере может быть привлечен к следствию по делу об убийстве в качестве обвиняемого, решил бы Кобылин послать в квартиру Деманш за ее вещами (вернее, за своими), которые имели в его глазах, прежде всего, интимную ценность (например, кровать покойной).

Но уж таково было душевное состояние Кобылина в первые дни после убийства. Он всецело отдался своему горю и не сделал ни одного шага к тому, чтоб поставить себя в выгодное положение перед следователями.

Только этим и можно объяснить кровавые следы, которые другая, более внимательная рука уничтожила бы любым способом до неузнаваемости; только этим и можно объяснить разноречие в показаниях слуг, которым нетрудно было внушить такую простую мысль, что барина с девяти часов вечера дома не было, «а где был, не знаем»; только этим и можно объяснить поведение Кобылина, его раннюю тревогу, его тщетные поиски исчезнувшей подруги, посылку Сяввина Карпова, да и вообще все его поведение после убийства.

Кобылин держал себя после катастрофы не только как человек невинный, но и как человек, не думающий о себе и поэтому не защищающийся.

Эту беззащитность Кобылина, конечно, не преминули использовать опытные и хладнокровные дельцы из дореформенных канцелярий.

В дневнике Кобылина есть простые и естественные объяснения тех страданий, которые охватили его с первых же дней после смерти Деманш.

«Не ценил я тебя, когда ты проникала все мое существо, а теперь, когда вокруг меня страшно пусто, знаю я твою цену и свято храню воспоминания».

Разве он один таков. Разве не типично для людей это позднее осознание счастья, когда оно потеряно.

«Я и сам не знал, что так любил ее», — признается несчастный драматург; и какие же основания ему не верить? Записи его дневника полны трогательных и ласковых слов по адресу его покойной подруги. Образ ее окутан ореолом мученичества. Ежегодно 7 ноября он отмечает «день моей милой Луизы».

Можно ли допустить, что Кобылин лгал в дневнике?

Отвлеченно говоря, такое предположение возможно. Но в отношении Кобылина оно не доказано.

Легко понять, что в дневнике — рисуются, что события воспринимаются и воспроизводятся так, как это выгоднее для автора дневника.

Но без всякой цели в дневниках, записках и мемуарах фактов не искажают.

Потому-то для историка так ценны воспоминания, записки и дневники, что из них мы зачастую — *против воли авторов* — узнаем неожиданную правду о событиях описываемой ими эпохи и среды.

И часто, читая записки приверженцев и защитников былого строя, мы именно у них находим впечатляющий и яркий обличительный материал.

Достаточно ознакомиться с воспоминаниями Витте, Победоносцева, Суворина, наконец, того же Февористова, чтобы исполниться революционным гневом против дворянско-буржуазного режима.

Поэтому, чтоб опровергнуть трогательные и мудрые записи дневника Кобылина, надо иметь бесспорные, непоколебимые доказательства его виновности.

Нельзя отделаться от них голословным и безответственным — *не верю*.

Ложь не бывает бесцельной, даже если она негритична.

Естественнее было бы *умолчать* о том, что хочется скрыть или исказить. Особенно трудно понять ложь длительную и систематическую.

Уж если Кобылин в дневнике лгал, то, очевидно, с явной и прямой целью обмануть будущего историка и биографа.

Но тогда — для чего он записывал почти со стенографической точностью визит к нему министра юстиции и весь диалог с ним?

Посещение министра и его готовность выслушать, наконец, и обвиняемого — это была громадная моральная победа писателя над холодным сухим бюрократом, который затянулся в параграфы и обряды бумажного производства, а сам фактически был игрушкой в руках Варравинных и подписывал их бесчестную казуистику, не видя за бумагами живых людей и их страдания.

Эту свою победу Кобылин и запечатлел взволнованно и радостно (даже побегал сказать Голицыным).

И было чему радоваться. Шутка ли, — он самого графа Панина поставил на колени!

Самое придиричливое чтение кобылинского дневника не дает возможности заподозрить его во лжи.

Неужели ложью были противопоставления — Закревский и Шумский, лавровый венок и терновый венец, — жизнь, судебное дело, позор и сцена, искусство, слава? Неужели ложью было уподобление себя распинаемому Христу (*esse homo*), ложью был

гнев против «бессовестных писака судебного хлама, которые собираются ордою клеймить его имя законом охраняемой клеветой»?

К чему была эта сложная и тонкая игра искусства и ума? Неужели только для того, чтоб будущий читатель мемуарной литературы расчувствовался и уверовал в невинность Кобылина?

Дневник велся Кобылиным в последние годы процесса, в руки следственных властей не попал и попасть не мог. Нигде при жизни писателя опубликован не был.

Так что даже и на общественное мнение современников он влияния иметь не мог.

Трудно допустить, что Кобылин, переживший семь лет судебной и следственной травли, едва вырвавшись из атмосферы отвратительных сплетен, страшных обвинений и душу возмущающих тридирок, начнет в тиши своего кабинета выводить искусные виньетки, чтоб, переплетая правду с ложью, утонченным обманом обойти своего будущего неведомого биографа.

Ради чего, например, стал бы он записывать в апреле 1858 года: «Федор... привез известие... что оправданные преступники приехали в Чернь. Это известие привело меня в страшное волнение: мне казалось, что я дышу тем же самым воздухом, который был у них в легких. Мое настроение — оставить имение и переселиться за границу. Я дал приказ, чтоб их не впускали в имение»?

«У самого шоссе встретил *этих страшных людей* и немедленно отправил их в стан. И, наконец, 4 апреля отправил Горина в стан отвезти *этих людей* в Казельскую».

Можно ли допустить, что он так клеймит «*этих страшных людей*», что не хочет дышать одним с ними воздухом, и все это ложь? К чему, наконец, этот непосильный, излишний *труд жи*? Не легче ли, не проще ли молчать?

Нет, чтобы все это утверждать, надо иметь глубокие, научные психологические и правдивые основания. Иначе вся тяжесть доказательства опрокинется на другую чашку весов.

КУЛЬТ ПАМЯТИ ДЕМАНИИ

Всю жизнь над постелью Кобылина висел портрет его погибшей подруги. На Введенском кладбище он поставил мраморный памятник с траурной надписью на ее родном языке —

A la chère et triste memoire
de Louise-Elisabeth Simon
née 1 Avril 1819 + le 7 Novembre 1850.

Ежегодно Кобылин приходил пешком на дорогую могилу. Он заказывал панихиды по умершей, созывал близких людей на поминание.

В дневнике он записывает воспоминания только о счастливых минутах, проведенных с нею. Ни один упрек не касается ее страдальческой тени.

Больше того, — даже в официальных бумагах он «рыцарски» защищает ее память.

Он борется с утверждением крепостных, что они убили свою госпожу из мести за жестокое обращение.

И хладнокровные крючкотворы ловко используют все движения его души.

Как мы видим, эти его утверждения использованы даже Хотяинцевым и Паниным.

Наконец, свою единственную дочь, которой он по духовному завещанию оставил все свое состояние, он назвал Луизой в честь и память единственной и подлинно близкой ему женщины.

Психологически понятно, когда убийца вытесняет мучающие его воспоминания, бежит от них, старается отвлечь себя от образов, тревожащих его совесть.

Кобылин во всем поступает наоборот. Он не мирится с потерей, он всеми средствами воссоздает милый образ в портрете, в записях дневника, в имени дочери. Он не дает памяти заслонить ее лица другими впечатлениями и устраивает панфицы, поминки, поминовения на ее могилу.

А их общим врагам, — тем судебным негодьям, которые не ищут ее настоящих убийц, а сделали себе позорное торжище из торжественного дела правосудия и на весах Феиды торгуют, он мстит всей силой своего творческого негодования.

И эта месть — его драматическая трилогия.

ПИСЬМА

Эпистолярный архив семьи Сухово-Кобылина стал известен недавно, а письма, приложенные к следственному производству производству комиссии Шлыкова, найдены только в 1933 году. Из всего богатства, хранящегося в архиве Евдокии Васильевны Петрово-Солововой, сестры Александра Васильевича, появилось в печати только двадцать три письма Сухово-Кобылина к сестрам и матери. Со всеми этими материалами Л. Гроссман знаком не был. Внимательное чтение семейной переписки и писем, находящихся при следственном деле, могло бы поколебать обвинительную версию.

Первое письмо, которое должно остановить наше пристальное внимание, написано Кобылиным в конце ноября или начале декабря 1850 года, то есть в первый месяц после начала следствия. Кобылин в это время уже был привлечен к делу в качестве обвиняемого, уже были обнаружены знаменитые кровавые пятна в старом флигеле, и он даже успел несколько дней посидеть в секретной комнате «гражданского частного дома». И вот, что он пишет своим сестрам и зятю:

«Несчастье тем хорошо, что позволяет оценить любовь, которую вам дарят, и сильнее укрепляет те узы, которые нам становятся еще дороже в моменты страданий и сильного горя...



*Елизавета Васильевна Салис де Турнемир
Сестра А. В. Сухова-Кобылина (Евгения Тур)*

В настоящий момент мое сердце еще совершенно лишено способности чувствовать, но уверенность в вашей любви мне помогает, она значительно ослабляет это тяжкое чувство одиночества и пустоты, которым полна моя душа. Для меня было бы большим утешением увидеться с вами и провести с вами некоторое время, но мне это совершенно невозможно. Прежде всего, меня еще не отпустят, затем мои дела в таком беспорядке, что требуют большого и пристального внимания, и, наконец, я совершенно не в состоянии видеть чужих людей. Я провожу все время у себя, вижу Лизу и Н(арышкину) почти каждый день, тем более, что они собираются сейчас же уехать...

Я не такой представлял свою жизнь, но готов ее принять, как искупление за возможные вины перед моей несчастной подругой. Да будет ее печальная память священна для нас, как память доброго и благородного существа, чья преданность мне была безгранична...

Я твердо убежден, что моя потеря огромна, и что я никогда не найду привязанности, которая могла бы сравниться с этой. Только раз в жизни можно быть так любимым. Вся моя юность прошла, чтобы вызвать и укрепить эту любовь. Я знал это, я был в этом слишком уверен. Вот почему я позволял себе несправедливость быть к ней небрежным. Только потеряв все, я узнаю и свои ошибки и величину моей потери. Невозможно выразить вам, сколько мучительных воспоминаний встает в моем сердце, наряду с раздирающими воспоминаниями о ее грустном конце. Есть некоторые ее упреки, справедливые жалобы, которые постоянно встают в моей памяти и трогательная правда которых мне ясна теперь более, чем прежде...

Не верьте клевете. Она была доброй, клянусь вам, она носила принцип добра в своем добром и благородном сердце и умерла жертвой недоброжелатель-

ства, жестокости и разбоя. Она надоедала своим людям, но она не обращалась с ними плохо. И, кроме того, я уверен, и все говорит за то, что ее убийца мог бы сделаться убийцей одного из нас. Кажется, он это сказал. Она умерла жертвой своей преданности мне, нам всем, и это смерть мученицы».

Кто решится утверждать, что эти слова ложь и притворство? Перед кем и для чего?

Может ли так писать человек, только что убивший свою возлюбленную и организовавший «подложное сознание» своих слуг? А между тем, в этом письме он колеблет *основу* этого сознания — мотив убийства, называя его клеветой.

«Жертва разбоя», «мученица», «жертва своей преданности», которая умерла за своих друзей и благодетелей, — так характеризует ее Кобылин родителями и сестрам. Можно ли допустить, что он режет тонкую игру, что он перед ними притворяется для того, чтобы обмануть незримых и неведомых судей и следователей? Искреннее и мудрое письмо, в котором так естественно позднее осознание всей той несправедливости, которую проявлял Кобылин по отношению к своей подруге при ее жизни. Если б только одно это письмо осталось от всего старинного архива, его было бы достаточно, чтобы поверить в то, что Кобылин не был убийцей своей подруги, что он совершенно невиновен в преступлении, которое ему приписывалось.

Оберегая память любимой женщины от обвинения в жестоком обращении со слугами, Кобылин, естественно, искал мотива и причины, ради которых слуги могли бы убить свою госпожу. Его мысль естественное всего направилась на корыстный мотив, и он неизменно доказывал, что убийство произошло с целью грабежа. И хотя фактически только Ефим Егоров успел захватить сто рублей денег и немножко золотых вещей, но, по мнению Сухова-Кобылина, это произошло вследствие ошибки крепостных, кото-

рые думали, что в шкафах у Симон-Деманш хранятся большие суммы, часто оставляемые там Кобылиным. Тем не менее, нахождение похищенных у Деманш вещей у повара Ефима Егорова служило серьезной уликой против убийцы.

Сухово-Кобылины производил все время собственное расследование параллельно с официальными следователями, — 18 марта 1851 года он подал в следственную комиссию, так называемое «сведенье», в котором указал, что повар г. Поливанова, Григорий Игнатов, рассказал, как непосредственно после убийства французенки Ефим Егоров принес к нему — Игнатову — часы покойной для продажи. А сознался Ефим Егоров через несколько дней после этого.

Между тем, Игнатов допрошен не был. В следственных актах отмечено, что именно в это время он умер, а в 1854 году мать Сухово-Кобылина, Мария Ивановна, лично встретила с этим поваром у Поливанова.

Возмущенная этим эпизодом, она пишет:

«Бывают ли подобные вещи на свете, когда живых мертвыми публично показывают и все ничего то что же после этого ждать? Поливанова повара мертвым в деле и в рапортах министру показали, а он вчера у меня готовил».

Что же, и это ложь, и это игра, в которой принимает участие мать Сухово-Кобылина, чтобы будущей историк оправдал ее сына?

Конечно, нет.

Письмо это, рисуящее приемы ведения предварительного следствия в первой, так называемой шляжковской комиссии, ценно именно своей бесспорной правдоподобностью.

Еще больший интерес представляет собой другой эпизод, также отраженный в ее письме к дочери.

Выше мы излагали сцену появления у Сухово-Кобылиных министра юстиции графа В. П. Панина.

Сам драматург записал ее в своем дневнике, но запись его более суха и коротка, чем описание, сделанное его впечатлительной и экспансивной матерью.

Приведем его полностью, потому что оно содержит в себе много новых знаменательных черт.

«Через несколько дней после твоего отъезда назначена мне была аудиенция по моей просьбе, как ты знаешь; но назначение довольно высокомерное, хоть и вежливое. Я готовилась, писала и думала, и в назначенный день сижу очень беспокойно. Уж двенадцать часов. Вдруг входят и говорят. Из департамента чиновник — Топильский. Брат¹ у меня. Сердце упало — что значит? Проси. Входит. Зол, как чорт, суций подъячий. Ну, секретарь уездного суда в Черни. Подходит. Вы просили аудиенцию у министра? Да. Он приказал сказать, что не может вас принять. Он отправился в Совет, а чтобы вас не беспокоить, то сам будет у вас в пять часов. А! Получил, голубчик! С братом ренили, чтобы он остался сидеть у меня. В пять ровно входит. Тут и пр. пр. ему — Я говорю: позвольте, граф, представить вам моего сына, — вскочил, два шага к нему с глубоким поклоном и со всей вежливостью человека европейского, как он есть в самом деле. Сел опять. Говорит мне: вы просили императрицу... Императрица приказала мне самому его рассмотреть и заняться самому. Я занимаюсь сам. Если имеете что сообщить вы или ваш сын, прошу записать и доставить ко мне. — Позвольте сыну моему лично вам объяснить, сколько возможно. Так все сделали, и он, пробыв полчаса, отправился».

Из этой сцены, прежде всего, видно, что Панин не только никогда не получал приказа прекратить дело в отношении Сухово-Кобылина, а наоборот — ему приказано было самому заняться делом, рас-

¹ А. В. Сухово-Кобылин — «брат» адресатки.

смотреть его и, наконец, закончить (*terminer l'affaire* — в подлиннике), что, конечно, не одно и то же. Дальше очевидно, что Тописьский и Панин были исключительно злы на Кобылиных («зол, как чорт, сущий подъячий»).

Что представлял собой Панин, мы уже рассказали, и вряд ли он, всемогущий в своем министерстве, способен был простить Кобылиным нагоняй, который он получил за бездушное отношение к многолетней волоките. И это только подтверждает наши первоначальные предположения, что компромиссный приговор относительно крестьян был предложен Паниным по двум причинам: из маниакально-упрямого убеждения в своей непогрешимой правоте и вместе с тем из желания свести счеты с Кобылиным.

А сам Кобылин первое время наивно верит, что комиссия действительно ведет следствие в настоящем смысле этого слова.

«Меня больше всего тронуло, что вы были добры и снисходительны даже к ее памяти» (Симон-Деманш), которая была истерзана обвинениями злыми и несправедливыми. Правда, между тем, выходит на свет, и сама комиссия, которая имела легкомыслие приписывать преступление дурному обращению Луизы со слугами, начинает возвращаться к своей первоначальной мысли» (к убийству с целью грабежа). «Я собираюсь представить бумагу, которая им даст некоторые доказательства обратного».

Действительность быстро рассеяла иллюзии Кобылина, и он дает настоящую оценку своим мучителям.

Но не только он. Его мать, принимающая горячее участие в его судьбе и во всех перипетиях отвратительного дела, находит верные краски и точные характеристики людей и учреждений, которые держали в руках судьбу ее сына. В письме — до сих пор нигде не опубликованном — она пишет дочерям из

Петербурга 24 октября 1857 года, то есть когда граф В. Н. Панин внес в Государственный совет проект компромиссного постановления, освобождавшего фактических преступников. Очевидно, что проект стал известен Марии Ивановне, и она «Для праздника» сообщает дочерям этот слух. «Но говорят, как возможно было семь лет морить человека безвинно тысячью смертями.. Министру как возможно подать голос в оправдание убийц, для которых нет сомнения.

Но это все говорят. А я не смею надеяться, чтоб решили иначе, как этот каменный человек хочет, и все втихомолку думают, что он делает для прикрытия разбойников следователей и подлеца своего товарища и всего своего гнусного министерства.

Вот Александр все пишет: *не проси никого*. А как не просить, как не говорить! Пословица говорит: «Дитя не просит, мать не понимает». А у нас и просить, так не понимают, а молчи, так и дела никому нет. *Записки исчезают*.

Нет, вот как печатают другие, что все и за, и против, другие наизусть знают, а нечего читать, так, разумеется, или будут читать и *будут судить по второму следствию, где все налгано*.

Так не переписываются «организаторы подложного сознания».

К словам экспансивной матери вряд ли что-нибудь прибавил бы ее талантливый сын.

В письмах Александра Васильевича к родным можно найти объяснения некоторых обстоятельств, которые смущали обвинителей.

Так, «по вопросу о посылке Саввина Карпова за мебелью из квартиры Деманш» в письме от 6 августа 1851 года есть интимный мотив, которым Кобылин, конечно, не хотел бы поделиться со следователями.

«Мне говорили, что вся ее мебель будет мне возвращена, я очень рад этому и устрою маленькую

комнату из вещей, принадлежавших этой милой и дорогой женщине, — это будет для меня печальным, но большим наслаждением».

Культ памяти Деманш обогащается еще одним ритуалом — устройством комнаты из мебели, принадлежащей покойной.

Не довольствуясь этим, он посылает самой любимой — и по заслугам — сестре, Душе, отличавшейся редкой добротой и отзывчивостью, на память о своей подруге ее брошь, сопровождая посылку такими строками:

«1851 год. 18 марта. Москва.

Позвольте мне, дорогой и милый друг, передать вам память о женщине, воспоминание о которой для меня более, чем священно и которую я не могу перестать жалеть всей болью моего сердца...

Жму вам руки, милый друг, и прошу вас хранить эту вещь как можно дольше и, может быть, дольше, чем сможет жить самое воспоминание о Луизе; существует печальный закон нашей земной жизни, что памятники живут дольше воспоминаний о тех, кому они посвящены. Носите часто эту брошь, дорогая, я от всего сердца хочу, чтоб она принесла вам счастье, и во всех случаях у меня всегда будет грустное, но сладостное удовольствие видеть на вас эту вещь».

Кобылину ставилась в улику перестройка флигеля, где были найдены кровавые пятна.

В письме от 6 августа 1851 года есть простые объяснения его хозяйственных распоряжений.

«В случае, если бы Соня приехала на некоторое время в Москву, я предлагаю вам жить в доме, а сам отлично устроюсь в маленьком флигеле, мне ведь так мало нужно — ты знаешь, мне некого принимать — я и прежде не знал никого, а теперь поставил себе за правило избегать всех на свете, кроме тех, кто мне действительно дорог; двух комнат, имеющихся там, мне будет совершенно достаточно,

а вы могли бы довольно сносно поместиться в главном здании.

...Я только что дал распоряжение Лукьянову пригласить мне четырех или пятерых плотников, чтобы произвести необходимые изменения, задуманные уже давно. Вот что плохо, — необходимо привести в порядок парадное, столовую, кухню и маменькин домик».

Нужно ли еще комментировать семейную переписку. Ни в письмах Кобылина, ни в письмах его родных нет ни одной строчки, ни одного намека, которые подтверждали бы положения обвинителей.

Наоборот, — образ страдающего от невозвратимой потери человека, образ человека, над которым издеваются, которого бесчестно и бесчеловечно терзают, ударяя по самым чувствительным местам его сердца, искупает в наших глазах многое, в чем был действительно повинен этот жестокий помещик и замечательный писатель.

ТВОРЧЕСТВО КОБЫЛИНА

Авторство (или творчество) есть способность развить в себе напряженность, переполненность, избыток электричества, заряд; этот заряд превратить в Представление или Мысль; Мысль излить на бумагу, холст или воплотить в камень, и такой общественный Духа Акт сдать в Кассу Человечества. Рецепт этот основан на наблюдении, что холостая Пушка не стреляет.

Автор (или творец) должен быть заряжен, а не выхолощен. Пифагор требовал для того, чтоб хорошо говорить — семь лет молчать¹.

А. Сухово-Кобылин.

В русской драматической литературе творчество Сухово-Кобылина стоит особняком. Сам он называет свои пьесы то комедией—«Овальба Кречинского», то драмой—«Дело», то комедией-шуткой—«Смерть Тарелкина».

Между тем, если искать точного определения формы, в которую облечены драматургические творения Сухово-Кобылина, то придется признать, что

¹ Публикуется впервые.

все они принадлежат к одному и тому же жанру. Этот жанр — редкий в русской литературе — трагифарс. Глубокое трагическое содержание событий облечено в эксцентрическую, фарсовую форму. Впечатление такое, точно автор воспроизводит жесточайшую издевку жизни над своими героями. В «Свадьбе Кречинского» никто не женится, в «Смерти Тарелкина» никто не умирает.

«Свадьба Кречинского» названа комедией, а, между тем, с точки зрения комедийных канонów, она противоречит основному правилу о том, что комедия должна кончаться благополучно. «Свадьба» кончается катастрофой почти для всех героев. «Срывалось» предприятие Кречинского, его афера и брак с Лидочкой. Самое Лидочку постигло глубочайшее разочарование, и она пережила тяжкий удар по наивным девичьим мечтам. Отец ее опозорен в чувстве отца и достоинстве дворянина, и, наконец, перед ним призрак будущих грозных событий: суд и новый позор.

И наоборот, в «Смерти Тарелкина» все кончается благополучно: Варравин возвращает себе компрометирующие бумаги, Тарелкин получает не только аттестат, но даже, наконец, и деньги, никто не мешает его трансформации, и он в виде Копылова может начать новую жизнь.

Чтобы проследить, как стал Сухово-Кобылин создателем такого своеобразного литературно-театрального жанра, необходимо вдуматься в противоречия, которые были пережиты Кобылиным в личной и общественной жизни.

По положению своему Сухово-Кобылин индустриальный дворянин, которому необходимо самому крепко взяться за предпринимательство, чтобы победить в социальной борьбе. Его актив — родовое имя, небольшое количество денег, имущества, молодость и образование. Он скоро понимает, что в пятидесятые годы буржуазия настолько окрепла экономиче-

ски, что дворянству бороться с ней не под силу. И среди жизненных ценностей на первый план он ставит уже не родовое имя, не происхождение, а деньги, имущество, деловую удачливость.

Среди беспрепятственного экономического подъема Кобылина вдруг постигает личная катастрофа. Привлеченный к уголовному делу об убийстве, он сталкивается с дореформенным чиновничеством и становится жертвой долголетнего изводящего вымогательства взяточников. Холодное и бездушное крючкотворство не считается с самыми интимными и болезненными проявлениями его душевной жизни, он глубоко задет в чувстве невинного человека, которого напрасно обвиняют в тяжком преступлении, он испытывает гневное бессилие от сознания, что он игрушка в руках взяточников. И здесь-то в нем пробуждается дворянская спесь.

Таким образом, силу его негодования возбуждают четыре источника: страдания любовника, потерявшего дорогую ему женщину, возмущение невинного человека, на которого взводят напраслину, спесь дворянина, над которым издеваются разночинцы-чиновники и, наконец, возмущение буржуа, у которого отнимают деньги.

И Кобылин, тот самый Кобылин, который до тридцати трех лет своей жизни не знал никаких шероховатостей на ровном жизненном пути, которому все улыбалось и удавалось в жизни, который воспринимал жизнь, как непрерывную цепь радостей и наслаждений, которому было дано все: молодость, красота, сила, родовитость, удачливость в любви, власть над женскими сердцами и над крестоносными душами, Кобылин, принадлежавший к дворянско-буржуазной верхушке, вдруг попадает в липкие, цепкие и грязные лапы каких-то ничтожных судебных чиновников. И не день, не месяц, а долгие семь лет он барахтается в этом смрадном болоте, пока, наконец, сила его таланта, деньги, связи, на-

конец, вмешательство царицы не освобождают его от длительного кошмара.

Кобылин остро и надолго возненавидел своих гонителей, но ему, дворянину-крепостнику, было опасно вдуматься до конца в причины, вызвавшие власть чиновничества на Руси. К этому времени буржуазия была уже заинтересована в так называемых судебных реформах, то есть и в гласном суде присяжных. Но, вместе с тем, эта же буржуазия была заинтересована и в свободном труде, а значит, в освобождении крестьян.

Монархист и крепостник, Сухово-Кобылин не мог критиковать государственную систему в ее основе. Он изнутри этой системы замахнулся только на некоторые отдельные ее проявления, не посягая на всю систему в целом. Этим он повторил творческий путь Гоголя, и поэтому его драматургия так сходна с драматургией Гоголя, — они питаются из одного классового источника. Как Гоголь, так и Кобылин не могли преодолеть противоречий, которые вызывали в них особенности социального строя.

Гоголевский смех стал смехом сквозь невидимые и незримые миру слезы. У Сухово-Кобылина противоречия разрешились тем, что его смех прозвучал сквозь видимые слезы.

Видимый смех сквозь видимые слезы, — так можно вкратце формулировать литературное своеобразие кобылинского творчества.

Как ни мало посвящено в нашей литературной науке внимания Сухово-Кобылину и его творчеству, но неоднократно отмечалось и влияние Гоголя на его литературные труды и влияние Гегеля на его философское мировоззрение.

Автор замечательной трилогии может быть отмечен тем, что в этом жанре, кроме одной трилогии, он никогда ничего не написал. По крайней мере, в сохранившемся наследстве Кобылина нет не только законченных вещей, но и планов драматургических

произведений¹. Больше того, в предисловии к пьесе «Дело» он говорит, что класс литераторов ему так же чужд, как и остальные четырнадцать.

А так как на четырнадцать классов разделялись только чиновники, то надо бы найти причины, почему литература вызывает в Кобылине такое же отталкивание, как и ненавистное ему чиновничество.

Гегельянец чувствуется уже в самом заглавии, или, вернее, в сочетании трех заглавий: «Свадьба», «Дело», «Смерть», — таков обобщающий философский охват жизни, который дан трилогией Сухово-Кобылинна. Но философская концепция от соприкосновения с действительностью терпит крах, так как в «Свадьбе» никто не женится, а в «Смерти» никто не умирает. И даже дело, то житейское дело, которое должно быть содержанием и сущностью человеческой жизни, на самом деле — издевка над жизненным делом, ибо под этим словом подразумевается канцелярский уловочный процесс.

Что же составляет содержание своеобразного литературного драматического жанра, вылившегося в форму трилогии, жанра, в котором Кобылин завершил свои философские и художественные высказывания, ибо с этой трилогией он замолк как художник и драматург? Если в этой трилогии Кобылин высказался весь, то, тем более, интересно и важно вскрыть, что хотелось ему сказать сюжетом каждой пьесы.

«Свадьба Кречинского» передает неудавшееся сватовство дворянина и бывшего помещика Кречин-

¹ Подтверждение этому находится в письме Кобылина от 9 апреля 1888 года. «Во время аудиенции Александр III спросил Кобылина (Кобылину было тогда семьдесят два года): «Вы пишете пьесу?» — «Я пишу, но на научные темы». «А почему не пьесу для театра?» — «Ваше величество, — ответил я ему, — этот род искусства требует много свежести ума и воображения, а я в этом возрасте, когда эти качества исчезают».

ского к дочери дворянина и помещика Муромского. Кречинский разорен, он переживает закат — личный, классовый и экономический. Ему скоро сорок лет. Отцовское имение пущено на ветер. На буржуазные позиции он еще не стал, но уж знает цену дельгам, и поэтому он игрок.

Карточная игра в жизни дворянина могла быть либо формой его вырождения, либо его позором. Если в жизни дворянина нет другого занятия, как только зеленый стол, этот дворянин неминуемо погибнет, проиграется, разорится. Если же он станет профессионалом, он также неминуемо опустится и станет шулером. В обоих случаях его ждет классовая гибель. Недаром игре посвящены такие острые произведения русской дворянской литературы, как «Пиковая дама» Пушкина, «Маскарад» Лермонтова, «Игроки» Гоголя.

Кречинский не только игрок. Но и не только шулер, как Расплюев. Он и то и другое. Он еще способен переживать волнения страсти за игорным столом. Он испытывает «благородные чувства», но он уже переступил веления дворянской морали и связался с Расплюевым и другими подонками загнивающего дворянства.

Как и подобает обнищавшему баричу, Кречинский хочет поправить свои дела выгодной женитьбой на богатой дворянке. Но вот, в ту самую минуту, когда в его руках все, — и любовь молоденькой наследницы миллионного состояния и согласие отца на брак, — судьба издевается над ним. У Кречинского не хватает средств поддержать тон, необходимый в том обществе, где он хочет блистать. И мы понимаем, что это не случайная игра судьбы, а экономическая закономерность.

Что же предпринимает Кречинский? Он пытается добыть деньги займом, опираясь на кредит, но и кредит его исчерпан. Тогда он обманывает ростовщика, закладывает ему булавку с поддельным солите-

ром вместо настоящего. Подделка раскрывается, и с нею рушится все.

Но вот, что замечательно: в самом преступлении Кречинского обман ничем не угрожает интересам ростовщика Бека, ибо несомненно, что Кречинский, женившись и взявши миллионное приданое, выкупил бы поддельный солитер, как настоящий. Сольитер ведь служил лишь *обеспечением долга*. Но гораздо большим обеспечением этого же долга послужила бы свадьба Кречинского, которая должна была состояться на следующий день. Так что ростовщик Бек ни при каких условиях потерять на этой сделке не мог. И если, тем не менее, он прибежал к полиции разоблачить подделку Кречинского, то не потому, что боялся за выданные под заклад деньги. Нет, он выдавал деньги, рассчитывая, что долг *не будет уплачен*, — и тогда он приобретет за проши тридцатитысячный солитер.

Вот почему он так охотно расстроил ту самую свадьбу, которая являлась лучшим обеспечением данных им денег.

Кобылин понимал, что буржуазия в порядке первоначального накопления действует именно такими методами, но и в нем колебались два начала: дворянское и буржуазное.

Поэтому, как писатель-дворянин, он не скрыл социальной правды.

Во всей отвратительной фигуре ростовщика Бека, добывающего деньги за счет чужого несчастья, скупающего за бесценок, как это всегда делала буржуазия, ценности разоряющегося дворянства, он не усмотрел ничего бесчестного, но в то же самое время устами своего героя, дворянина Нелькина, он возмущается той подлостью, которая, «чужим добром сытая, разъезжает на рысаках». Что это чужое добро принадлежит ростовщику Беку, как-то ускользает в эту минуту от внимания Нелькина.

Как ни талантлива «Свадьба Кречинского», как

ни ярки ее образы, как ни блестяща ее сценическая история, но по существу в творчестве Кобылина она является только прологом к настоящей драме. Центральная пьеса трилогии — «Дело»: ей предпослано предисловие «К публике». II, скорее всего, к ней относится текст титульного листа к первому изданию трилогии, которая носила название: «Картины прошедшего. Писал с натуры. А. Сухово-Кобылин».

Wer die Natur mit Vernunft ansieht,
Den sieht sie auch vernünftig an.— Hegel. Logik.

Эти слова из гегелевской логики Кобылин взял эпиграфом к своей трилогии и дал им русский перевод: «Как аукнется, так и откликнется».

Пьеса «Дело» теснейшим образом связана с уголовным процессом Сухово-Кобылина. Сюжет ее сводится к длительному вымогательству взяток от старого дворянина Муромского, который случайно попал в руки судейским чиновникам.

В этом смысле положение его аналогично положению в процессе самого Сухово-Кобылина: и тот, и другой являлись жертвами приказного вымогательства, не будучи виновными в каких-либо преступлениях.

Во времена Сухово-Кобылина Россия была не только «черна в судах неправдой черной», но и «иглом рабства клеймена». Кобылин поднял свой негодующий голос только против судебной неправды. Во имя чего? Во имя страданий, которые причиняются невинным в дореформенных судах. Им и взяты соответствующие образы — старик Муромский и его дочь, кроткая, невинная провинциальная девушка. Вот кто попал в руки лихоимцев. Вот над кем глумились жестокосердые чиновники. Они не пожалели сердца невинной девушки, они надругались над страданиями старого солдата, раненного в голо-

ву под Можайском, когда он защищал родину от нашествия французов.

Сухово-Кобылин остро и ярко показывает, как страдания эти становятся игралищем особых гадих из петербургского болота. Но против страданий Тилки от руки благодетеля и помещика Сухово-Кобылин не протестует, он точно не замечает их.

«Ни один дворянин, — говорит Муромский, — не испытывал таких страданий, какие терплю я». Очевидно, что если бы эти страдания постигли крестьянина или мещанина, Сухово-Кобылин не испытывал бы такой степени возмущения.

«Пусть услышит меня и курьер, — кричит Муромский, — пусть он войдет в трактир, в овощную лавку, в непопулярный дом и пусть там, хотя там расскажет, что нашелся *хоть один дворянин на Руси*, которого судейцы до того замучили, пока хлынула у него изо рта правда вместе с кровью и дыханием».

Мотив негодования у Муромского и у Кобылина один и тот же: «В старину мы жили в палатах, приказные — в комнатах, ныне мы живем в комнатах, а приказные — в палатах».

И пьесы свои задумал Сухово-Кобылин, как месть чиновникам. «Это моя месть, — говорил он. — Я ненавижу чиновников». То же восклицает он в пьесе устами Нелькина. «Месть! Великую месть всякой обиде, всякому беззаконию затаю я в *сердце*. Нет, не затаю, а выскажу ее всему православному миру. На ее угольях накалю клеймо и вклею его прямо в лоб беззаконию!»

Спрашивается, откуда взялось бы у Кобылина негодование против судейского приказного мира, если бы он был виноват? Вместо того, чтобы создавать неразрешимые психологические загадки, не проще ли, установив полную невиновность Кобылина в приписываемом ему преступлении, после этого понять весь пафос его возмущения?

Но особенной силы достигает его гнев не только потому, что чиновники подозревают его в несовершенном преступлении. Они покушаются его ограбить, а этого капиталистическая природа индустриального дворянина Кобылина выдержать не может. И социальное содержание всех его пьес сводится к неистовому крику: «Караул, грабят!»

Тема грабительского обогащения пронизывает все пьесы, всю трилогию. Кречинский покушается на имущество Муромского, Расплюев пытается обмоченничать за картами зазевавшихся простоватых игроков. И как же его бьют за то, что он опростоволосился! С каким удовольствием Сухово-Кобылин описывает эту потасовку за то, что неудачливый шулер не сумел ловко и незаметно передернуть.

«Федор. Иван Антонович, в карты, сударь, играть, не лапти плести. Вот и поучили.

Расплюев. Какое же учение. Собаки той нет, которая бы такую потасовку вынесла. Это не учение, просто денной разбой.

Федор. Гм... Разбой... В чужой карман лезете, да как не резануть, всякий режет».

Очевидно, и Федор понимает, что карман надо охранять всеми средствами, а кто лезет в него, так того и резануть.

Но вот чиновники лезут безнаказанно в карман Сухово-Кобылина. И он бессилен их «резануть». Поэтому все его возмущение творчески изживается в пьесе, и какие же вдохновенные строки удаются ему на тему о взятках! Довольно прочесть письмо Кречинского.

«Взятка взятке розь. Есть *сельская*, так сказать настушеская, аркадская взятка. Берется она преимущественно произведениями природы и постольку то с рыла. Это еще не взятка. Бывает *промышленная* взятка. Берется она с барыша, подряда, наследства, словом, приобретения. Основана она на акси-

оме — возлюби ближнего твоего, как и самого себя, приобрел — так иodelись. Ну, и это еще не взятка. Но бывает *уголовная*, или *капканная*, взятка, — она берется до истощения, до гола! Производится она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья-Разбойника; совершается она под сенью и тенью дремучего леса законов, помощью и средствами капканов, волчьих ям и удилищ правосудия, расставленных по полю человеческой деятельности. И в эти ямы попадают без различия пола, возраста и звания, ума и неразумия, старый и малый, богатый и сирый. Такую капканную взятку хотят теперь взять с вас, в такую волчью яму судопроизводства загоняют теперь вашу дочь. Откупитесь, ради бога, откупитесь» («Дело», стр. 205).

Любопытно отметить, что если даже принять, что Кречинский имеет автобиографические черты самого Кобылина (удачливость, любовь к нему женщин и т. д.), то в этом письме указан и предел его биографичности. «Может, и случилось мне обыграть проматывающегося купчика или блудно расточающего родовое имение дворянина. Но детей я не трогал, *сонных не резал* и девочек на удилище судопроизводства не ловил».

Этим Кобылин, прекрасно сознающий, что он и сам на многое способен в жизненной борьбе, все-таки ставит пределы своей аморальности: *сонных он не резал*, а именно в этом его и обвиняют.

Отдельные места пьесы подтверждают, что действительно с натуры описывал в «Деле» Сухово-Кобылин все черты собственного уголовного дела. Надо только внимательнее вчитаться в его рассказ, чтобы понять все, что написано между строк: движение дела, его темы, инстанции, порядок допроса, гнусная техника лихомства, — все это указанию им с фотографической точностью.

«Вот завязали, да и на́ люди; проводят из мытарства в мытарство; тянут, да решают: мнения, да

разногласия — да вот *пять* лет и не знаем покоя». Пять лет. Срок этот как раз соответствует времени, которое истекло от начала следствия по делу об убийстве Симон-Деманш и до назначения Чрезвычайной следственной комиссии.

«Изю всего может быть дело», — говорится в том же отрывке. И действительно, если стать на место Сухово-Кобылина и признать, что он не имел никакого отношения к убийству, что для него прикосновенность к делу возникла из-за пустяков, не стоящих никакого внимания — шутовское письмо, два кастильских книжала и потоки куриной или утиной крови в сенях, где кололи живность к столу — вот, собственно говоря, весь несложный арсенал первоначальных улик, — то как было Сухово-Кобылину не заупрямиться сначала и не сказать словами Муромского: «Правые, говорит, не дают, виновные дают».

Но он ошибся. Пошло следствие. «Сперва одного из наших людей вытребовали, потом другого, посмотрим, и весь дом забрали: расширявали, допрашивали, — ну, можете себе представить, какая тут путаница вышла».

Нелькин. Да еще как путать-то хотели.

Так оно и было. Всего дворовых и крепостных людей Сухово-Кобылина комиссия Шлыкова, куда входили Хотимский и Тронцкий, задержала и допросила пятнадцать человек. Естественно, что при этих допросах и передопросах оказались разногласия в мелочах.

Но Сухово-Кобылин вскрывает и подлинные побудительные причины, вызвавшие следственную путаницу.

Путать *хотели*... и хотели потому, что с основных виновников взять нечего было, зато Сухово-Кобылин был выгоднейшей «оброчной статьей». «И пошло следствие об Лидочке, а не о Кречинском, потому что на нем только одна рубашка осталась».

Пошло следствие о Кобылине, а не о дворовых.

«Однако, — продолжает драматург-историк, — от людей наших ничего не добились, а выбрался один злодей, повар Петрушка, негодяй такой: его Петр Константинович два раза в солдаты возил — этот, видите, и показал: я, говорит, свидетель».

Повар Ефим Егоров и был главным свидетелем против Сухово-Кобылина перед лицом следственной комиссии. Только в его показании есть единственный намек на то, что Сухово-Кобылин *знал* об убийстве. О том, что Сухово-Кобылин мог быть участником, даже Ефим Егоров не говорил.

Сухово-Кобылин, по мнению Егорова, мог знать об убийстве потому, что он первый указал направление, в котором ехала Симон-Деманн и где действительно нашли ее труп.

Та же сцена раскрывает, как Сухово-Кобылин приобрел тяжкий опыт взяткодательства. Кречинский писал Муромскому: «Откупитесь, ради бога, откупитесь. С вас хотят взять деньги, дайте. С вас их будут брать — давайте».

«Дело, возродившееся по рапорту квартального надзирателя, принимает для вас громовый оборот».

Когда дело перешло в высочайше утвержденную следственную комиссию, оно действительно приняло для Сухово-Кобылина громовый оборот. Но школу взяткодательства, или, как говорит Варравин, «азбуку», Сухово-Кобылин прошел раньше, при первом следствии по делу в комиссии Шлыкова.

«Тут только увидел он, что правду ему Кречинский писал. Вон он, батюшка мой, туда, сюда. Взял стряпчего, дал денег, ну, уладили... Только, я вам скажу, как дал он денег, тут и пошло, кажется, и хуже стало; за одно дает, а другое нарождается. Тут уж и все пошло: даст денег, а они говорят: мы не получали; он к стряпчему, а стряпчий говорит: я отдал, вы им не верьте — они воры: а стряпчий-то себе половинку».

«Следствие это, однако, тянули они восемь месяцев — это восемь месяцев таких мучений, что словами этого и не скажешь». И этот срок совпадает с отрезком времени, когда тянулось первое следствие (комиссия Шлыкова). Комиссия приступила к следственным действиям 10 ноября 1850 года, а 10 мая 1851 года следствие это было представлено к г. Московскому военному генерал-губернатору, который препроводил в Губернское правление, а сие последнее препроводило оное к рассмотрению и решению в 1-й департамент Московского надворного суда при указе».

Совпадения в положении Муромского и Кобылина легко проследить и дальше. «Что же вы ни к кому не обратились, — спросит Нелькин, — ну, просили бы». «Как же тут не обратиться, — ответила ему Атуева, — только вот беда-то наша: по городу, можете себе представить, такие пошли толки, суды, да пересуды, что и сказать не могу».

Как мы знаем, толки и пересуды составили ту самую «общественную версию», которая через восемьдесят пять лет была выставлена уликой против Сухово-Кобылина.

Во время доклада Варравина князю об афере Кречинского и о прикосновении к этому делу Муромских князь роняет: «Так, это я в клубе слышал».

Нет сомнения, что клубные силетти в первые дни имели решительное влияние на военного генерал-губернатора Закревского, который сначала сам верил в виновность Кобылина. Впоследствии же, следя за делом, он свое мнение решительно изменил.

Вымогатели и взяточники изнурили и разорили Муромских так же, как и Кобылиных.

И как же клеймит он за это и разоблачает взяточников!

Для Тарелкина он находит такие краски: «Это не человек, — чекалит он незабываемый образ, — это тряпка, канцелярская затасканная бумага. Сам он

бумага, лоб у него картонный, мозг у него из папье-маше. Какой это человек? Это особого рода гадина, которая только в петербургском болоте и водится».

Кобылин быстро понял всю канцелярскую систему, а также технику лиходательства и вымогательства.

«Стало уж, по-твоему, все берут?» — недоверчиво и с досадою спрашивает Муромский.

«Кому как сила, — отвечает автор словами Ивана Сидорова. — Да и как им не брать!»

Диалог между Иваном Сидоровым и Муромским подводит социально-экономический фундамент под бюрократическую надстройку, в которой взяточничество — естественная и необходимая форма служебной деятельности.

«Вот вы говорите, что они лицо, — вразумляет Иван Сидоров непонятливого дворянина, — а сапожки, по их званию, лаковые изволили видеть, а перчаточки, по их званию, беленькие изволили видеть?»

Муромский. Видел.

Иван Сидоров. А субонце, тоненькое, английское, а воротнички голландские, а извозчик первый сорт, а театры им по вкусу; а к актрисам расположение имеют, а вотчин у них нет, — так ли-с?

Муромский. Так.

Иван Сидоров. Чем же они живут?

Муромский. Чем живут? Чем живут? Ну — государево жалование тоже получают.

Иван Сидоров. Государева, сударь, жалования на это не хватает; государево жалование на это не дается. Честной человек им жену прокормит, ну матери кусок хлеба даст, а утробу свою на эти деньги не парадует. Нет! Тут надо другое. Так вот такому-то лицу, хоть будь оно три лица, и все-таки вы, сударь, оброчная статья.

От этого и получилось, что, по словам Муром-

ского, «дело по существу простое, но от судопроизводства получило такую запутанность, что я даже не могу вам порядком передать».

И Варравин подтверждает это обстоятельство.

«Положение дела вашего по фактам следствия, — констатирует Варравин, — остается запутанным и, могу сказать, обоюдоострым. С одной стороны, оно является совершенно естественным и натуральным, а с другой стороны, совершенно неестественным и ненатуральным».

Существо дела, как известно, Варравина интересовало мало. Поэтому он заканчивает беседу так:

«Я затем коснулся этих фактов, чтобы показать вам эту обоюдоостроту и качательность вашего дела, по которой оно, если поведете туда, то и все оно пойдет туда... а если поведется сюда, то и все... пойдет сюда...»

Эта качательность, по прощическому замечанию самого Варравина, символизируется весами, которые держит богиня правосудия Фемида и «на весах, варварка, торгует». Разве не так было в деле Кобылина?

Описывая дореформенный процесс, Кобылин не упустил и системы формальных доказательств.

«В глазах закона, сударь, показания первых двух свидетелей имеют полную силу», — говорит Варравин, хотя свидетелями этими являются шулер Расплюев и мошкетерский Лапа, одно прозвище которого не оставляет сомнения в той роли, которую он призван играть; но так как этими лицами даны два присяжных показания, они являются в глазах закона *совершенным доказательством*, как это и бывало в деле самого Кобылина. «Было на нашу землю три нашествия, — язалуется один из героев Кобылина: — набегали татары, находят француз, а теперь чиновники облегли».

И не только те чиновники, которые сами берут, но и те, кто выше их, которым брать не за что, знат-

ные бары, и у тех напрасно искать справедливости.

«Вот, говорят, этот князь справедливый человек, не лицепрятный, — надеется Муромский найти управу на своих притеснителей, — и права такого, что говорит: передо мной все равны».

«Да как перед хлопущкой мухи, — отнимает последнюю надежду Иван Сидоров. — Что мала муха, что большая — все единственно».

«Вот увижу», — надеется Муромский.

«Ничего, батюшка, не увидишь». — беспощадно продолжает Сидоров.

«Стоишь ты перед ним с твоим делом; искалечило оно тебя, да изогнуло в три погибели: а он перед тобою во всех кавалериях, да во всей власти, да со всеми чиновачьями, как с неба какого, и взирает... Так что тут видеть? По-моему: к большим лицам ездить — воду толочь. А коли уж малые лица на крюк поддели, да сюда приволокли, — так дай».

Кобылин и не окрывал от себя, что «князь», так же как и в его деле министр юстиции граф Панин, сам беспомощен и просителям на него надеяться было печего.

Все дела находились в руках секретарей и столоначальников, и обойти их не мог сам министр юстиции. Недаром, как мы видели, он сам давал взятки по собственным делам.

И действительно, как ни желал князь беспристрастно рассмотреть дело возмущенного Муромского, все, что он мог сделать, — это только ухудшить положение просителя и его несчастной дочери, направивши дело к «строжайшему» переследованию. Этим он снова отдавал и дело и прикосновенных к нему людей в руки Варравина, которому предписывал: «Так извольте вы мне эти существенные факты из дела выбрать и составить по оному мое мнение — и построже».

Так же было направлено к преследованию п дело самого Сухово-Кобылина по консультации министра юстиции Панина.

Надо думать, что с натуры рассказывал Сухово-Кобылин и о так называемом *подсыле*, который предприняли чиновники «какого ни есть ведомства» по отношению к Муромским.

Должно быть, и с Кобылиными поступали так, как приказывал Варравин: ...«Завтрашний же день утром вызовите к себе поверенного Муромских; да в глаза ему этим пунктом и пырните!.. Смотри, мол, борода, вот что прозит! Жизнь и смерть! Деньги! Двадцать пять тысяч, как один рубль. Чтоб тотчас были! Без проволочек и шатаний...»

Выше мы указывали, в каких случаях могли требовать чиновники особо крупных взяток с Кобылина.

Это были, прежде всего, моменты так называемых отречений от сознания, которые в установленной нами закономерности давались то в надворном суде, то в Московской уголовной палате, то, наконец, в Сенате.

От того же Варравина мы узнаем и технику первоначального расследования:

...«Прикажут произвести расследование — вы и следуйте; начинайте с маленьких, да маленьких — тихонько да легонько, а там и развивайте, и подымайтесь выше да шире, шире да выше; да когда разовьется, да запутается — так тут и лови! Только хватай, да руки подставляй; любое выбирай: хочешь честь или хочешь есть»¹.

Именно так производила первые следственные действия комиссия Шлыкова.

И, наконец, в «Смерти Тарелкина» автор раскры-

¹ «Смерть Тарелкина», стр. 480.

вает глубоко символическую и притом строго классовую картину расследования.

Следователем озлобленный автор делает шулера Расплюева. Вот — степень падения, до которого он доводит приказное чиновничество.

Сначала допрашивается помещик с характерной фамилией Чванкин. В этом образе, должно быть, Сухово-Кобьлин сам посмеялся над собственными переживаниями.

Входит Чванкин с большим форсом в неведении того, что ему предстоит.

«А! Частный пристав, частный пристав, а как он смел, частный пристав, меня беспокоить, а? Как он смел!»

«Нет, я спрашиваю: как же он смел? Да знает ли он, кто я? Да я... я сам власти имею, а? Я помещик Чванкин! Да у меня в Саратовской губернии двести душ! Да у меня в Симбирской губернии двести душ! Да у меня чорт знает где чорт знает сколько душ! Да я... Да он...»

Но после того, как его попросту сажают в темную, несмотря на угрозы «протестовать у подножия престола», он, медленно выходя из темного коридора, меняет обращение:

...«Если вам угодно меня спросить, то я со всею готовностью. ...Вы бы мне прямо тотчас так оказали — и я бы тотчас с удовольствием... *Миленький*, дай мне перышко — надо будет *ответки* написать...»

И хотя Чванкин ни в чем не обвиняется, все-таки с него берут подписку о невыезде, и ясно, что за освобождение его от этой подписки он принужден будет «поблагодарить» следователей.

О купцом Попугайчиковым разговор недолог, потому что Попугайчиков с «благодарности» прямо и начинается. Но после того, как пристав Ох разъясняет ему, что двадцатипятирублевая благодарность недостаточна, понимающие друг друга люди быстро сходятся на ста рублях.

Наконец, допрашивается *дворник* Пахомов. С ним церемониться нечего, и его прямо режут в затылок.

Результат допроса оказывается прост и действителен.

«Батюшка, ваше превосходительство, пощадите; я и так скажу, ей-богу, скажу; мне вот даже повернуть шею невозможно; *я что угодно, то и скажу*».

Кстати напомним, что Пахомов — это был один из дворников Кобылина в первые дни следствия, допрашивавшийся об алиби. В его показаниях нашлись разноречия с другими. Нетрудно понять, откуда эти разноречия взялись.

Отзвуки старинного дела есть и в допросе Тареткина, которого кормили селедкой и не давали воды и который в тоске молил:

«Да дайте мне воды; ну я что хотите скажу, только воды...»

И общий итог следствия: «Все, сударь, форма, все форма».

И действительно, в этом следствии содержание было вытравлено и задавлено формой.

Вчитываясь в «Дело», мы можем установить художественно яркие картины подлинного следствия и суда.

Галерея взяточников, один другого опаснее и отвратительнее, проходит перед зрителем, и действительно чувствуется, что тот город, который описан сатириком, представляет собой море, великое и странное — «иде же гадов несть числа».

Но для характеристики социально-политических взглядов Кобылина хочется отметить то различие, которое делает он между страданиями дворянина, попавшего в руки чиновников, и между страданиями «низицей братии», попавшей в то же положение.

Иван Сидоров Разуваев — фигура, поставленная наряду с Муромскими, им сочувствующая и стремя-

щаяся занять рано или поздно их первоначальное место, кулак, начавший с подошвы, занимавшийся коммерцией и кое-что наживший, рассказывает про то, как однажды он пришел в тот же город, к одному такому животному по делу правому, «как святое солнце». Какое это дело—автор благоразумно умалчивает.

«Сложились мы все — кому как сила — и сирота и вдова дала — всяк дал; на, говорит, Сидорыч, иди; ищи защиту»¹.

Защиту пришлось искать у Антона Трофимыча Крек: «калитальнейшая была bestия!» Как известно, Крек был начальником и воспитателем самого Варравина. Это его школу прошли дореформенные следственных дел мастера.

«Прихожу: живет он в палатах великих; что крыльцо, что двери — боже мой! Принял; я поклон, говорю: ваше, мол, превосходительство, защитите! А он сидит, как зверь какой, суровый да кряжистый; в разговор вошел, а очами-то так мне в пазуху и зазирает; поговорил я несколько, да к столу — и выложил и хорошо, сударь, выложил; так сказать, две трети, и то такой куш составило, что вы и не поверите. Он это и пометил — стало ведь набитая рука. Как рявкнет он на меня: мужик, кричит, мужик!.. Что ты, мужик, делаешь? За кого меня принимаешь! — А?.. Я так на колени-то и сел. Да, знаешь ли ты, козлиная борода, что я с тобою сделаю? Да я те говорит, туда спущу, где ворон и костей твоих не зазрит... Ну, вижу я, делать нечего; встал — да уж все и выложил; и сюртук-то расстегнул: на вот, мол, смотри. Он и потишел. Ну, говорит, ступай, да вперед помни: я этого не люблю!.. Воздел я грешные руки: боже мой! Зело искусил мя еси: Валаову идолу принес я трудовой рубль, и вдовицы лепту, и сироты копейку, и на коленях его молить

¹ «Дело», стр. 231.

должен: прими, мол, только, кумир позлащенный, дар мой».

И все-таки негодование писателя-дворянина вызвала не потеря последней копейки сироты, не скудная лента вдовицы, попавшая капитальнейшей бестии, а бедствия разоряющегося помещика Муромского.

И замечательно, что взятка, данная крестьянами, поступила по назначению и привела к благожелательному результату.

Муромский. Ну, и взял?

Иван Сидоров. Взял, сударь, взял. И дело сделал... Как махнул он рукой, так вся сила от нас и отвалилась.

Между тем с Муромского и деньги брали, и дела ему не сделали.

Дворянский пессимизм пьесы «Дело» ярче всего выявляется в последнем монологе Тарелкина:

«Проклята будь ты, судьба, в делах твоих! Нет на свете справедливости, нет и сострадания: гнетет сильный слабого, объедает сытый голодного, обирает богатый бедного! Взял бы тебя, постылый свет, да запалил бы с одного конца на другой, да, надемши мой мундиришко, прошелся бы по твоему пепелищу: вот, мол, тебе, чортов сын» (стр. 390).

Нужно ли было Кобылину жаловаться на то, что богатый обирает бедного?

И все же эти скорбные восклицания Тарелкина дают повод Гроссману охарактеризовать пьесы Кобылина как *трагедии без катарсиса*. Катарсис, то есть очищение путем страдания, — в котором Аристотель видел цель трагического искусства, — и не мог быть присущ пьесам Кобылина, как и вообще сатирическим произведениям. Сатира бичует и не знает примирения. Иначе какая же она сатира?

Отсутствие катарсиса в пьесах Кобылина вовсе не является следствием того, что это — «драмы на

крови». Никакой крови ни в пьесах, ни под ними нет.

Грабеж и произвол чиновников, обобщенный с точки зрения помещика до символа беззакония русской дореформенной жизни, дает трагическую окраску всем пьесам.

Через трилестию проходит вошь: «Караул, грабят! Дворян грабят чиновники. Чиновники живут в палатах, а дворяне — в комнатах».

Чиновники, награбившие состояние, покупают имения и удаляются от дел подобно Креку и там заводят винокуренные заводы и рациональное хозяйство. Судейцы ведут уже не торг, а разбой. Со всем этим Сухово-Кобылин примириться не мог.

«Правду я говорю, — кричал он, — она у меня горлом лезет. Так вы меня слушайте».

Ни сюжет пьесы «Дело», заключающийся в том, что невинные люди сделались жертвой вымогателей, ни те или другие отдельные места пьесы, рисующие все этапы дореформенного следствия и суда, ни в малейшей степени не подтверждают предположения, что все это написано человеком виноватым, но силою взяток, связей и обмана избавившимся от заслуженного наказания.

Не огромный обман, как думает Л. Гроссман, а огромная, и личная и социально-историческая, правда лежит в основе пьес Кобылина. Оттого-то они и не теряют жизни и свежести красок, хотя отображаемый ими строй стал далекой историей.

Трагедии без катарсиса присущи не одному только Сухово-Кобылину. Стоит сравнить приведенные нами заключительные слова Тарелкина с последним монологом Ихарева из гоголевских «Игроков», чтобы увидеть, как много общего между этими двумя местами:

«Хитри после этого! — «в ярости» возмущается Ихарев. — Употребляй тонкость ума! Изощрай,

изыскивай средства!.. Чорт побери, не сто́ит просто ни благородного рвення, ни трудов! Тут же, под боком, отыщется плут, который тебя переплутует! Мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет! Чорт возьми! Такая уж надувательская земля! Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает...»

«Постылый свет» Тарелкина ничем не лучше, чем «надувательская земля» Ихарева.

Замечательно, что в обоих случаях благородный пессимизм проявляется обманутыми плутами.

Уж одно это заставляет задуматься над ценностью такого пессимизма. Влияние Гоголя на Кобылина было, очевидно, велико и до конца не прослежено еще исследователями.

Нам кажется несомненным, что именно «Игроки» больше всего отразились в кобылинской драматургии. Образы Кречинского и Расплюева, тема игры и шулерства, борьба плутов между собою, наконец, мрачный до безысходности финал, организующий трагедию без катарсиса, — все это Кобылин мог почерпнуть больше всего из «Игроков».

Социально-этические взгляды Кобылина ярко выразились в фигуре Ивана Сидорова Разуваева.

Тосковал Муромский о том, что много денег уходит на приказных, и ради взяток приходится продавать имение.

«Испокон века за нами стояла вотчина, а вот пришлось откупщику за полцены отдать».

Иван Сидоров его утешает.

«Иное дело, посмотришь, и, господи, напасть какая; кажется, вот со всех сторон обложило, а бог только перстом двинет — вот уж и солнышко...»

В чем же видит солнышко Разуваев, а с ним и Сухово-Кобылин?

«Был однава со мной такой-то случай: был я молод, жил у купца в приказчиках; скупали мы козлы, сало, ну, скотиной тоже торговали. Однако умер хозяин — что делать? Дай мол, сам поторгую — сам хозяин буду. Деньжонки были кое-какие; товарища приискал; люди дали; поехали в Коренную. Ходим мы, батюшко, с товарищем по ярмарке день; ходим два — нет товара на руку; все не по силам: а *сами знаете*, барыши брать, надо товар в *одних руках иметь*. Ходили, ходили — купили лубки! По десяти рублей начетом сотню; сколько было, все купили. Товар приняли, половину денег отдали, а остальные — под конец ярмарки. Обыкновенно — лубки, товар укрывать. Живем. Погода стоит ведрая; жар — терпенья нет; на небе — ни облачка; живем... Ни одного лубка не покупают! Тоска взяла! Ярманка на отходе: товарищ спился!.. Утром помолюсь, вечером помолюсь, и почину не сделал! Пятого числа июня праздник богоматери коренные... Крестный ход... народу куча... несут икону..., Мать!!! Помогите!!! Прошел ход — смотрю: от Старого Оскола товар показался!!! Туча — отродясь не видывал; я к лабазу — от купца Хренникова бежит приказчик: лубки есть? — Есть. — Почему цена? — Сто рублей сотня. — Как так? — Да так. — Ты с ума сошел? — Еще сутки, так бы сошел. — Ты перекрестись!

— Я крестился; вы хорошо пожили; ели, пили; спали сладко? А я, вот — пузом на поларшина земли выбил...

Повертелся, повертелся, ведь да-а, да к вечеру и расторговались... Так, вот: все в руках господних! Господь труд человека видит и напасть его видит — ой, видит» (стр. 227—228).

Этика Разуваева определяется просто: «барыши брать, надо товар в одних руках иметь».

И, как мы видим, сочувствие Кобылина не на стороне тех, чье имущество пот-вот измокнет под дождем, а он всей душой стоит за Разуваева, кото-

рый за удешевленную цену продаст лубки товар укрыть, сыграв на чужом несчастье.

Последняя пьеса трилогии написана после отмены крепостного права и введения новых судебных уставов. Она носит символическое название «Смерть Тарелкина». В лице Тарелкина должно сойти с исторической сцены то самое дореформенное чиновничество, которое писатель так неистово ненавидел.

«Самая омерзительная жаба ушла в свою нору, — напутствует труп Тарелкина его же начальник Варравин, — самая ядовитая и злоспая гадина оползла свой цикл и на указанном судьбою месте преткнулась и околегла... Умер... Самая гнилая душа отлетела из самого протухлого тела: как не вонять — по-моему он мало воняет, надо бы больше».

Напутственное слово генерала Варравина прозвучало над пустым гробом. И эта шутка тоже носит в глазах автора трагический и символический характер. *Ибо Тарелкины не умирают: они приспособляются.* Одновременно Кобылин выразил и свое подлинное отношение к совершившимся преобразованиям. Именно Тарелкина он сделает основным, или, как он выразился, рьяным деятелем преобразования.

«Везде и всегда Тарелкины были впереди, — возглашает сам Тарелкин собственную эпитафию, — едва заслышит он, бывало, шум совершающегося преобразования или преск от ломки совершенствования, как он уже тут и кричит: «Вперед!!» Когда носли знамя, то Тарелкин всегда шел перед знаменем; когда объявили прогресс, то он стал и пошел перед прогрессом — так, что уже Тарелкин был впереди, а прогресс сзади! Когда пошла эмансипация женщин, то Тарелкин плакал, что он не жен-

щина, дабы снять кринолину перед публикой и показать ей... как надо эмансипироваться... Не стало Тарелкина, и теплейшие нуждаются в жаре; передовые остались без переду, а задние получили зад! Не стало Тарелкина, и заглодало в мире, задумался прогресс, ододела гуманность... Но чем же, спросите вы, воздали ему люди за такой жар делания? Ответ, — нет не ответ, — скажу: *ирония пред вами!*»

Жуткая ирония: пустой гроб и живой Тарелки, преображающийся, приспособляющийся и цепляющийся за новые формы жизни.

Это именно он в последнем монологе предлагает свои услуги в качестве управляющего имением:

«Одно слово — введу вам прогресс: рациональное хозяйство на вольнонаемном труде... так обделаю, что только ахать будете...»

Крепостник Кобылин ничем больше не мог скомпрометировать нового строя, основанного на вольнонаемном труде, чем сделавши главным его участником Тарелкина.

Но одновременно с этим он понимал, что шестидесятые годы вырастили новых людей — разночинцев с материалистическим взглядом на вещи, что даже лучшие представители дворянской среды не могут мириться с происходящим, и поэтому он свою героиню, Лидочку Муромскую, одевает в плед Берже и черную густую вуалетку. В лице молоденькой дворянки, столкнувшейся с изнанкой жизни, произошли резкие изменения: она побледнела и похудела, движения ее стали ровны и определены, взгляд — твердый и пронзительный.

Не желая высказывать своего мнения о ней, но относясь к ней с явной симпатией, Кобылин только замечает, что для одних она подурнела, а для других стала хороша.

В ней намечаются демократические тенденции. Она уже в церкви не различает ни богатых, ни бедных, ни дворянок; в ней проявляется жертвенность и самоотречение; она равнодушна к мнению света, которого уже не уважает.

Ясно, что от дворянского быта она уже отошла. К какому берегу она пристанет? Намек на это дает плед Берже.

СВОДНЫЕ ИТОГИ

Еще при жизни Сухово-Кобылина и, возможно, не без его ведома Дорошевич отметил:

«Дело возникает по донесению Расплюева о том, что Лидочка сама запутала себя, сказавши будто бы:

«Это моя ошибка».

Пользуясь этим, запутывают в дело человека, с которого можно поживиться.

Сравните это с тем, как Сухово-Кобылин сам себя запутал в дело, явившись к обер-полицейстеру.

Так началось обвинение против Сухово-Кобылина».

Неверно, будто он жертва судебной *ошибки*.

Никогда, ни в одной судебной инстанции Сухово-Кобылин осужден не был. Единственный проект сенатского определения о том, чтобы оставить Кобылина в подозрении, не получил силы закона, — так проектом и остался. Кроме того, и в этом проекте нет прямых обвинений против Кобылина в убийстве, а есть туманные намеки, предположения и подозрения, что он будто бы знал убийц и имел к ним какое-то касательство. Сенат не считал нужным уточнять своих инсинуаций и экивоков, потому что в те времена не было необходимости точно формулировать обвинение, и правосознание людей пя-

тидесятых годов мирилось с оставлением человека «в подозрении».

Судебная процедура, которая принята почти во всех современных уголовно-процессуальных кодексах, — предъявление обвинения — заменялась в дореформенной юстиции законным поводом для привлечения к следствию.

В фельетоне Дорошевича *Warheit und Dichtung*¹ так переплелись, что отделить их совершенно невозможно, и пользоваться сведениями Дорошевича чрезвычайно рискованно. Он все перепутал, все извратил и неведомо откуда раздобыл сообщаемый им материал.

Дело Сухово-Кобылина тем-то и отличается, что, ясное само по себе, оно обросло жесткой корой всяческих слухов, сплетен, и поэтому научными источниками для суждения о деле Сухово-Кобылина могут быть только подлинные томы старинного следственного и судебного производства и точно проверенные показания участников и свидетелей, сохранившиеся в письмах, дневниках и воспоминаниях. Все же остальное — все эти слухи, сплетни и пересуды, — вся так называемая «общественная версия» и свидетельства художников, писателей, фельетонистов и анонимов должны быть решительно отмечены, как наросты на деле, как шелуха, короста, которой неминуемо должно было покрыться трагическое событие за много лет.

Но, чтобы правильно прочесть старинное дело, чтобы понять движение следственной мысли, чтобы оценить действия следователей, судей и официальных консультантов по делу, необходимо учесть своеобразие дореформенного, розыскного и тайного калцелярского процесса, основанного на теории формальных предустановленных доказательств. Тогда станет ясно, что улик, в настоящем и точном смыс-

¹ Правда и выдумка.

ле этого слова, против Сухово-Кобылина нет ни одной.

Если собрать доводы Л. Гроссмана, то окажется, во-первых, что Деманш Кобылину наскучила, между ними намечался разрыв, у Кобылина же появился новый роман.

Во-вторых, что по последственности и по характеру Кобылин был такой человек, что способен был на непоправимую вспышку гнева, то есть способен был убить в запальчивости и раздражении. Версия о встрече Кобылина, Нарышкиной и Деманш в старом флигеле дома № 9 по Страстному бульвару представляется правдоподобной — потому, что психологически соответствует характеристике трех действующих в ней лиц. Впрочем, никаких свидетельств такой встречи и никаких объективных доказательств того, что такая встреча действительно имела место, кроме московской сплетни, нет.

Что еще свидетельствует против Кобылина? Кровавые следы в сенях, в лакейской и на ступенях черной лестницы и неудачное, по мнению обвинителей, алиби, показание крепостных, взявших назад свое признание в убийстве и утверждавших, что оно вынуждено пытками и обольщениями, да рассуждения о том, что местом убийства не могла быть квартира Деманш в доме графа Гудовича. Наконец, появление министра юстиции в квартире обвиняемого по высочайшему повелению подкрепляет обвинительную аргументацию.

Вот вкратце и весь обвинительный реквизит, который удалось извлечь из книги Л. Гроссмана, специально посвященной «Преступлению Сухово-Кобылина».

В этой книге биография писателя излагается по-столыку, поскольку нужно доказать, что происхождение его от Ивана Дмитриевича Шепелева — «Нерона Ардатовского уезда» — дает основание для обвинительных параллелей.

«Характер этого жестокого самодура в известной мере необходимо учесть при изучении жизни и личности его знаменитого внука».

Как известно, писатель стал жертвой недоразумения: «Нерон Ардатовского уезда» был не дедом Сухово-Кобылина по материнской линии, а двоюродным дядей, связанным с его матерью узами не родства, а свойства, и, таким образом, никакой ответственности по крови между ними быть не могло»¹. Но мы допускаем, что Кобылин способен был убить, хотя убийство в запальчивости и раздражении является обычно проявлением слабых и несдержанных натур. Кобылин же был человеком очень сильным, волевым и дисциплинированным.

Излагая роман Надеждина со старшей сестрой Сухово-Кобылина, Елизаветой Васильевной, Л. Гроссман не забывает отметить, что «семнадцатилетний юноша вел сложную интригу с разумной жестокостью, не считаясь с душевными драмами близких, стремясь только к торжеству своих высокомерных кастовых предрассудков».

Сведения о поведении Кобылина, которому в то время было семнадцать лет и который находился под влиянием горячо любимой им матери Марии Ивановны, основаны исключительно на воспоминаниях двух-трех людей, враждебно относившихся к Кобылину.

Весь этот роман еще до сих пор недостаточно исследован; бесспорным является только то, что Надеждин сначала был влюблен в мать своей невесты — Марию Ивановну, что к Елизавете Васильевне он сначала чувствовал физическое отвращение, что в семье Кобылиных подозревали Надеждина в стремлении использовать чувства своей ученицы с корыстными целями, так как за ней давали

¹ Во втором издании книги «внук» был заменен «племянником» без каких-либо изменений в версии.

большое приданое, и что, наконец, Надеждин оставил профессорскую деятельность уже тогда, когда знал, что его роман кончается неудачей, и, следовательно, его стремления к чинам и богатству больше не могут быть объяснимы требованиями родных Елизаветы Васильевны.

Семейная драма, разыгравшаяся между матерью, дочерью и домашним учителем, естественно, не могла быть безразлична для сына, обожавшего мать и с естественным недоверием относившегося к чистоте и бескорыстию чувств бедного профессора, который неожиданно воспылал страстью к богатой невесте.

Конечно, для характеристики Кобылина этот эпизод очень показателен. Но никакого отношения к свойствам его личности, которыми в какой бы то ни было степени можно объяснить его гневную вспышку, этот эпизод не имеет.

Можно отметить только жизненную последовательность Кобылина: он, возражавший против неравного брака сестры с «поповичем и семинаристом Надеждиным», сам в жизни искал только равных браков и в течение почти десяти лет прожил с Симон-Деманш невенчаным. Покорный кастовым предрассудкам, он и себя сковал этими предрассудками, резко отделяя любовь от брака.

В биографии Кобылина нельзя найти решительно ничего, что подтверждало бы или подкрепляло версию обвинителя. Сказать, что Кобылин способен был убить, значит, ничего не сказать. Эта «способность», воспитанная крепостническим строем, была очень развита в русских дворянах старого времени.

Анализ всех улик, взятых вместе или отдельно, а также и мотивов, приводит к непоколебимому убеждению в том, что Кобылин ни в чем виноват не был, и что убийство совершено двумя крепостными при участии и пособничестве двух горничных женщин.

Сравнив сознание участников преступления с протоколом осмотра трупа, мы сможем установить, что сознание это подкрепляется объективными обстоятельствами — следами на трупе, и в особенности трехугольной садиной, происшедшей от утюга.

Отсутствие каких бы то ни было следов насилия на платье, в то время как под платьем тело несчастной француженки с левой стороны было покрыто кровоподтеками и кровавыми пятнами, когда внутри было обнаружено большое кровоизлияние, три ребра переломлены, а девятое даже с раздроблением кости, — все это подтверждает, что убийство совершено было в постели, когда француженка была раздета¹. Отсутствие корсета под нарядным платьем, наличие домашних бархатных полусапожек, в которых никак нельзя было выйти в снежную ночь 7 ноября, шляпка на распущенной косе, три нижних юбки, две пары чулок, — все это вместе устанавливает тот незыблемый факт, что убийство произошло в спальне, когда жертва была раздета. И только потом, торопясь и впопыхах, одели мертвое тело во все то, что валялось поблизости. Отсюда — и две пары чулок и три юбки под платьем. Отсюда — отсутствие корсета, так как подвергать труп сложной шнуровке было и длительно, и трудно.

Вопрос об алиби Сухово-Кобылина никаких трудностей не представляет. В ночь с 7 на 8 ноября с десяти часов вечера и почти до двух часов ночи Сухово-Кобылин был на званом вечере у Нарышкиных. Это косвенно подтверждается показаниями главного виновника Ефима Егорова и конторщика Федотова. Это прямо удостоверяют слуги Нарышкиных и несколько гостей, проведенных там с Сухово-Кобылиным вечер. Это никак не может быть опро-

¹ Вновь отсылаем читателя к прилагаемой экспертизе проф. Попова.

вергнуто сбивчивыми показаниями дворника и кучера, которые спали на конюшне и в каретном сарае, откуда они не могли видеть, дома ли барин или ушел.

У Кобылина не было никаких оснований для того, чтобы расправиться со своей возлюбленной, пусть к тому времени и опальной, таким варварским и жестоким способом.

Не то с ее слугами. Все они единодушно ненавидели вспыльчивую француженку, которая не останавливалась перед жестокими злоупотреблениями предоставленной ей властью над крепостными. Жалоба Настасьи Никифоровой московскому военному губернатору на жестокое обращение должна была послужить первым предупреждением фаворитке Кобылина о том, что даже крепостному терпению есть предел.

К несчастью для себя, она не сочла нужным внять этому предупреждению и стала жертвой гнева восставших против нее крепостных.

Крепостные, убивши ее, одновременно с этим и похитили некоторые вещи.

Ефим Егоров взял деньги, золотые часы, цепочку и брошки, а женщины попользовались предметами дамского туалета и белья, которым никто не знал точного счета.

Отречение крепостных от первоначально данного ими признания при внимательном чтении оказывается неуклюжей ложью, между тем как сознание их полностью подкрепляется объективным и фактическим материалом.

Следствие по делу велось чрезвычайно пристрастно — *против Кобылина, а не за него*, и взятки вымогались у великого драматурга не с той целью, чтобы его действительно оправдать или реабилитировать, а исключительно за устранение тех улик, которые самими же следователями искусственно создавались.

Наконец, все то, что мы знаем о жизни Сухово-Кобылина после процесса и о его творчестве, единодушно подтверждает и подкрепляет первоначальный вывод — Кобылин в убийстве не виновен.

Виновный Кобылин не мог бы стать автором трилогии, которая с исключительной силой разоблачает отошедший строй.

Вольтер говорил: меня бог простит, потому что я его только отрицал, но иезуитов — никогда, потому что они его компрометируют.

Кобылин не отрицал царской России, но он ее скомпрометировал. И в этом значение его драматургии для наших дней.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
по делу А. В. Сухова-Кобылина

Профессор Н. В. ПОПОВ

I

Процесс известного драматурга А. В. Сухова-Кобылина, обвинявшегося в убийстве своей возлюбленной, француженки Луизы *Симон-Деманш*, на шумел в пятидесятых годах прошлого столетия, вызвал много разговоров, споров и неоднократно был предметом литературных исследований. Этот процесс тянулся семь лет (с 8 ноября 1850 года до 3 декабря 1857 года) и закончился оправданием А. В. Сухова-Кобылина.

Людская молва называла Сухова-Кобылина убийцей, но, однако, большинство лиц, писавших по этому вопросу, не поддерживало этого мнения и считало драматурга невиновным в убийстве. Но в 1927 году *Л. Гроссман* выпустил книгу под заглавием «Преступление Сухова-Кобылина», где, оперируя материалами дела, литературными источниками и самими произведениями Сухова-Кобылина, пришел к твердому выводу, что Сухово-Кобылин сам убил Луизу Деманш и путем подкупов свалил свое преступление на головы своих крепостных.

С такою же категоричностью высказывается Л. Гроссман о виновности Сухова-Кобылина и в своей вступительной статье к Трилогии Сухова-Кобылина, изданной под его редакцией в 1927 году.

Другой писатель, Виктор Гроссман, произвел пересмотр всех материалов по делу Сухова-Кобылина.

Целый ряд данных дела подвергся у В. Гроссмана иному толкованию. Многие данные потребовали особых разъяснений, и среди них оказались вопросы судебно-медицинского порядка. Симон-Деманш была убита с причинением больших внешних насильств, в доме Сухово-Кобылина были найдены пятна крови, — все это, конечно, требует тщательного судебно-медицинского истолкования. Л. Гроссман все судебно-медицинские акты и заключения принял безоговорочно, без проверки. В. Гроссман счел нужным все их проверить и обратился ко мне с просьбой произвести судебно-медицинскую экспертизу по делу Сухово-Кобылина, чему настоящее исследование и обязано своим появлением в свет.

Судебно-медицинский пересмотр дела дал глубоко интересные результаты. Прежде всего, он выяснил целый ряд важных пунктов, которые не были выяснены при следствии; затем он дал совершенно иное толкование другим фактам, которые в следствии фигурировали в ложном освещении. И в результате, при окончательном пересмотре, дело представало в совершенно ином свете в судебно-медицинском отношении, чем его видел Л. Гроссман. И в этом глубокий интерес его для нас, судебных медиков: оказывается, наша помощь может быть полезна не только современным органам прокуратуры, суда и милиции, но также литераторам и историкам, исследующим минувшие дела человеческих коллективов и отдельных личностей.

Кроме литературных материалов, в моем распоряжении была «Пространная записка» об этом деле, составленная для членов Государственного совета и фактически излагающая все дело, с копиями подлинных актов, показаний, протоколов и пр. Эта записка была одним из источников также для Л. Гроссмана и для В. Гроссмана.

II

Переходя к изложению обстоятельств дела, я сразу должен оговорить, что ограничиваю себя исключительно судебно-медицинской стороной дела, не вдаваясь в подробности бытового характера.

Из всех актов и показаний приводятся только те, которые могут иметь значение для экспертизы.

Все выдержки для удобства дальнейших справок обозначены отдельными номерами. Все выписки из актов и показаний сохраняют точный текст подлинников. Местами только выпускаются несущественные или излишние выражения и слова.

9 ноября 1850 года за Пресненской заставой Москвы был обнаружен труп, как потом выяснилось, француженки Луизы Симон-Деманш, находившейся в близких отношениях с жившим в Москве богатым помещиком *А. В. Сухово-Кобылиным*.

При осмотре трупа на месте его обнаружения было записано:

(1) Тело лежало... в трех сажнях вправо от большой дороги;

(2) ниц лицом вдоль дороги... руки подогнуты под тело;

(3) при перевороте же его оказалось, что женщина эта зарезана по горлу;

(4) коса распущена и волосами оной обернута горло, около перереза...

(5) тело в замерзшем положении;

(6) одета она в платье клетчатой зеленой материи, под оным юбка коленкоровая белая, другая ватная, крытая драдедамом темного цвета, и третья бумажная тканая;

(7) кальсоны коленкоровые белые, сбившиеся на ноги до самых голеней;

(8) снег, где она лежала, подтаял, и под самым горлом на снегу в небольшом количестве кровь.

При наружном осмотре врачом Тихомировым оказалось:

(9) телосложения довольно крепкого, росту среднего, волосы русые, распущенные, с косою, обернутою вокруг горла;

(10) на передней части шеи, ниже гортанных частей, находится поперечная, как бы перерезанная с ровными разошедшимися краями окровавленная рана, длиною около трех вершков;

(11) дыхательное и пищедрпемное горло, обе сонные ар-

терни и обе яремные жилы, с повреждением других близлежащих частей мягких и сосудов, совершенно перерезаны;

(12) на верхней части всей шеи заметен поперечно вдавленный рубец в объеме мизинца;

(13) на лбу небольшое, около вершка, продолговатое темно-багрового цвета пятно;

(14) кругом левого глаза, величиною в ладонь, темно-багрового цвета опухоль, с подтеком крови, закрывшая весь глаз;

(15) на левой руке, начиная от плеча до локтя по задней стороне, находится сплошное темно-багрового цвета с подтеком крови пятно;

(16) посредине которого заметен как бы вдавленный рубец темного цвета, косвенного направления, ближе к локтю; на конце этого пятна видна незначительная треугольная ссадина;

(17) на втором сгибе среднего пальца левой руки также заметна поверхностная ссадина, величиною с полноты мизинца;

(18) по всему левому боку, к задней его стороне, находится сплошное ярко-красного цвета, в четверть листа бумаги величиною пятно, на коем видны во множестве разной величины темно-багрового цвета пятна, с подтеком крови;

(19) на левом вертлуге¹ находятся две поверхностные, величиною с четвертак ссадины, окруженные темно-багрового цвета пятном, величиною с ладонь;

(20) на пояснице заметны таковые же три поверхностные ссадины.

О причине смерти убитой врач Тихомиров по этим признакам заключения сделать не мог, и труп был подвергнут вскрытию.

Вскрытие было произведено 11 ноября тем же врачом Тихомировым и штаб-лекарем Гульковским.

Акт вскрытия составлен очень неполно, отсутствуют указания на ряд важных моментов. Приводим полностью его описательную часть:

¹ Бугор на верхнем конце бедренной кости.

(21) кости черепа целы и швы оных не разошлись, со суды мозга и его оболочек малокровны;

(22) в полости рта, зева, пищевого канала и дыхательного горла ничего болезненного и противуестественного не было;

(23) легкие и сердце малокровны, правое легкое приросло к подреберной плевре;

(24) по отделении мягких частей от ребер, с левой стороны, под сплошным ярко-красного цвета, в четверть листа бумаги величиною пятном, на самых ребрах, начиная от передней части верхних ребер до поясицы и до позвонков, во весь левый бок, находится большое ссидшееся кровонзлияние, причем седьмое, восьмое и девятое ребра этой стороны, ближе к соединению их с позвонками, переломлены, а девятое ребро даже с раздроблением кости;

(25) прочие внутренности, как брюшной, так и тазовой полостей, малокровны и в естественном состоянии.

(26) Из вышеописанного штаб-лекарь Гульковский и врач Тихомиров заключили, что смерть Симон-Деманш последовала от чрезмерного наружного насилия, следствием коего были помянутые повреждения тела и в особенности от безусловно смертельной раны на передней части шеи.

По правилам того времени, копия этого документа была отослана в Московскую «медицинскую контору» — учреждение, ведавшее надзором за судебно-медицинской экспертизой. Через некоторое время в дело поступил документ от конторы, по которому:

(27) Московская медицинская контора заключение врачей Гульковского и Тихомирова о смерти Симон-Деманш признала правильным и

(28) присовокупила, что при перерезе больших кровеносных сосудов шеи, каковые в особенности суть сонные артерии и яремные вены, происходит в живом теле чрезвычайно стремительное и обильное кровотечение, какового, однако ж, на том месте, где найдено было тело Деманш, несмотря на совершенное почти в оном бескровие, не было замечено, ибо количество крови усмотрено малое, примерно, простирившееся только более фунта, и даже не видно из

местного постановления, чтобы платье, в коем была Деманш, было замазано кровью, а равно и какие-либо части ее тела, чего при описанном в свидетельстве перерезе шеи едва ли можно было избежать.

Таким образом, московские судебно-медицинские инстанции признали причиной смерти Симон-Деманш острое малокровие вследствие перерезки сосудов шеи. Из указаний Медицинской конторы следовало, что рана была нанесена не на месте обнаружения трупа, а в другом месте, и что труп уже затем был привезен за Пресненскую заставу с перерезанным горлом.

Л. Гроссман не подвергает обсуждению судебно-медицинские данные и считает, что Сухово-Кобылин убил Луизу шандалом в своем доме, где якобы вечером 7 ноября Симон-Деманш застала его с другой женщиной (стр. 111).

Обоснований из судебно-медицинских данных Л. Гроссман не приводит. Возможно, что знаком от удара шандалом по голове он считает кровоподтек вокруг левого глаза и темно-багровое пятно на лбу (13, 14), а «рубец на шее в объеме мизинца» — следом от схватывания за горло. Вряд ли он считает кровоизлияние на левом боку и перелом ребер результатом избивения шандалом, ибо всем хорошо известно, что шандалом всегда били по голове, а не по бокам.

Изложенными материалами исчерпываются все данные, касающиеся самого трупа Деманш.

Все многочисленные судебные инстанции исходили только из этих данных. Поверочной экспертизы в течение всего процесса не было произведено.

Следующие материалы судебно-медицинского порядка касаются осмотра квартиры Симон-Деманш, квартиры Сухово-Кобылина и осмотра платья цокойной.

(29) При осмотре «квартиры в доме гр. Гудовича (на углу Тверской и Брюсовского пер.), занимаемой Симон-Деманш, и всех принадлежащих к ней мест, как-то: сарая, погреба, конюшни, и на дворе кровавых следов... не найдено».

Осмотр 12 ноября флигеля на Страстном бульваре, где жил Сухово-Кобылин, дал другие результаты, которые

Л. Гроссман называет «неожиданными и ошеломляющими» (стр. 74). Именно, оказалось, что:

(30) флигель этот состоит из пяти небольших комнат с двумя выходами, парадным и черным; сей последний выходит в сени, из коих идет одна дверь в небольшую кухню, а другая — в кладовую, где помещаются картины и разное господское имущество;

(31) в комнате, называемой залой, видны на стене к сениям кровавые пятна, одно продолговатое, на вершок длины, в виде распустившейся капли, другое величиною в пятничную серебряную монету, разбрызганное;

(32) на штукатурке видны разной величины места, стертые неизвестно чем, и самая штукатурка в некоторых местах обвалилась, вероятно, от ветхости;

(33) полы во всех комнатах крашеные желтою краской и недавно вымытые;

(34) в сенях около кладовой видно на грязном полу около плитуса кровавое пятно, полукруглое, величиною в четверть аршина и к оному потоки и брызги кровавые, частью уже смытые;

(35) на ступенях заднего крыльца также видны разной величины пятна крови и частью стертые или смытые;

(36) в кухне и в других комнатах, а равно в каретном сарае и во всех службах и надворных строениях, в экипажах, на платье и мебели никаких пятен крови не заметно.

20 ноября вновь был произведен осмотр этих пятен, причем было найдено, что:

(37) некоторые из прописанных при первом осмотре кровавых пятен на лестнице крыльца и на полу сеней уже затоптаны и частью стерлись;

(38) почему остававшиеся подтеки пятен, на плитусе и пороге кладовой вырублены, равно имеющиеся два пятна на стенах штукатурки передней комнаты или залы сняты вместе со штукатуркой и опечатаны в три отдельных свертка.

Эти объекты были препровождены в Медицинскую контору «для определения времени, к которому можно отнести появление на штукатурке кровавых пятен и того, человеческая ли это кровь или нет».

«Медицинская контора по физическом и химическом исследовании пятен заключила:

(39) что кровавовидные пятна, находившиеся на кусках дерева, состояли из сохнувшей крови;

(40) что оные пятна, находившиеся на кусках штукатурки, имели наружный вид пятен кровавых, но что по причине незначительности количества того вещества, из которого эти пятна состояли, и от невозможности отделить это вещество от штукатурки, без значительной примеси штукатурной массы, мешавшей исследованию, нельзя было определить химического состава этих пятен;

(41) что же касается вопросов: человеческая ли кровь на кусках дерева или нет, и к какому именно времени должно отнести появление кровавых пятен на штукатурке, то решение этих вопросов лежит вне границ, заключающих современные средства науки.

И больше ничего фактически нет об этих «потрясающих обстоятельствах», которые «заставили следователей направить внимание в новую сторону» (Л. Гроссман, стр. 75). Действительно, в деле эти пятна явились главной уликой против Сухово-Кобылина, да еще в соединении с заключением Медицинской конторы, полагавшей, что убийство посредством перереза горла произведено где-то до перевозки трупа.

23 января 1851 года было осмотрено платье, в котором был труп Симон-Деманш. Акт осмотра очень краток:

(42) оказалось, что манишка, сорочка и платье, в верхнем конце, спереди довольно много окровавлены и залиты кровью; одна белая юбка и шапочка также запятнаны кровью, на прочих же принадлежностях одежды кровавых пятен не усмотрено.

О следах ног и крови вокруг трупа были допрошены должностные лица, производившие осмотр места обнаружения трупа. Они объяснили, что:

(43) «при поднятии тела Симон-Деманш, человеческих следов вокруг оногo не было видно, да и не было к тому возможности, по случаю напавшего в предшествующую ночь снега, который весьма значительно продолжался и во время самого осмотра; рассмотреть же платье во время поднятия

тела было невозможно как по случаю замерзания оно, так и по весьма ненастной погоде, при позднем к тому времени».

Такой краткий осмотр платья, конечно, не мог быть достаточным для следствия. При новом расследовании, специально учрежденной комиссией, все платье было вновь подробно осмотрено 24 марта 1851 года, и при этом комиссия зафиксировала:

(44) белая рубашка обагрена кровью в верхней части как с передней, так и с задней стороны, а также и на других местах, до перехвата талии, в особенности спереди под рукавами, а сзади на спине и ближе к правому боку; но ниже перехвата талии кровавых пятен на рубашке уже нет, кроме нескольких небольших кровавых знаков на самом подоле спереди;

(45) зеленое шелковое платье залито сплошными потоками крови спереди от самого верха до поясицы, а отсюда по правому боку далее вниз, более чем на четверть аршина, а сзади, начиная от поясицы до самого низа;

(46) на коленкоровой белой юбке, находившейся, как видно из дела, под зеленым платьем, на передней стороне, во многих местах, значительной величины кровавые пятна и сверх того синие и зеленые пятна, происшедшие от сбежавшей краски с означенного платья. Такие же синие и зеленые пятна находятся и на рубашке;

(48) на драдедамовой ватной юбке черного цвета едва заметны как бы следы кровавых пятен, но на внутренней стороне юбки, подложенной коленкором, никаких уже кровавых знаков не оказалось;

(49) на третьей белого тканья юбке и на белых коленкоровых кальсонах также нет никаких кровавых знаков;

(50) вся та часть синей атласной шапочки, которая лежала на шее Деманш, и белая сверху шапочки подкладка, касавшаяся затылка, значительно обагрены кровью;

(51) газовая косынка почти вся замарана кровью;

(52) а равно заметны значительные кровавые знаки и на нижнем борте черного вуаля. На батистовой с голубыми клетками косынке, на двух парах чулок и на одной паре ботинок никаких кровавых пятен и следов крови нет.

Затем комиссия здесь же, в протоколе осмотра, излагает свое мнение о некоторых обстоятельствах дела:

(53) стремление в значительном количестве крови было вниз от шеи Деманш по рубашке, до перехвата талии, а по платью — с самого верха до передней стороны, более чем на четверть ниже талии, а на задней — с поясницы до самого подола.

Через платье же и прошла местами в значительном количестве кровь на белую коленкоровую юбку.

(54) Соображая такое стремление крови по одежде Деманш с показанием Егорова, что будто бы им перерезано горло после убийства, когда он и Козьмин свалили тело в овраг, и с описанным в первоначальном осмотре положением найденной Деманш, которая лежала... ниц лицом, с подогнутыми под тело руками, члены комиссии признают, что изложенное показание Егорова совершенно не соответствует найденным ныне по осмотру платья явлениям, ибо

(55) во-первых, по перерезе горла Деманш, спустя несколько времени по убийстве ее, истечение крови было бы, как заметила и Московская медицинская контора, в самом незначительном количестве, но, напротив того, на рубашке, белой коленкоровой юбке и зеленом шелковом платье и ныне ясно видны следы обильного истечения крови;

(56) во-вторых, такое значительное истечение крови доказывает, что перерез горла Деманш совершился тогда еще, когда она была жива, и что изливание крови по рубашке, верхнему зеленому платью, а через оное на белую коленкоровую юбку, ясно указывает, что она находилась не в том лежащем положении, как найдена и как объяснил Егоров;

(57) в-третьих, что, допустив перерез горла по показанию Егорова после того, как Деманш была брошена из саней, должно было и самое истечение крови соответствовать положению тела Деманш, лежащему ниц лицом с подогнутыми под тело руками, и именно истекшая кровь должна была упасть на снег под самым горлом или вовсе не имея стремления вниз, по платью, или же, если бы это по каким-либо причинам и произошло, то одежда Деманш была бы обагрена кровью исключительно по передней ее стороне;

(58) но напротив, задняя сторона одежды, и в особенности шелкового платья, также залита кровью от поясицы до самого подола;

(59) а это самое убеждает членов комиссии, что на Ходынском поле следовало только то излияние крови, которое найдено в незначительном количестве под самым горлом Деманш, а все остальное стремление крови по рубашке, шелковому платью и белой коленкоровой юбке происходило в другом месте, до вывоза оногo тела Деманш;

(60) и, наконец, в-четвертых, судя по обгарению кровью платья, предшествовавшему вывозу Деманш из места убийства, следует безошибочно заключить, что местом убийства (Симон-Деманш не могла быть занимаемая ею во флигеле гр. Гудовича квартира, в которой никаких кровавых знаков решительно не было найдено.

Состав комиссии не приведен в акте осмотра платья, но известен. Можно полагать, что в этом осмотре участвовал и штаб-лекарь Лилеев, помогавший комиссии в других действиях.

Всевозможных показаний свидетелей и обвиняемых, очных ставок и «рукоприкладств» в деле очень много. Из них мы выберем те, которые имеют судебно-медицинское значение.

Прежде всего, интересны показания нескольких лиц, крепостных крестьян Сухово-Кобылина, которые сознались в совершенном убийстве Симон-Деманш и подробно описали картину преступления. Это были: повар Ефим Егоров, кучер Галактион Козьмин и прислуживавшие у Симон-Деманш Пелагея Алексеева и Аграфена Иванова. Эти лица были главными обвиняемыми в течение всего процесса.

Первым сознался Ефим Егоров 20 ноября, объяснив убийство французенки мезтью за жестокое обращение и наговоры Сухово-Кобылину на него и других людей.

В этом сознании Егоров так описывает картину убийства:

(61) она спала, лежа на кровати навзничь...

(62) он прямо подошел к кровати, держа в руках подушку Галактиона, которой, прямо накрыв ей рот, прижал лицо;

(63) она проснулась и стала вырываться;

(64) тогда он схватил ее за горло и стал душить,

(65) ударив один раз кулаком по левому глазу,
(66) а Галактион между тем бил ее по бокам утюгом;
(67) когда они увидели, что совсем убили ее, то девка Пелагея и Аграфена одели ее в платье...

(68) Галактион пошел запрягать лошадь, и когда была готова, то он пришел в комнату, взял вместе с ним убитую и, уложив в сани вниз, прикрыл полостью...

(69) Они, никем не замеченные, выехали за Пресненскую заставу, за Ваганьково кладбище, где в овраге свалили убитую,

(70) но опасаясь, чтобы она не ожила на погибель их. Егоров перерезал ей бывшим у Галактиона складным ножом горло, который также где-то недалеко бросил...

(71) Так как он напал на Деманш спящую, то сопротивления с ее стороны никакого не было, но только раза два не так громко крикнула.

Галактион Козьмин, восемнадцати лет, в первый раз показал:

(72) ...Иностранка Лунза Иванова Симон-Деманш действительно убита была в ее квартире 7-го числа, в ночи часу в третьем, поваром Ефимов Егоровым и им. Галактионом Козьминым, по общему их согласию...

(73) ...Он, Козьмин... взявши утюг, стоявший в кухне у печки, отправился с ним в покой Деманш,

(74) и отворивши ее спальню, увидел, что она спит, тихонок к ней... подошли, и Ефим накрыл лицо ее подушкой его, взятою из кухни,

(75) и когда она проснулась и стала кричать,

(76) Егоров же, схватив ее за горло, начал душить,

(77) ударив раз кулаком по левому глазу,

(78) а он, Козьмин, в это время бил ее по бокам и спине утюгом,

(79) а когда у него утюг из рук выпал, то он и Ефим били ее кулаками, и, увидавши, что совсем убили ее, Ефим послал его закладывать лошадь...

(80) а служанки... начали ее одевать...

(81) Вместе с Ефимом ее потащили в сани и, бросивши в оные, накрыли их полостью,

(82) ...выехали со двора и отправились... за Пресненскую заставу, где свалили ее за Ваганьковским кладбищем в овраге;

(83) Ефим прирезал ей горло ножом, взятым у Козьмина еще в кухне, каковой ножик он там же где-то кинул;

(84) при убийстве Деманш раза два громко крикнула.

Из показаний Аграфены Ивановой (Кашкиной):

(85) Повар Ефим с Галактионом вошли в комнату Деманш — Ефим с подушкой в руках, а Галактион с утюгом — и начали бить Деманш,

(86) которая раза два громко взвизгнула;

(87) во время бития ими Деманш, они требовали у нее, Ивановой, платок, а когда она им таковой подала, то они ей вбили Деманш в рот и продолжали бить и душить;

(88) вскоре после сего она, Деманш, умерла; тогда повар Ефим стащил ее с кровати, а Галактион отправился закладывать лошадей;

(89) после всего этого Алексеева убитую Деманш начала одевать, а Иванова ей только подавала одежду, и когда ее убрали, то Ефим и Галактион вытащили ее из комнаты, положили в сани, и повезли.

Пелагея Алексеева показывает:

(90) они, Егоров и Козьмин, и Аграфена, войдя к ней, Алексеевой, в кухню, велели ей войти в спальню Деманш, и она, войдя туда, нашла, что она лежала уже на полу мертвою и в то же время велели ей ее... одевать. Аграфена подавала одежду, а она на нее, покойную, все надевала. Когда же стала она, Пелагея Алексеева, ее, Деманш, одевать, то Галактион отправился запрягать лошадь в сани, а как скоро оные были заложены, то они, Ефим и Галактион, вытащили ее, Деманш, из покоев вон, положили ее в сани и отправились со двора;

(91) крику и визга не слыхала.

Затем Козьмин и Егоров неоднократно повторяли и уточняли свое показание.

В частности, выяснилась одна деталь с платком, которым якобы душили Деманш при убийстве. Козьмин показал, что:

(92) во время убийства ими Деманш платок у Аграфены Ивановой потребовал не он, а... Егоров, которым и зажал ей рот, чтобы она не могла кричать;

(93) Егоров подтвердил, что действительно носовой платок он требовал от Ивановой для заткнута им рта Деманш, чтобы она не могла кричать, а когда платок подан был Ивановой, то он заткнул им рот Деманш.

Указанный Егоровым и Козьминым нож, как и другие вещи, искали вокруг места обнаружения трупа, но ничего не было найдено.

(94) При обыске в квартире Деманш 23 ноября 1850 года в кухне был отыскан «утюг чугунный с пзмятою рукояткою, которым гладили белье и платье». Козьмин признал этот утюг за тот самый, которым он бил Деманш. Впоследствии, впрочем, Иванова заявила, что этот утюг никогда не принадлежал Деманш.

Через год после совершения убийства Козьмин показал в общем то же самое, но с весьма существенными добавлениями относительно платка, которым душили.

(95) Когда они вошли в спальню, Деманш сказала: «Кто тут?» — Егоров бросился на нее и сжал ей горло, стал бить ее кулаком, а ему велел бить утюгом, что и делал;

(96) потом Егоров полотенцем перетянул ей горло и задушил;

(97) после сего велел девушкам ее одевать, а его послал заложить в сани лошадь... Когда он заложил лошадь, то они вместе с ним вынесли тело убитой, положили в сани и закрыли полостью... Они выехали за заставу и за кладбищем вывалили мертвое тело в овраге;

(98) Там Егоров снял с шеи ее полотенце, и ему показалось, что она захрипела, тогда он имевшимся у него... складным небольшим ножом перерезал ей горло.

Первыми двумя инстанциями все четверо крепостных были признаны виновными и осуждены, Сухово-Кобылин, также привлекавшийся к суду, оправдан. Но когда дело дошло до Сената, то Козьмин и Егоров отказались от своих первоначальных сознаний. Козьмин заявил, что он был обольщен различными обещаниями и угрозами, потому и принял па

себя вину в преступлении, которого не совершал. Егоров объясняет свое ложное сознание теми же обольщениями и угрозами, а также и прямым физическим насилием со стороны допрашивавшего его пристава Стерлигова.

В своем «рукоприкладстве» Сенату Егоров пишет:

(99) Пристав Стерлигов допрашивал его самым варварским и бесчеловечным образом. Истязания, которые совершались над ним, были следующие:

(100) 1) крутили ему самой тоненькой бичевкой руки столь крепко назад, что локти заходили один на другой, таким образом он оставался связанным от двух часов пополудни до одного часа пополудни;

(101) 2) связанного таким образом вешали на вбитый в стене крюк так, что он оставался на весу по несколько часов в сутки;

(102) не давали ему пить целые сутки, кормя его одной селедкой;

(103) и вдобавок, когда он находился связанным в височном положении, Стерлигов собственноручно наносил ему чубоком сильные удары по ногам и голове. Когда совершенно ослабел, то решился принять на себя то ужасное преступление, дабы избавиться от бесчеловечных истязаний.

Алексеева и Иванова тоже изменили свои показания.

Подробному выяснению подверглось обстоятельство, — слышал ли кто-либо из соседей шум в квартире Симон-Деманш в ночь убийства, и каково происхождение кровавых пятен во флигеле Сухово-Кобылина.

Первое обстоятельство расследовалось потому, что считалось маловероятным убийство Симон-Деманш без того, чтобы шум и крики не были услышаны соседями. По этому поводу имеются, между прочим, указания.

Сосед Симон-Деманш по квартире, студент князь Радзивилл, живший над ее квартирой (во втором этаже),

(104) в рапорте своем инспектору студентов изъяснил, что 6-го числа ноября пополудни, около двух часов, слышан был им женский крик Симон, живущей в одном доме с ним, когото-то бранящий.

Это заявление относится к ночи, судя по дате, предшествовавшей убийству. Что касается шума и криков в ночь убийства, то

(105) все соседи согласно показали, что никакого шума и криков они не слышали.

Этот же вопрос выясняли при осмотре квартиры Симон-Деманш, произведенном 15 марта 1854 года второй следственной комиссией:

(106) Кухня кн. Радзивилла совершенно смежная с кухней Деманш и отделяется от нее тонкой обштукатуренной деревянной стеной, через которую слышен стук и обыкновенный разговор, но произносимых при разговоре слов разобрать нельзя;

(107) если убийство совершено было в ее квартире, то тело должно было пронести через коридор, где помещалась Аграфена Иванова-Кашкина, потом через кухню, где находилась Алексеева, и наконец через сени на двор, а здесь — мимо самых окон кухни кн. Радзивилла;

(108) д-р Массе объявил, что в квартире его явственно слышен стук и игры детей, помещающихся внизу.

Д-р Массе к тому времени жил во втором этаже, где в период убийства жил Радзивилл.

По поводу кровавых пятен в своем доме сам Сухово-Кобылин дал объяснения:

(109) «при осмотре квартиры его действительно найдены два весьма малые кровавые пятна не в зале, а в прихожей комнате, ведущей в сени и кухню, происшедшие от двух капель, попавших на стену; поелику он проживал в этой квартире только с 4-го числа сего месяца, до сего же проживали в оной многие из его родственников, а в особенности мать его и тетка со всем своим семейством, состоявшим из восьми человек с прислугою... и наконец здесь проживала тою же осенью двоюродная сестра его... с девкою, а потому он, Сухово-Кобылин, совершенно определить не может причины, по которой оные капли на стене оказались; к тому же, как заметно, они были стары и вся стена довольно ветха, что доказывает во многих местах отвалившаяся штукатурка. Он же со своей стороны, переходя в эту квартиру из собствен-

ных своих покоев, предполагая пробыть в одной несколько дней, не имел нужды заботиться возобновлять и окрашивать оную. Огромное количество черных пятен, которые видны на стене второй комнаты, доказывают, что он не имел времени и желания об поновлении и чистке этих покоев. При том необходимым находит он присовокупить, что камердинер его подвержен кровотечению из носу, потому не мудрено, что, живя в этой комнате и обертываясь к стене, он и сам мог запачкать оную, а равно и прислуга... которые все помещались в этой комнате, могли легко запачкать стену сими двумя кровавыми пятнами по какому-либо болезненному припадку или случаю, как-то обреза, уколу и т. п.;

(110) что же касается до кровавых пятен, замеченных в сенях, ведущих в кухню, а равно и на ступенях крыльца черного, ведущего в кухню, то без всякого сомнения они произошли от поваров, которые в этих сенях прикалывали живность для стола, привезенную из деревни, чистили рыбу и производят подобные сему действия, соединенные с повarenною должностью и всегдашним изливанием крови; затем, что в этих сенях всегда стоит и помойная лохань, а равно и другая утварь и кадушки»

(111) об этих пятнах собрано громадное количество показаний свидетелей и очных ставок. В общем, показания сводятся к тому, что пятен в комнате никто не видел и пободов к образованию их не было.

Егоров доносил, что:

(112) в сенях он резал цыплят и кур, отчего и кровь в оных оказалась, и как помнится ему, что и на заднем крыльце что-то резали — утку или цыпленка.

(113) Относительно прирезывания птицы свидетели подтвердили, что птицу часто резали, но оказались противоречия в указании места прирезывания: одни говорили, что птицу резали в сенях, другие, что только в кухне.

При прохождении дела через многочисленные инстанции, различные судьи выносили особые мнения и соображения, отрицающие возможность того или иного события. Например, сенатор Хотяинцев

(114) считал невозможным, чтобы труп взрослой женщи-

ны можно было незаметно провезти в обычных санях (по нынешней терминологии — легковых),

(115) он же считал невозможным, чтобы «глубокие и огромные раны шеи были нанесены перочинным ножиком».

Министр юстиции граф Панин придавал большое значение шуму борьбы и крикам:

(116) «Симон-Деманш была телосложения крепкого и здорового, следовательно, не могла не бороться с убийцами и не кричать при нападении на нее спавшую... Но крика не слышали».

(117) «Прикрытые раны волосами могло служить только для остановки кровотечения» (он же).

При первоначальном следствии сани, в которых Егоров и Козьмин, по их признанию, отвозили труп, не были осмотрены, а затем были проданы и остались неразысканными.

В документах дела еще громадное количество материала, касающегося других сторон дела — взаимоотношений участвующих лиц, вопросов алиби, мотивов убийства, поведения Сухово-Кобылина и пр. и пр., но они, как не имеющие судебно-медицинского значения, здесь не приводятся — моя задача ограничивается исключительно судебно-медицинской трактовкой вопроса.

III

Обыкновенно суд предлагает на разрешение эксперта ряд интересующих его вопросов. Но нередко бывает, что эксперт, имеющий достаточный опыт, сам выясняет все те пункты, которые он должен осветить суду, и дает заключение, разрешающее все вопросы, интересные для суда. Случается, что эксперт дополняет вопросы, предложенные судом и сторонами, уточняет их, и от этого вся экспертиза значительно выигрывает.

В настоящем случае В. А. Гроссман тоже поставил мне ряд вопросов, которые я счел полезным расширить для всестороннего судебно-медицинского освещения убийства Луизы Симон-Деманш.

Главные пункты, которые могут быть предметом судебно-медицинской экспертизы и которые группируют поставленные вопросы, следующие:

1. Каким образом и где была убита Симон-Деманш и что затем сделали с ее трупом?
2. Каким образом произошли кровавые пятна на платье Симон-Деманш и каково их значение?
3. Каково происхождение и значение кровавых пятен во флигеле Сухово-Кобылина?
4. Какова судебно-медицинская оценка насилий, учиненных над Егоровым приставом Стерлиговым?
5. Можно ли было не слышать шума и криков в соседних помещениях?

IV

Первый вопрос, который ставит себе судебный медик при исследовании всякого трупа, заключается в том, отчего последовала смерть покойного. Этот вопрос мы поставим себе и здесь прежде всего при разборе первого пункта.

Врачи Гульковский и Тихомиров, а вместе с ними и Медицинская контора, пришли к заключению, что смерть последовала от острого малокровия вследствие перереза горла. Это мнение *неправильно* и, как таковое, повлекло за собой целый ряд ошибочных следственных умозаключений и действий.

Оба акта — наружного осмотра трупа и вскрытия — составлены очень плохо, особенно последний. Существовавшее в то время «Наставление врачам при судебном осмотре и вскрытии мертвых тел» предписывало подробно вносить в протокол все то, что при исследовании было замечено или открыто. Вообще вскрытие трупа представлялось и в то время важным действием, для которого назначался каждый раз специальный «обдукционный комитет», в состав которого, кроме врача, входили его помощник (фельдшер), полицейские чиновники, уездный стряпчий и понятые. Но, несмотря на подобного рода обстановку, а может быть, и бла-

годаря ей, акт вскрытия трупа Симон-Деманш даже не заслуживает этого названия. Скорее это краткое изложение результатов вскрытия, чем описание найденных при вскрытии изменений. Но как ни кратки эти сведения, все же на основании их, особенно в соединении с осмотром платья Симон-Деманш, можно заключить, что не резаная рана на шее была причиной смерти француженки. Хотя акт и отмечает малокровие внутренних органов (23, 25), но степень его не указывается. Зато было большое кровоизлияние в толще покровов левого бока (24). Но «в полости пищевого канала и дыхательного горла ничего естественного не было» (22). При перерезке горла у живой, в этих местах должна была бы находиться кровь, которая туда заливается при перерезывании. Правда, она может оттуда вылиться, но все же следы ее всегда остаются на стенках. Точно также кровь могла бы попасть в желудок, а врачи пишут, что «прочие внутренности... брюшной полости в естественном состоянии» (25). Очевидно, там крови не было. Из разбора акта осмотра платья Симон-Деманш видно, что оно по существу умеренно окровавлено (44—46, 50—52), некоторые предметы даже совсем не имеют следов крови (48, 49). При перерезке горла у живой происходит такое обильное кровотечение, что все стороны платья обильно пропитываются кровью, которая покрывает также и лицо, плечи и большую часть тела. В актах двух осмотров и вскрытия совершенно не упоминается, что какие-либо части тела были покрыты кровью. Возможно, что это и упущение, но так как этого нет в обоих актах наружного осмотра, то, очевидно, крови на теле и в самом деле не было или было очень мало.

Таким образом, рану шеи, как причину смерти, следует считать исключенной или, во всяком случае, маловероятной. Скорее всего эта рана была нанесена после смерти или в состоянии агонии. Поэтому нет оснований отрицать возможность перереза горла на месте обнаружения трупа.

Но несомненно, что кровотечение из этой раны было, что доказывается нахождением крови на снегу, под горлом трупа (8). Следы на платье пока оставим до особого разбора.

Это кровотечение вполне возможно и при посмертном

перерезе горла: посмертные кровотечения нам известны и редкости не представляют, особенно при перерезке крупных сосудов. В случае же Симон-Деманш для такого посмертного кровотечения были благоприятные обстоятельства. Именно тело было в состоянии замерзания (5, 43).

При действии холода на организм сосуды сжимаются и выдавливают из себя кровь, почему в данном случае могло быть и более обильное посмертное кровотечение. Что касается количества излившейся крови, то Медицинской конторой оно почему-то определено в «фунт» (28), хотя его никто не взвешивал, да и не мог взвесить. Это заключение Медицинской конторы совершенно голословно. В действительности оно могло быть и гораздо больше фунта, так как кровь выливалась, пропитывала снег вглубь, а под ним, может быть, и землю. Также не обоснованы слова конторы о почти полном «бескровии», ибо в акте говорится о «малокровии» внутренних органов, а это не одно и то же.

После раны на шее внимание привлекают другие повреждения на теле Симон-Деманш. Эти повреждения следующие: кровоподтек длиной около одного вершка на лбу (13), точная локализация и форма не указаны; кровоподтек вокруг левого глаза (14), на задней стороне левого плеча (15), со вдавлением и треугольной ссадиной (16); многочисленные слившиеся кровоподтеки на левом боку (18), под которым обильное кровоизлияние в толщу грудных покровов и перелом трех ребер — 7, 8, 9-го, последнего с раздроблением (24); кровоподтек со ссадинами на левом бедре (19); ссадины на среднем пальце левой руки (17) и пояснице (20);

Во всех этих повреждениях следует отметить, что: 1) все они расположены на левой стороне тела, от головы до бедра включительно; 2) все они состоят из кровоподтеков, местами слившихся, без ран, а с лишь небольшими ссадинами и вдавлениями; 3) сломаны три ребра. Все это показывает, что повреждения наносились каким-либо твердым тупым предметом, возможно, двумя различными предметами, из которых один имел угловатый край, причинивший вдавления и треугольные ссадины (16). Таким предметом мог вполне быть упоминаемый в деле утюг (66, 78, 85, 94), обладающий боль-

шой площадью удара, угловатым краем и заостренным концом. Край утюга мог причинить «вдавленный рубец» (16), а острый конец его — треугольную ссадину (16) и ссадину «с полнотога мизинца» (17). Такие же повреждения могли быть нанесены и другим подобным предметом, например кирпичом, подходящей формы камнем и т. п., но не *шандалом*, который не имеет большой ударяющей поверхности, а лишь ограниченный закругленный край основания, оставляющий характерные дугообразные или продолговатые следы.

Удар в области левого глаза нанесен скорее кулаком, так как утюг в области впадины оставил бы кровоподтеки в окружности глазницы, а если бы попал в глаз острым концом, то причинил бы ссадины и даже ранения века или глазного яблока.

Удары, причинившие повреждения, были *многочисленными*. Таких обширных кровоподтеков, как на левом боку (18), плече (15), нельзя причинить *одним* ударом. Особенно хорошо видна множественность ударов на левом боку; на ярко-красном фоне, величиною в четверть листа, видны «во множестве» разной величины темно-багровые пятна (18). Это не что иное, как несколько слившихся кровоподтеков. Неравномерность окраски вообще бывает у кровоподтеков и слабеет от центра каждого кровоподтека к периферии, почему общий фон получается более светлым, а центр каждого кровоподтека — темным. Здесь же имело место и особое условие: замерзание трупа, при котором трупные пятна и кровоподтеки полностью или частично могут менять свою окраску с темно-багровой на ярко-красную. Где меньше крови, там скорее наступает яркий цвет окраски. Наконец все повреждения нанесены Симон-Деманш при *лежащем ее положении*, что указывается расположением поврежденных исключительно по всей левой стороне тела. Очевидно, Симон-Деманш лежала на правом боку, или же лицо, наносившее удары, стояло с левой стороны от нее.

Все эти повреждения могло нанести одно и то же лицо, обладающее довольно большой силой. Уже первый удар, например в голову, мог лишить Симон-Деманш сознания, и остальные удары нападавший мог нанести беспрепятственно.

Однако многочисленность и сила ударов скорее свидетельствует о том, что Симон-Деманш не сразу потеряла сознание и пыталась сопротивляться, почему к ней и был применен излишек насилия. Относительно силы ударов следует сказать, что они наносились с довольно большой силой, что видно из их обширности и переломов ребер. Наконец, все эти повреждения прижизненного, а не посмертного происхождения. Последовательность, в которой наносились эти повреждения, определить теперь невозможно; во всяком случае, все они нанесены в короткий промежуток времени и быстро одно за другим, что доказывается одинаковым цветом кровоподтеков и «хорошим» их сливанием.

Какое же влияние оказали эти кровоподтеки на организм потерпевшей и могли ли быть причиной смерти?

При ответе на этот вопрос следует иметь в виду, что повреждения, причиненные при побоях, ограничились только наружными покровами и грудной стенкой и не затронули внутренних органов. Кости черепа были целы (21), про повреждение мозга ничего не упоминается. Следовательно, по голове не было нанесено таких сильных ударов, которые могли бы причинить не то что смерть, но даже серьезное расстройство здоровья. Из всех остальных повреждений серьезно приходится считаться только с теми, которые обнаружены на грудной клетке. Но и здесь внутренние органы не задеты. Кровоизлияние находится под кожей, «на самых ребрах» (24). Три ребра сломаны, но, повидному, без повреждения плевры, так как об этом ничего не говорится в акте, равно как и о нахождении крови в левой плевральной полости. Про легкие и сердце сказано только, что они малокровны (23); приращение правого легкого для нас значения не имеет. Следовательно, эти органы не повреждены. Прочие внутренние «малокровны и в естественном состоянии» (25).

Таким образом, описанными множественными ударами не было нанесено ни одного повреждения, важного для жизни внутренних органов. Но несомненно, что эти повреждения в совокупности своей оказали очень вредное влияние на организм. Кровоизлияние в толщу левого плеча и грудных покровов существенного значения для состояния всего организ-

ма не имело, хотя и могло оказать влияние на степень кровенаполнения внутренних органов. Но сильные болевые ощущения от многочисленных грубых ударов, несомненно, вызвали шок и бессознательное состояние.

Какой силы был этот шок — трудно сказать, но, принимая во внимание общее хорошее состояние здоровья Деманш, нестарый возраст и крепкое сложение, скорее можно считать, что этот шок не мог быть и не был смертельным. В судебно-медицинской практике приходится встречаться со случаями и гораздо более обширных и серьезных повреждений, когда потерпевшие, однако, выживали. Не слишком большая, сравнительно, площадь повреждений также говорит в пользу предположения о несмертельности шока, а следовательно, и самих повреждений. На местах побоев не было также и особых болевых точек или важных нервных стволов и сплетений, повреждение которых даже на небольшом участке влечет тяжелый и даже иногда смертельный шок.

Таким образом, у нас нет оснований говорить и о том, что смерть Симон-Деманш последовала от побоев. Но если смерть ее произошла не от побоев, а рана на шее была нанесена после смерти, то отчего же последовала смерть?

Здесь все комиссии и литературные исследователи упустили одно важное обстоятельство, только мельком упомянутое в акте наружного осмотра трупа. Именно: «на верхней части *всей* шеи заметен поперечно-вдавленный рубец, в объеме мизинца» (12). Применяясь к терминологии и стилю того времени (в том же акте «вдавленный рубец» на плече (16)), мы можем ясно представить себе, что это за рубец. Это не что иное, как *странгуляционная борозда* от давления петли на шею, как рубец на плече — борозда от удара угловатым краем твердого предмета. Эта борозда проходит по верхней части *всей* шеи, следовательно, кругом — и спереди и сзади, выше раны, которая находится «ниже гортанных частей» (10). Несомненно, что эта борозда причинена *до нанесения раны*, иначе ее вообще нельзя было бы причинить, так как петля, наложенная на шею при наличии раны, неизбежно провалилась бы в эту рану при затягивании и не могла бы оставить борозды.

Выражение «объем мизинца» указывает на ширину и глубину борозды, то есть это была такая борозда, в которую уместился мизинец. Очевидно, ширина борозды была полтора-два см, глубина — один-полтора см. Такую борозду следует считать довольно широкой. Причинившая ее петля должна была быть широкой, например, это мог быть ремень, платок, шарф и т. п. К сожалению, в акте совершенно не описаны свойства этого «вдавленного рубца», по которому можно было бы заключить и о свойствах причинившей ее петли.

Обращаясь к материалам дела, мы находим указания и о платке, и о душевни Симон-Деманш. Из первых показаний Егорова видно, что он ее душил за горло (64), но чем — не сказал, очевидно, рукою. То же показывает и Козьмин (76) — Иванова рассказала, что они, Егоров и Козьмин, потребовали у нее платок, который «вбили Деманш в рот и продолжали бить и душить» (87). Козьмин и Егоров затем подтвердили, что «Егоров действительно потребовал носовой платок от Ивановой для заткнута рта, чтобы она не могла кричать... и заткнул им рот Деманш» (92, 93). Однако через год Козьмин, кроме ранее известного, сообщил, что «Егоров полотенцем перетянул ей горло и задушил» (96). А в овраге «Егоров снял с шеи ее полотенце, и ему показалось, что она захрипела, тогда он... перерезал ей горло» (98).

По данным осмотра трупа следует, что Симон-Деманш был задушен не руками, а именно петлей; возможно, что для этой петли послужило материалом именно полотенце. Что касается хрипа при снятии петли, то это Егорову именно только показалось, так как к моменту привоза к оврагу Симон-Деманш, несомненно, была уже мертва. Смерть должна была наступить довольно скоро после наложения петли, пока труп еще был на месте убийства.

В 50-х годах XIX века смерть от асфиксии была еще мало изучена и настоящих ее признаков как следует не знали. Поэтому естественно, что это обстоятельство прошло мимо внимания врачей, да еще при наличии таких многочисленных и бросающихся в глаза повреждений. Теперь же на основании даже таких скудных материалов можно полагать, что смерть Луизы Симон-Деманш последовала от асфиксии

вследствие удавления шеи петлей, сделанной из платка, полотенца, шарфа и т. п.

Таким образом, Симон-Деманш была избита и задушена, по всей вероятности, одновременно. Где это было сделано — у нее на квартире или во флигеле Сухова-Кобылина, — это вопрос, который мы пока отложим, во всяком случае, убийство произошло не на том месте, где был обнаружен труп. Симон-Деманш была привезена из города уже убитой, задушенной.

Что же с ней сделали после смерти? Одевали ли или она была убита в одежде?

При подобных многочисленных ударах твердым предметом, да еще с угловатыми краями, одежда должна была бы серьезно пострадать, но, очевидно, она была цела, так как о повреждениях ее в актах осмотра ничего не сказано. Поэтому естественнее предположить, что та одежда, в которой Деманш нашли, была надета на нее после побоев. Это предположение подтверждается и тем фактом, что при осмотре трупа кальсоны оказались «сбившимися до самых голеней» (7), очевидно, потому, что при одевании трупа не были как следует завязаны. Это же обстоятельство проливает свет и на дальнейшую судьбу трупа. В чем и как его везли? В каких-то санях, но в каких именно — нигде в деле определенно не сказано. Всюду упоминается просто о «саях». Егоров и Козьмин говорят, что положили тело в сани вниз и прикрыли полостью (68, 81, 97). Просто о «саях» говорят Иванова и Алексеева. Полость обычно бывает в легковых саях, и сенатор Хотяинцев в своем особом мнении считал невозможным незаметный перевоз трупа взрослой женщины в саях (114).

Это мнение сенатора следует считать неосновательным. Конечно, в нижнюю часть легковых саней легко можно уложить труп взрослого человека, согнувши его руки и ноги, и скрыть совершенно под полостью. В новое время не представляют редкости случаи «пересылки трупов» в обыкновенных корзинах, куда труп вمیцается в сложенном положении. Руки Симон-Деманш были подогнуты под тело (2). Возможно, что это произошло вследствие трупного окочене-

ния, которое распространяется па верхние конечности раньше, чем на нижние. Руки в сложенном состоянии могли окоченеть уже до привоза трупа на место, где он был сброшен, и остались в таком же положении. Кальсоны же сбились на голени именно потому, что ноги трупа сгибали при укладывании его в сани, а потом разгибали при вынимании. От такого движения ног неплотно завязанные кальсоны неизбежно должны были сбиться па голени.

Последний вопрос, который относится к восстановлению картины преступления: чем перерезали горло Симон-Деманш? Края раны были ровные, длина около трех вершков, глубина доходила до позвоночника, с повреждением сосудов шеи с обеих сторон (10). Очевидно, такая рана могла быть причинена сильным движением какого-либо остро отточенного ножа. Величина ножа как раз в этом случае не так существенна, как его острота, сила и направление удара. Таким ножом мог быть и кухонный нож, и складной, и перочинный, и бритва. Кстати, в деле сведения о ноже противоречивы, и самый нож не был найден. Но мнение того же сенатора Хотяинцева о том, что невозможно нанести глубокие и огромные раны шеи перочинным ножиком (115), опять-таки неосновательно. Особого искусства для причинения раны шеи, подобной обнаруженной у Симон-Демаш, не требуется.

V

Теперь переходим к истолкованию кровавых пятен на одежде Симон-Деманш и разрешению связанных с ними вопросов.

На теле Симон-Деманш было надето довольно много всяких одежд, из которых некоторые были «обагрены кровью» (42, 44—52).

Из всех предметов значительные пятна были на рубашке (44), платье (45) и белой коленкоровой юбке, находившейся непосредственно под платьем (46). На ватной юбке были едва заметные следы (48), на других нижних частях одежды подозрительных пятен не обнаружено (49). Из верхних пред-

метов пятна были на шапочке (50) косынке (51) и вуале (52).

По поводу этих пятен прежде всего надо сказать, что в деле нет доказательств их кровавого происхождения. Это было установлено путем простого осмотра. В настоящее же время мы знаем, что один осмотр ни в коем случае не доказателен для определения кровавого происхождения подозрительных пятен, как бы они ни были похожи на кровь. Есть много красок и загрязнений, которые по внешнему виду легко могут симулировать кровь. Для установления кровавого происхождения пятен требуются определенные методы, которые тогда были известны.

Но не будем так придирчивы к следователям того времени и допустим, что это были действительно кровавые пятна. Исключается ли их происхождение при перерезке горла через час после смерти на месте обнаружения трупа, как это решила старая следственная комиссия (54—59)?

Я уже раньше высказал, что из раны, нанесенной *труп* Симон-Деманш, могло вытечь порядочное количество крови, особенно вследствие действия холода. Но каким же образом распределялась эта кровь? Очевидно, когда перерезывали горло Деманш, то она лежала на спине, вследствие чего первые порции крови, естественно, могли стечь по шее вниз и обогреть подкладку шапочки на затылке (50) и косынку (51). В дальнейшем труп был перевернут, причем широкое, по моде того времени, платье подвернулось задней частью подола под труп. Поэтому кровь, вытекавшая из раны постепенно, всасывалась в ткани, могла обогреть и задние части платья (58). Стекала же кровь вниз, по всей вероятности, вследствие не вполне горизонтального положения трупа, особенно, если он был свален в овраге (69, 82, 97), на неровной поверхности, и ноги были ниже головы. Впрочем, при осмотре трупа на это не обратили внимания и не записали особенностей поверхности почвы, почему и трудно высказаться с определенностью.

Но наиболее вероятно, что пятна на платье образовались при переноске трупа для медицинского осмотра. И большая часть крови вылилась из раны, по всей вероятности, имен-

но при переноске. С подобными фактами приходится считаться сплошь и рядом. Манипуляции с трунами — переворачивание, неоднократное перетаскивание, перевозка, трясение — выдавливают кровь из сосудов, и она выливается через зияющие раны. Естественно, что при подобных действиях кровь может образовать на одежде пятна какие угодно и где угодно. В акте местного осмотра ничего не сказано о пятнах крови на одежде (6), но должностные лица объясняли это различными причинами, — что якобы платье невозможно было рассмотреть из-за ненастной погоды, замерзания трупа и позднего времени (43). Вряд ли это правильно, потому что в протоколе осмотра все платье подробно перечислено (6, 7 и неприведенная часть протокола). Следовательно, его осматривали, но следов крови не видели. Первый осмотр платья был произведен только 23 января 1851 года. Наконец, платье могло запачкаться кровью в различных местах и при снятии его с кровоточащего трупа перед вскрытием.

Не исключается возможность, что кровь на платье стекла, когда труп везли в санях в сложенном виде. Источником кровотечения мог быть нос трупа, поврежденный ударом в области глаза (14). В таком случае кровь могла затечь за одежду и обогреть рубашку и верхнюю часть платья, а также и подол его, если ноги были сильно согнуты и колени касались лица. Наконец, способ хранения платья мог иметь значение. Все платье было сложено в один пакет и если хранилось в сыром месте, например в подвальной кладовой, то часть крови с одного предмета могла перейти на соседний. В акте осмотра есть указания, что на рубашке и белой коленкоровой юбке были следы крови с платья в виде синих и зеленых пятен (46). Эти пятна могли образоваться и при лежании трупа, от действия подтаявшего снега. Нахождение их на белой юбке понятно, так как она находилась непосредственно под платьем. Что же касается сорочки, то она соприкасалась с платьем, повидимому, только выше талии. В каком месте рубашки пятна — неизвестно.

Каково бы ни было происхождение этих пятен на одежде Симон-Деманш, но ясно, что они не могли произойти от прижизненной раны на шее, как уже говорилось. Не считая

головных уборов, запачкано только верхнее платье и непосредственно находившиеся под ним части одежды. На ватной нижней юбке следы «едва заметны» — и только на наружной стороне (48). При прижизненном ранении сонных артерий и яремных вен кровотечение бывает хотя и кратковременное, но настолько обильное, что моментально вымачивает всю одежду, затекая в довольно отдаленные ее уголки, вплоть до обуви. Это бывает даже при гораздо меньших кровотечениях, чем из перерезанных сосудов шеи. И никакие попытки остановить кровотечение косою, как думал Панин (117), не могли остановить кровотечения. Кстати, это мнение Панина, разумеется, совершенно неправильно: коса могла распусться при перевозке трупа или быть уже распущенной до смерти, а затем запуталась при различных действиях, как это вообще часто бывает с волосами.

Таким образом, заключение второй комиссии также теряет убедительность. Стремление сверху вниз (53) возможно что и было, но не обязательно, если платье было испачкано кровью при должностных манипуляциях с трупом; истечение крови после смерти могло быть и в значительном количестве (ответ 55), а рана могла быть нанесена и мертвой, и в лежачем положении (отв. 56, 59), а вся одежда могла быть запачкана в любом месте (отв. 57).

Резюмируя изложенное, следует прийти к заключению, что *пятна крови на одежде Симон-Демани значения для дела не имеют.*

VI

Следы, найденные во флигеле Сухово-Кобылина (30), представляют собой: 1) продолговатое пятно на стене, длиной в вершок, в виде «распустившейся капли», 2) круглое пятно на стене, величиной с пятикопеечную серебряную монету, разбрызганное (31); 3) в сенях на полу, около плинтуса, полукруглое пятно, «величиной с четверть аршина», с потеками и брызгами (34); 4) разной величины пятна на ступеньках заднего крыльца, частью стертые и смывшиеся (35);

5) на штукатурке «разной величины места, стертые неизвестно чем» (32).

Про первые два пятна в первом акте осмотра сказано, что они находились в зале, во втором акте, от 20 ноября 1850 года, — «на стенах штукатурки передней комнаты или залы» (38). Сухово-Кобылини в своем показании говорит, что пятна были не в зале, а в прихожей (109). Как видно из прилагаемого к делу плана, оба эти названия были присвоены одной и той же комнате.

В других местах дома, сарае, службах, надворных строениях, экипажах, платье и мебели никаких пятен не было обнаружено (36). Через неделю, при втором осмотре, некоторые из пятен на лестнице крыльца и на полу сеней уже затоптаны и частью стерлись (37), пятна на полу из сеней были вырублены, а со стены сняты вместе со штукатуркой (38) и отправлены для исследования.

По исследовании Московская медицинская контора определенно ответила про пятна на полу, что они состояли из сохнувшей крови (39). Природы пятен, находившихся на штукатурке, Медицинская контора не могла определить и ограничилась только констатированием, что они «имели наружный вид пятен кровавых» (40).

Определения вида и давности пятен крови на полу контора также не могла сделать (41).

Таким образом, здесь присутствие крови более или менее достоверно установлено только на полу, если безусловно верить правильности исследования Московской медицинской конторы, которая, кстати, совершенно не описывает своих методов, почему мы лишены возможности проверить правильность ее ответов. О пятнах же на стене даже нет доказательств, что они кровавые. Если пятна на одежде с натяжкой можно было принимать за кровавые без исследования в виду их возможной характерности, то по отношению к пятнам на стене никто не имеет права этого делать. Чтобы трактовать их, как действительно кровавые, надо прежде доказать точными методами, что это несомненно кровь. Иначе никто не может поручиться и не может отрицать, что это не чернила, не краска, не остатки пищи, не вино или другие веще-

ства, симулирующие кровь. Сухово-Кобылин указал, что в этой квартире до него жили многие его родственники и что квартира вообще была грязная и запущенная (109). В таких условиях нахождение на стенах всевозможных пятен, даже действительно кровавых, не является удивительным. Стоит и теперь зайти в какую-нибудь запущенную, давно не отремонтированную квартиру, где последовательно жили несколько семейств, и легко будет найти на стенах не одно, а не два, а может быть, и значительно больше мелких пятен, похожих на кровавые. В этих случаях даже указание, что никто раньше этих пятен не видел (111), не имеет существенного значения, так как мелкие пятна часто годами остаются незамеченными.

Пятна, обнаруженные в сенях, Сухово-Кобылин объяснил тем, что в сенях повара резали живность (птиц) для стола и производили другие действия, соединенные с излиянием крови (110). Прирезывание птиц в доме многие подтвердили (112, 113), но некоторые говорили, что птицу резали только в кухне, а не в сенях. Медицинская контора подтвердила, что это пятна кровавые (39), но так как не могла определить их видового происхождения (41), то никто не может отрицать, что это пятна не от птичьей крови. Наоборот, это предположение вполне возможно, если вспомнить, что пятна в сенях были обнаружены близ локани и близ дверей кухни.

Кровавое происхождение пятен на ступеньках заднего крыльца также не доказано, так как они и совсем не брались для исследования.

По поводу тогдашнего исследования крови надо сказать, что оно было весьма несовершенно. Существовал морфологический метод (отыскивания кровавых телец), весьма ограниченный в возможностях, и некоторые химические, весьма несовершенные и ненадежные. Штукатурка, впитавшая кровь, могла сильно помешать исследованию и даже сделать его невозможным, что, очевидно, и случилось в медицинской конторе. Установление крови на полу кажется ненадежным, так как не описаны методы, среди которых тогда были совершенно недостоверные. Методы видового различия крови, основанные на измерении размеров красных кровяных телец,

тогда только что входили в употребление, но в Московской медицинской конторе, вполне возможно, не были известны. Во всяком случае, эти методы на тем временам были очень сложны, а русская судебная медицина до восьмидесятых годов весьма значительно отставала от западноевропейской.

В учебниках того времени — переводном Генке (1828) и русском Громова (1838) — об исследовании крови вообще не говорится, так же как в кратком учебнике для юристов Блосфельда (1847 г.). Лишь в переводном руководстве Шюрмайера (1851 г.) описываются способы Баррюэля (непригодный), Шмидта (чрезвычайно сложный и не вошедший в употребление) и только слегка упоминается о микрометрии и особенностях в строении эритроцитов. Поэтому вполне возможно, что для Московской медицинской конторы решение этого вопроса лежало «вне границ» науки того времени (41). Но если эти методы и были бы там известны, то вряд ли от них был бы какой-нибудь прок вследствие их трудности и несовершенства.

Способы исследования давности путем определения растворимости тоже были известны и упоминаются у Шюрмайера. Но они и до сего времени остались несовершенными. Внешние воздействия на кровяные пятна могут быть настолько сильны, непредвиденны и разнообразны, так изменяют внешний вид и свойства пятен, что нет надежных признаков для установления давности пролития крови. Иногда даже свежие пятна могут иметь вид старых, и наоборот, старые, при надлежащих условиях, иногда хорошо сохраняются. Во флигеле Сухово-Кобылина условия, повидимому, были таковы, что влияли на пятна в смысле скорейшего изменения: высокая температура и сухой воздух у кухни, ходьба по полу, наслоение грязи и пр. Вряд ли здесь можно было точно определить давность появления пятна.

Но если даже отрешиться от сомнительности кровяного происхождения этих пятен и считать их действительно кровяными, то можно ли приписать им то значение, которое придавали некоторые исследователи, в том числе и Л. Грессман, то есть, что эти пятна являются следами от кровозлияния из перерезанного горла Симон-Демацш при убийстве ее во флигеле Сухово-Кобылина.

В зале или передней (31) на стене было два пятна небольших размеров и полукруглое пятно в сенях размерами (очевидно, радиусом) в четверть аршина (34).

Следует сразу сказать, что если бы эти пятна произошли от кровотечения из перерезанных сонных артерий, то это значило бы, что гора родила мышь. При перерезке сонных артерий кровь брызжет фонтаном на далекое расстояние. Правда, этот фонтан быстро иссякает, но сила давления такова, что струя брызжет на два-три метра (давление до 0,2 атм., равное давлению столба воды до двух метров высотой). Из двух артерий должно было бить две струи, которые значаками бы многочисленными брызгами и потеками крови не только все стены и полы, но и потолок и мебель, и самую одежду преступника. Кровь в таких случаях забивается в самые сокровенные уголки комнаты и частей мебели, и уничтожить целиком ее мытьем и скоблением невозможно. Если бы это было, то осталось бы не два пятна, а гораздо больше на всех частях и предметах комнаты, по дороге, по которой несли труп, в экипаже, в котором его везли, на одежде и руках людей, которые с этим трупом соприкасались. И никакое замывание не могло бы устранить всех следов крови.

Даже намеков на обильные следы крови во флигеле Сухово-Кобылина не было найдено. *Здесь никого из людей не резали, ни живого, ни мертвого.* Кровяное происхождение найденных пятен недостоверно, что в соединении с их незначительностью и установленной причиной смерти Симон-Деманш от задушения, *лишает эти пятна какого-либо значения для дела.* «Неожиданные и ошеломляющие результаты», «потрясающие обстоятельства» оказались просто цуфом, не заслуживающим серьезного внимания.

VII

Еще несомненно подлежит судебно-медицинской трактовке вопрос о насилиях, учиненных Егорову, по его словам, приставом Стерлиговым (99). Все показания Егорова надо считать малоправдоподобными. Если ему крутили руки «са-

мой тоненькой бичевкой» назад, так что локти заходили один за другой и держали бы так 11 часов (100), то это, помимо шока, вызвало бы сильнейший застой в частях рук ниже перетяжек (кистях), а такой застой уже в первые часы ведет к отечности и явлениям частичного паралича. Относительно подвешивания Егоров не говорит, за что и как его подвешивали (101). За руки было невозможно, так как «самая тоненькая бичевка» быстро разорвалась бы. Подвешивать за грудь можно, продев петлю подмышками, но долго висеть в таком положении человек не может, ибо дыхание затрудняется и затем останавливается, что влечет за собою смерть в течение первых часов. Остальные показания Егорова о методах этого допроса — кормление селедкой (102), удары чубуком (103) — не могут быть проверены судебно-медицинским путем. Имеющиеся в деле указания на рубец на голове Егорова противоречивы и туманны, почему не могут иметь серьезного значения.

Большому обследованию подвергся вопрос о криках и шуме борьбы, которые якобы должны были быть слышны при убийстве Симон-Деманш (63, 75, 86, 104, 106, 108), если оно было совершено в ее спальне, но которых никто не слышал (91, 105, 116). Это последнее обстоятельство также считалось уликой против Сухово-Кобылина, так как подтверждало версию об убийстве Симон-Деманш вне ее дома, тем более, что и вывоз тела остался незамеченным, хотя требовал довольно длинного пути в пределах дома и двора дома Гудовича (107).

На первый взгляд может показаться, что этот вопрос не касается судебно-медицинской экспертизы, но здесь мы можем провести аналогию со звуком выстрела при самоубийствах. Лякассань исследовал ряд самоубийств из револьверов в гостиницах, густо населенных, и при этом оказалось, что в громадном большинстве случаев выстрелов никто не слышал, или же они были настолько слабы, что не обращали на себя внимание. Автор этих строк в свое время специально интересовался этим вопросом, также неоднократно имел возможность констатировать при выстрелах из револьверов и винтовок (убийства, самоубийства), что выстрелы в большинстве

случаев в соседних комнатах не были слышны — днем потому, что соседи заняты, а ночью потому, что спят. Это в полной мере относится и ко всякого другого рода шуму и крикам. Поэтому то обстоятельство, что их никто не слышал (116), не является удивительным и не говорит против возможности убийства Симон-Деманш в ее квартире.

VIII

Окончательные результаты нашей экспертизы сводятся к следующему:

1. Смерть Симон-Деманш произошла от асфиксии вследствие удушения шеи петлей, сделанной из полотенца, платка, шарфа и т. п.

2. Повреждения, нанесенные Симон-Деманш, не были смертельны и причинены множественными, довольно сильными ударами твердого, тупого предмета с большой ударяющей площадью, угловатыми краями и острыми выступами. Таким предметом мог быть *утюг*, кирпич, камень и т. п. *Шандал не мог быть таким предметом.*

3. Горло Симон-Деманш перерезано *после* ее смерти острым режущим предметом, например ножом — кухонным, перочинным, бритвой и т. д.

4. Кровявые пятна на платье Симон-Деманш могли произойти от носмертного кровотечения из перерезанных сосудов ее шеи или от других случайных причин и для истолкования причины и обстоятельств ее смерти значения не имеют.

5. Пятна, найденные во флигеле Сухово-Кобылина и якобы происходящие от крови, *значения для дела не имеют.*

6. *Во флигеле Сухово-Кобылина убийства с прижизненным или посмертным пролитием крови не было.*

7. Спальня Симон-Деманш в ее квартире *могла быть* местом ее убийства.

8. Труп убитой мог быть незаметно свезен в извозчичьих (легковых) санях.

9. *Истязания, описанные Егоровым, мало вероятны.*

В заключение позвольте мне выйти из судебно-медицинской оболочки и вновь обрести общегражданское мышление, с правом делать выводы по всем интересующим меня вопросам. И на этом основании я не могу не высказать глубокого удивления по поводу тех выводов, к которым пришел Л. Гроссман. Правда, дело было «обоюдоострое», и эта обоюдоострость была необходимой составной частью и нередко самоцелью уголовных дел той эпохи. Но в наше время надо бы откинуть всякое предубеждение, подвергнуть тщательной проверке все доказательства и тогда уже выносить свое непоколебимое «да, виновен». И самая поверхностная судебно-медицинская проверка ряда важнейших доказательств, игравших в деле кардинальную роль и поддерживавших его «обоюдоострость», либо совершенно опровергает их, либо придает иное значение, отчего и дело теряет всякую обоюдоострость и становится простым и ясным. Если бы в процессе следствия была произведена компетентная проверочная судебно-медицинская экспертиза, то и при тогдашнем состоянии нашей науки нетрудно было бы выяснить те подробности, которые мы выясняем впервые только теперь, но прошествии свыше восьмидесяти лет. И эти обстоятельства, по моему глубокому убеждению, таковы, что не только колеблют, но и опровергают вывод, так безосновательно и безоговорочно высказанный Л. Гроссманом.

24 мая 1934 г.

КВАРТИРА СИМОН-ДЕМАНШ

Описание, сделанное Чрезвычайной следственной комиссией

Дом Гудовича находится на углу Тверской улицы и Брюсовского пер., ворота в этот дом с Тверской ул.; по входе через эти ворота во двор, на правой стороне, каменное строение, а на левой — деревянный забор, с имеющимися в нем деревянными воротами, запертыми замком с противоположной стороны; через них последние ворота ход на другой двор гр. Гудовича, отделяющийся аркою от смежного двора, на который выходит одною стороною тот флигель, где жила Симон-Деманш; из квартиры ее на этот двор два окна, из коих одно из кухни, а другое из коридора: хода со двора сего в квартиру Деманш нет, но сзади двора есть в небольшом деревянном заборе незапертая калитка, через которую вход на особый двор, собственно принадлежащий ко флигелю, в котором жили в 1850 году Симон-Деманш и князь Радзивилл. Вход в этот флигель в ворота и калитку из Брюсовского пер. через *парадный подъезд с улицы и через парадное крыльцо со двора*. Это последнее крыльцо, составлявшее отдельный ход в квартиру Симон-Деманш, с лестницей в пяти ступенях; при входе на крыльцо, ниже ступеней, направо чулан, а взойдя на ступени, на той же стороне другой, смежный с первым, чулан, из которого есть дверь, заставленная доской и ведущая на парадный подъезд с улицы, где находится парадная деревянная лестница в верхний этаж, в котором жил в 1850 году кн. Радзивилл. По входе в квартиру Деманш через двойные створчатые с двух половинах двери, первая че-

большая комната, передняя — об одном окне во двор; в передней, прямо против входа, одностворчатая дверь в небольшую об одном окне во двор комнату, называемую кабинетом, а направо из передней другая двустворчатая дверь в залу; в передней голландская кафельная печь, которой топка производится из той же передней. По входе в залу, смеющую два окна на улицу в Брюсовский пер., на левой стороне стены одностворчатая дверь в коридор, а близ этой двери в противоположной окнам стене — дверь в кабинет; ближе к окнам, на левой же стороне стены, из залы дверь в гостиную. Все это отделение, то есть парадное крыльцо с чуланам, передняя, кабинет и зала составляли во время жительства в 1850 году Симон-Деманш, по объяснению Хотимского, род кладовой, в которой помещались ящики, бочонки и бутылки с винами, отчего не было и выхода через сии комнаты на парадное крыльцо, ибо двери в коридор и гостиную были заперты, но, в случае надобности для входа за винами, открывалась в залу дверь из гостиной.

Гостиная комната с трех окон в Брюсовский пер., с двумя печами по углам задней, противоположной окнам стены; у одной из сих печей, находящихся в углу смежной с залом стены, производится топка из залы, а у другой, выходящей лицевую стороной в гостиную и спальную, а заднюю стеною в коридор, производится топка из коридора (Егоров, Козьмин и Кашкина указывали, что в этой печи был сожжен салоп Симон-Деманш). Из гостиной ведет дверь в спальную, где совершенно, как показывают подслушанные, убийство Симон-Деманш,

Спальная эта с двух окон в Брюсовский пер.; из нее однопольная дверь в коридор, а немного правее, против этой двери, вход из коридора в кухню через однопольную дверь. Коридор об одном окне на смежный двор дома гр. Гудовича. Коридор имеет длины тринадцать арш., а ширины от выхода из спальни на правую сторону и до окна два арш., а на левую до залы — один арш. один верш.

В коридоре три двери, именно: в залу, в спальную и в кухню. Кухня небольшая, с русскою печью и с двумя окнами, из которых одно выходит на вышеупомянутый смеж-

ный двор дома графа Гудовича, а другое — на двор при квартире Симон-Деманш, возле самого входа на черное крыльцо ее, Симон-Деманш, и рядом со следующими далее двумя окнами кухни кн. Радзивилла. Из кухни Деманш выход в черные сени, составляющие единственный вход в квартиру Деманш, за уничтожением, как изложено выше, входа через парадный подъезд с улицы и через парадное крыльцо со двора. В сенях сих, весьма тесных, прямо против двери, из кухни деревянная лестница наверх, в квартиру кн. Радзивилла, а налево из сеней двери на двор. По выходе из сеней на левой стороне, возле самых дверей, внизу на двор три окна, из коих первое из кухни Деманш, а два другие из кухни князя Радзивилла и затем дверь в эту последнюю кухню. Высота сих трех окон от горизонта земли до подоконной доски один арш. шесть вершков. Кухня князя Радзивилла совершенно смежная с кухнею Деманш и отделяется от нее тонкою деревянною оштукатуренною стеною, через которую, как оказалось, по испытании членов комиссии, происходящий в кухне Симон-Деманш стук и обыкновенный разговор слышен в кухне кн. Радзивилла, но произносимых при разговорах слов разобрать нельзя.

ПИСЬМА ¹

ПИСЬМА

Связка I

Перевод с французского

1

Сударыня.

Будьте уверены, что я вполне разделяю вашу радость: я с удовольствием узнала эту приятную новость; искренно поздравляю вас с успехом м-ль Софи, который, впрочем, она необходимо должна была иметь.

Примите, сударыня, поздравления преданной вам

Симон.

На конверте надпись: *Госпоже Сугово.*

2

Любезный Александр.

Я узнала, что ты сегодня обедаешь в городе. Мне очень жаль, потому что я надеялась провести с тобою несколько часов нынешнего дня. Я очень грустна и очень нездорова.

¹ Письма приложены к следственному производству Шлыквской и чрезвычайной комиссии.

НАДПИСЬ г. СУХОВО-КОБЫЛНА НА ПОДЛИННЫХ ПИСЬМАХ

1

Письмо это писано Луизою Симон к матери моей по случаю получения моей сестрою награды от Академии художеств за выставленную ею картину в 1840 году.

Александр Сугово-Кобылин. 5 апреля 1854 года. С подлинным верно.

2

Письмо это писано Луизою Симон ко мне, и относится к последнему времени жизни, ибо взято следователями у меня на столе.

Если у тебя есть свободная минута, заезжай пожалуйста ко мне. Я очень тебе буду за то благодарна. Прошу тебя, не откажи мне в этом, потому что я очень несчастна. Прости мне огорчение, которое я причинила тебе вчера. Уверю тебя, что это было сделано без умысла.

Прощай.

Целую тебя и жму твои добрые руки. Преданная тебе Луиза.

На конверте написано: *господину Александру Кобылину.*

3

Получено от Куликова сто пятьдесят рублей серебром.

Луиза Ивановна Симон Деманш.
20 сентября 1850 года.

4

Получено от Куликова сто два рубля серебром.

Луиза Ивановна Симон Деманш.
18 сентября 1850 года.

5

Любезный друг.

Сделай одолжение, заезжай ко мне, когда будешь возвращаться из водолечебного заведения. Мне нужно с тобой переговорить о том, где заказать горностаевую пелеринку для твоей сестры Лизы; я ничего не могу сделать, не выдав тебя. Ты не забыл, что теперь у нас семнадцатое число, и что она должна быть готова

Александр Сухово-Кобылин. 5 апреля 1854 года. Верно.

3

Денежная расписка Симон Деманш, данная ею прикащику Куликову.

Александр Сухово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

4

Денежная расписка, данная прикащику Куликову Луизою Деманш
Александр Сухово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

5

Записка Луизы Симон, писанная ко мне 17 августа 1850 года по поводу отправки ею проданной партии вина зятю моему Петрово-Соловово, от которого и получено ею заемное письмо в 1000 р. сер.

к концу месяца. Ты, право, ставишь меня в затруднительное положение в отношении к твоей сестре Душе, которая так меня просила заняться этой комиссией; между тем, я ничего не делаю.

Сделай такое одолжение, вели маленькому Федору нанять извозчиков, чтобы мне можно было отправить к твоему зятю вина; он просил меня прислать ему их в августе, а получит их только в сентябре; я боюсь, чтобы он не уехал в Выксу, не получив вин. Я надеюсь, любезный Александр, что ты будешь так любезен и снисходителен, что устроишь мне все это до твоего отъезда к Тронце. А то мне долго будет ждать твоего возвращения.

Прощай, до свидания, искренно жму тебе руки

Луиза, 17 августа 1850 года.

6

Любезный Александр.

Я уезжаю, не простившись с вами. Ждать дольше я не могу. Мне крайне необходимо съездить в одно место, и я не могу отложить поездки, а не то я не застаю тех, кого мне нужно видеть. Я бы не уезжала, если бы знала, что вы грустны и огорчены, но вы, кажется, счастливее, чем когда-либо, и прощанье мое с вами не может быть для вас ни приятно, ни неприятно. Бог да сопутствует вам в вашем путешествии. Не забудьте, что в Москве есть особа, которая питает к вам истинное расположение и привязанность.

Прощайте, до свидания, как вы мне это обещали.

Дружески жму вам руку. *Луиза*.

На конверте написано: *господину А. Сузово-Кобылину*.

Александр Сузово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

6

Записка, писанная ко мне также Луизою Симоп. К какому времени она относится, определить верно не могу, но кажется, что к последнему времени.

Александр Сузово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

Посылаю вам шу от вашей шляпы и прилагаю в этом пакете остаток той суммы, которая вам следует.
Вот счет

Один аршин с половиною плюша по ар.	Руб. сер.	3.43
ленты белые и розовые . . .		2.94
флоранс и белый атлас . . .		40
дано в лавках		1. . .
		7.77

Примите, сударыня, мой дружеский и искренний поклон.

10

Любезный Александр.

Очень вам благодарна. Я получила сто восемьдесят четыре руб. сереб. Я надеюсь, что вы на меня не сердитесь за то, что я их у вас просила и пр.

11

Любезный друг.

Я на несколько дней уезжаю к Киберам.

13

Любезный друг.

Я посылаю за твоими вещами и за твоей особой; все готово, и мы поедем ко мне.

Приезжай, я жду тебя пить чай.

16

Любезная маменька.

Все уехали. Приезжай пить чай. Я поеду на вечер только в девять часов с половиною.

А.

Писано рукою Луизы Симон.

Александр Сухово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

10

Писано рукою Луизы Симон.

Александр Сухово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

11

Писано рукою Л. Симон.

А. Сухово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

13

Писано моею рукою, полагаю, когда отправлялся с Л. Симон в Тул. Вотчину, в октябре 1850 года.

А. Сухово-Кобылин.

16

Письмо сие писано мною, вероятно, в последнее время.

А. Сухово-Кобылин.
Апреля 5 1854 года.

Как вы себя сегодня чувствуете, любезная госпожа Симон? Посылаю вам говядины для бульона, каплуна, не хотите ли баранины? Не нужно ли вам яиц, масла и пр.? Говядина годится только на бульон, у меня есть всякого рода провизия, я с удовольствием пришлю вам, чего вы желаете. Посылаю вам полфунта чаю.

Любезная госпожа Симон, дочь моя Лиза просит вас потрудиться увеличить тулью, потому что голова не входит в нее, а кружево расположить ближе к лицу, собрав его как можно больше. Она не решалась просить вас об этом, но я ее уговорила, сказав ей, как вы всегда были добры и снисходительны.

Это к завтрашнему вечеру.

В последний раз маленькая моя хозяйка ошиблась, послав вам три мерзлые курицы. Я узнала это вчера, а потому посылаю вам каплуна и рябчика, не хотите ли утки? Пришлите за ней, когда хотите; я теперь не посылаю их, чтобы не испортились у вас, а мерзлые куры пригодятся на суп.

На конверте: *госпоже Симон-Деманш*. Внизу написано: *госпожа Сухова*.

Мне только что привезли немного вишен, и я вам посылаю, любезная моя, несколько из них; мне известно, что так мало, но, впрочем, разделила их добросовестно, оставив здесь на четыре; это первые вишни, которые я получаю. Пришлите мне бутылку хереса; как милы ваши ма-

Записка, писанная рукою моей матери, времени определить не могу, к Луизе Симон. 5 апреля 1854 года.

Александр Сухово-Кобылин.

Записка, писанная рукою моей матери к Луизе Симон. Времени определить не могу.

Александр Сухово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

Записка моей матери Л. Симон, времени определить не могу.

А. Сухово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

ленькие собачки; в особенности Ланит — она прелестна. Когда у вас будет недостаток в сливках, то пришлите ко мне, будьте без церемоний; я тоже буду делать с своей стороны, если мне что-либо понадобится. Будемте делать так, если вы ко мне ни за чем не пришлете, то я буду знать, что вы ни в чем не нуждаетесь, если же я вам в чем-либо откажу, то вы будьте уверены, что у меня этого нет.

32

Любезная госпожа Симон, дочери моей Лизе нужна гувернантка для ее двух дочерей; не можете ли вы оказать мне услугу и осведомиться, нет ли здесь такой, которая бы нам годилась. Первое условие, чтобы у ней был хороший характер, чтобы она была кротка, терпелива и без претензий; она должна быть всегда с детьми, ходить за ними, смотреть за их туалетом и за всем, что до них касается. Она должна все делать так, как от нее будут требовать, а не по своему усмотрению.

Если вы можете рекомендовать нам порядочную гувернантку, то много нас этим обяжете. Попробуйте.

58, 59

Вот опять ваше письмо, милая Луиза. Мысли, которые вы мне рассказываете, прекрасны. Я уже думала об этом, когда на этих днях узнала, что есть вакансия предводителя, и уже говорила об ней мужу; так, Александр мне уже говорил об ней, то я поговорю с ним об этом, а вы с своей стороны постарайтесь его в этих мыслях поддержать. Как можете вы до сих пор думать, что я проговорюсь, — я в жизни никогда

32

Записка моей матери к Л. Симон. Времени определить не могу.

А. Сухово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

58, 59

Письмо моей матери к Луизе Симон, писанное неизвестно мне когда, как видно, с завода.

не проговаривалась, я умею молчать; нас учили этому, когда я была молода, что же касается до моей старости, то когда все другие, вследствие удовольствий, становятся болтливей, я, напротив, стараюсь молчать по совершенно другой причине. Я непременно приеду будущий месяц, письмо его побуждает меня не откладывать моего отъезда; мы поедем в степь, куда вы приедете вслед за мною или же, если будет можно, то мы поедем вместе. Дела, как я вижу, запутываются. Он не продал сиропа, а между тем, пропорция нынешний год была очень мала. Ветер подул с другой стороны; нужно было понизить цену. Наконец, что сделано, того уже нельзя поправить. Потом он не учтив и груб с людьми, с которыми имеет дело, и в особенности с кредиторами; нужно стараться быть в хороших отношениях с этими людьми и обращаться с ними кротко, — тогда они не будут упираться. Этим только можно выиграть. Можно впасть в крайнее положение, и тогда они отплатят во сто раз и тогда причинят вам вред, который уже нельзя будет поправить. Поддерживайте его в тех мыслях, которые вы сами имеете, — это лучше всего. Я не думаю, чтобы его присутствие здесь что-либо изменило. Это значит строить на прочном и твердом основании. Мое положение сделалось сносное; со мной уже говорят, как со всеми. Но этим и ограничивается все. Я значительно убавила здесь издержки. Но для кого это будет полезно? Не знаю. Я знаю только, что денег никогда нет, и что до сих пор он не заплатил за меня графу Кутайсову семьдесят пять рублей серебром. Не забудьте рамки, добрая моя Луиза, и если она готова, то взгляните на нее и напишите об ней свое мнение с первой почтой. Мне необходимо нужно узнать его. Душа намерена приехать к 5 сентября, но я не думаю, чтобы она приехал, потому что она завалена делами. Спросите пожалуйста, любезная Луиза, у Александра счетные книги погреба, которые я ему привезла (что же касается до листов, писанных Иваном Гавриловым, то он может оставить их у себя) и пришлите их мне с верной оказией.

Здесь живут довольно весело; часто бывают кавалькады: репетиция театра следует одна за другою, но представления еще не было. Если бы в этом убежище разврата не существовало, эта эпидемия, от которой никто не может избавиться, то можно было бы провести время очень приятно, 24 числа.

Вот подходит день именин Александра. Так как он не получит моего письма в самый день, то я вкладываю его здесь; добрая моя Луиза, вы отдадите его ему. Я в отчаянии, что ничего не могу ему подарить. Грустно быть не в состоянии сделать удовольствие или даже маленький подарок в день именин своим детям или тем, которых любишь. Думала ли я когда-либо, что впаду в такое состояние, в каком нахожусь теперь. К счастью, я могу подарить ему нерстень, который он носит

теперь. Но это не принесет удовольствия ни мне, ни ему, потому что он носит его уже давно.

Здесь горят все леса, и мы живем в густом дыму, который, как облако, покрывает окрестность. Уже послано до трех тысяч человек; они живут там уже несколько дней, но без всякой пользы. Прощайте, милая Луиза, мне страшно как хочется покинуть эту сторону и возвратиться к моему уединению, к нашим вечерам и обедам.

Связка III

5

Любезный Александр.

Заезжайте ко мне сегодня вечером хоть на четверть часа; мне необходимо нужно поговорить с вами о девушке.

Не откажите мне, — я, может быть, беспокою вас в последний раз.

Посылаю вашей маменьке чепчики, которые я для нее заказала. Если считаете это приличным, передайте ей мои поздравления, скажите ей, что я очень сожалею, что не могу сама приехать засвидетельствовать ей мое почтение. Постарайтесь устранить от нее влияние Николая Андреевича. Он дурной человек; по милости его дело это приняло такой дурной оборот. И ей никогда не вредила, велите пожалуйста прислать мне мою шубу, которая находится у старухи Катерины.

Прощай, жизнь моя очень грустна,
Луиза.

Вероятно, вы уже скоро не услышите обо мне в Москве.

10

Любезный друг, я получила твое письмо и не знаю, что должна тебе сказать. Нечего возобновлять прошедшего, оно только дает уроки поздне и притом жестокие, а в несчастии и без того много жестокого.

5

При следствии мне писано письмо, мне показанное, и признаю писанным г-жею Симон-Деманш. Письмо это писано ко мне Луизою Симон. Времени определить не могу.

А. Сугово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

10

Письмо писано рукою сестры моей графини Сальяс ко мне в 1848 году из деревни.

А. Сугово-Кобылин. 5 апреля 1854 года.

Я нахожу только один выход из этого, ибо, чтобы ты ни делал, это положенное все-таки останется несчастием — не любить. Ты будешь смеяться, но я повторяю: да, не любить. Мы уже не дети, не молодые люди; у каждого из нас есть свое прошедшее; мы не должны томиться, как любовники (твое собственное выражение), следует победить свои чувства, а кто умеет управлять ими, тот уже одержал половину победы. Когда не говорят о своей любви ни ей, ни себе, когда дошли до того, что скрывают его от себя и стараются уверить себя, что в этом чувстве нет будущности, тогда начинают страдать и оканчивают тем, что не чувствуют уже страданий. Это именно и нужно. Это не так трудно. Поверь мне, я много жила — доходят до этого шаг за шагом, и даже полшагами, нужды нет, если даже всякий день подвигаться на палец, лишь бы подвигаться: и этого довольно. Ты видишь из того, что я тебе сказала, что я не нахожу будущности в твоём чувстве (если правда, что это истинное чувство, а не простой каприз, какие бывают у мужчин); будем смотреть на него со всех сторон: я не вижу в нем ничего хорошего, ни в обстоятельствах, вас окружающих, ни в ваших относительных характерах, ни в вашем способе любить. Обстоятельства таковы, что если ваша страсть не бьется ничем, и я допускаю это очень часто, то для нее должно покинуть мужа — что весьма возможно, взяв с собой ребенка, что уже составляет препятствие, и покинуть отца и мать, у которых она единственная и обожаемая дочь. Этого она не сделает и не может сделать, ибо если грустно отравить чью бы то ни было жизнь, то нельзя решиться убить стариков, которые вас всегда и только вас одну любили. Если возьмем это в менее трагическом виде, исключительном виде и сообразнее со светскими обычаями — она должна разделиться между любовником и мужем. Жалкая жизнь, жалкий конец любви, начавшейся, невидимому, для более благородного конца, для того только, чтобы прекратиться по воле, как я тебе говорила это вначале, или для того, чтобы разорвать все препятствия и быть счастливыми. Если ты сделаешься ее любовником, то должен следовать за ней — чего ты никогда не сделаешь по причине твоих дел — должно жертвовать имуществом и делами, когда находишься в таком положении страсти, что она разрывает все препятствия, когда отнимаешь жену у мужа и увозишь ее, когда она становится твоею по закону естественному, но для любви, которая переходит в связь, не покидают своих дел. Вот два способа равно дурные и неисполнимые, прибавлю даже, что вы неспособны привести их в исполнение. В первом случае, то есть увести ее и уехать, вы не проживете двух лет вместе, не расквашая жестоко оба. Она добра, кротка, чувствительна, я это очень хорошо знаю, но у ней не достает ни силы характера, ни ума, чтобы наполнить твою

жизнь: она же вышла из той обыкновенной колен, в которой жила, была бы несчастна и погибла бы нравственно и ты бы также не был счастлив. Во втором случае — светской интриги и связи — она была бы счастливее, но не ты, ибо ты бы должен был страшно жертвовать имуществом, положением, переменю жизни. Ты не вынесешь этого. Нельзя уничтожить своих привычек, у тебя же они так вкоренились; слишком тридцать лет — не двадцать. В первые дни ты, разумеется, был бы счастлив, но мало-по-малу тяжесть всего, что сделал бы, обрушилась на твои плечи и убила бы твою любовь к ней. Задуши же эту любовь. Это не так трудно. Ты говоришь, что любишь ее за ее прекрасную душу. Правда, это очень доброе и кроткое существо, но ты любишь ее потому, что она недурна собой и что ты ее любишь. Не могу не сказать тебе, что грустно и жалко видеть вас — я говорю о мужчинах: перед иным рассыпают бездну любви — он проходит мимо и не замечает ее, другой не берет ее, потому что ее ему дают, третий же видит ее, и все они, придя в известную эпоху жизни, жалуются на свое одиночество. До сих пор я говорю все только в приложении к тебе, но если мы перевернем страницу этой грустной, а между тем, столь обыкновенной истории, мы будем иметь другие причины, по которым я повторяю тебе: заглуши все это и по которым ты сам скажешь это, если серьезно и хладнокровно все обдумаешь. Я говорю о Полине и о другой. Как ты думаешь: довольно страдала П... когда ты, после трехмесячного ухода за ней, после трехмесячной любви покинул ее. Я знаю, что это была любовь молоденькой девочки, тем не менее, если она не убивает души, то все-таки заставляет страдать также сильно и с таким же удовольствием, какое ощущает молодость в своих страданиях. Ты возражишь мне, что сердце твое испорченное и запечатлено более бесплодными страданиями, что ты в тридцать лет любишь, может быть, в первый раз, если ты заглушишь эту любовь, то убьешь сердце. Я знаю это, но ты находишься в таком положении, что должен это сделать, иначе ты погрузишь ее в несчастную жизнь и уединение. Ибо ты не будешь ее долго любить, если будешь счастлив, если она будет твоею, я говорю и повторяю тебе: никто не в праве самовольно разрушать судьбу другого и равнодушно и со спокойною совестью делать его несчастным. Ты даже не имеешь права затемнять жизнь этого бедного ребенка. Оставь ее отдохнуть от прошедшего. А другая, г-жа С....., что ты из нее сделаешь? Ты мне скажешь: я ее больше не люблю — хорошо, в этом никто не властен, это чувство подвижнее и свободнее облаков, но кое-что да остается после восьмилетней связи, какова была ваша, кое-что должно остаться и если не остается, то показывает, что один из двух нехорош, а так как она добрая и прекрасная женщина, то дурным, неблагодарным будешь ты, да

ты, если ты не чувствуешь привязанности к ней после той любви, которую она питала к тебе, и ты не заслуживаешь никакой симпатии на всю твою остальную жизнь. Не думай, чтобы я тебе через это говорила, что так как она тебя любит, то ты должен посвятить ей всю свою жизнь, пожертвовать ей новой любовью; нисколько. Ты сам знаешь, что это было бы безумно говорить подобные вещи, но, по крайней мере, прекратив твою любовную связь с ней, если даже ты ее не любишь, все-таки ты обязан к ней уважением и хорошим обращением, ты должен быть другом и покровителем ее, ибо у ней, кроме тебя, никого нет. Я знаю, что, предавшись в Петербурге другой любви, которая, по-моему, не имеет будущности, ты разорвешь сердца этих женщин, и обе они будут несчастны; не знаю, которая из двух будет несчастнее; сам ты во всем этом будешь тем несчастнее, что ты не привык страдать и не умеешь страдать. Это будет для тебя ужасная и роковая новость, которая понесет тебе удар. Лучшее заглушить эту страсть в зародыше. Не говоря уже о страданиях, которые ожидают тебя, какова будет твоя будущность — ты останешься без двух, то есть ты потеряешь и то и другое, и, поверь мне, ты не можешь жить один. Тот, кто это думает, ошибается — придут пожилые лета, за ними старость, многие верования исчезают, идеи успокаиваются; у тебя время сделало уже это отчасти и сделало слишком рано; тогда остается один без женщины или любовницы, без друга также, и мне кажется, тяжелее не иметь друга, чем чего-либо другого, потому что тогда ничего не имеешь. Можно найти любовницу, но настоящего друга легко не найдешь. Да сохранил тебя от этого бог! Я не говорю о пустой дружбе, но ты поймешь меня — я говорю о чувстве истинном и глубоком и о совершенной почти симпатии. Это бывает редко; кто теряет это тот недостоин сожаления, когда он впоследствии несчастлив и одинок, особенно, если потерял это по своей вине. Тогда он заслуживает это. Вот все, что я могу сказать тебе; если ты заметишь, что мои советы жестоки, что выставлены грустные последствия, скажи себе, что я пишу к тебе из глубины сердца, и что с тех пор, как я получила твое письмо, несмотря на личные горести, я думаю только о тебе и так вхожу в твое настоящее положение, что всякий день плачу. Ты сомневался в моей привязанности к тебе, — теперь ты должен быть в ней уверен, потому что я открыла, что люблю тебя более, нежели думала, и люблю тебя против моей воли, ибо я сержусь на это слабое сердце, которое умеет только страдать и за других и за себя. По правде скажу тебе, что душе моей надоела жизнь, а между тем, я не могу ее умертвить. Но обратимся к тебе. Недавно я писала к Настиньке, что могу приехать в Москву на три недели — я одна без детей, они останутся у Николая; тебе я говорю то же. По пусть знают это только ты и она, потому

тому, что я решилась прервать все связи с теми, которые не дороги мне; весь остальной свет не существует для меня. Я утешаюсь тем, что должна приехать в Москву только для тебя, потому что я могу тебе быть полезна, дать тебе несколько твердости и утешить, может быть, тебя. Не удивляйся тому, что я говорю, что я должна приехать — я сильно переламинаю себя, решаюсь покинуть деревню Николая, потому что нигде мне не будет так хорошо, как у него; но я должна это сделать. Необходимость придает мне отваги, а сердце мое между тем разбито. Правда, я пожертвовала своею жизнью, я отдала ее, но это убивает, и сердце мое совершенно растерзано. Видишь, говоря о тебе я все обращаюсь ко мне; прости мне это невольное уклонение. Может быть, ты в этом ничего не поймешь — это даже весьма вероятно, но это ничего — поверь мне, теперь на-слово, а там, после, мы поговорим об этом, хотя это и совершенно бесполезно, потому что ты не можешь помочь этому, следовательно это будет только лишняя печаль для тебя. Прощай, благодарю тебя за все, что ты мне прислал. Я еще ничего не видала, потому что живу не у себя дома, а у соседей, знакомых Николая, у которых мы остаемся еще четыре дня. Я с детьми, но они мне только мешают, потому что я чувствую себя грустною и несчастною. Я встречу здесь новый год и уеду отсюда в первый день; я жду этого дня с великим нетерпением, когда я буду опять в уединении. Акшино, которое я очень люблю, несмотря на то, что целый день провожу одна, потому что он занимается до вечера преимущественно химией и медициной. Здоровье мое с некоторого времени поправилось, это позволяет мне предпринять путешествие; прежде я была очень больна, и говорят, что болезнь моя могла обратиться в опасную. Дети мои не совсем здоровы, особенно Жени, у которого золотуха в высшей степени. Мери очень растет и становится очень мила; Николай очень ее любит, и, когда мне случилось ездить на два дня к соседям, он не оставлял ее одну и занимался ею. Жени — мой ребенок, я люблю его больше других, но он стал как-то менее умен, менее хорош и менее мил — я думаю это от болезни и от переходного возраста. Он помнит тебя и хотел к тебе писать, потому что он уже пишет; но он остался при своем намерении, как обыкновенно дети. Так как ты мне будешь готовить комнаты, то я скажу тебе, что приеду к 15 января, а чтобы не тонить понапрасну, то я желала бы остановиться в комнатах Софьи и Дуни, потому что там есть спальня и гостиная. Правда, я никого не увижу, но буду принимать некоторых друзей Николая, и для этого мне нужна комната. Эти комнаты наверху; я полагаю, что там топят, следовательно не будет лишних издержек. Котать об издержках: ты спрашиваешь, как бы я желала получать деньги — мне лучше получать всл-

кое 1 число двести пятьдесят, а иногда триста рублей ассигнациями. Я считаю долгом сказать тебе, что ты, не стесняя меня, можешь опаздывать высылкою их, когда у тебя не будет денег. Гувернантка, которая живет у меня, до того глуха, что Ог... умоляет меня отказать ей. Он уж выписывает из Москвы другую; скажи г-же Симон, чтобы она написала мне, если ей попадется порядочная гувернантка, на которую можно бы было положиться. Мне необходима музыка. Прощай, друг мой, ты получишь это письмо в 49 году. Дай бог, чтобы он принес тебе счастье. Целую тебя и желаю тебе счастья. Из нас четырех я буду грустнее всех. Сестры, слава богу, здоровы, по крайней мере, кто-нибудь из семейства да счастлив. Ты меня рассмешил твоим законом возмездия. Право. Не знаешь, что я по своей воле никому никогда не причинила грусти, особенно грусти сердечной, а между тем все те, которые говорили, что любят меня, или которые любили меня (в чем я сомневаюсь), преследуют меня, и я терпела это, не заслужив, разве только принять объяснение жизни, предшествовавшей этой. Но оставим шутки; под ними скрывается грусть. Прощай — я очень состарилась, иногда я смеюсь над собой и над другими, кроме тех, кого я люблю. Для этих, при известии о новой их горести, сердце мое наполняется слезами и грустною. Николай благодарит тебя за исполнение комиссий, но он просит тебя сообщить ему непременно сведения о деле, — о роме, о котором он тебе говорил. — как бы не были они не полны, все лучше, чем ничего, потому что он начинает готовить его.

12

12

Вы всегда были так добры и снисходительны, что я не боюсь беспокоить вас, и потому прошу вас привезти мне небольшой пакет, который вам отдадут и который мне очень нужен. Прошу вас привезти как можно скорее. Надеюсь, что ничто не заставило вас переменить намерение ваше приехать в Сабурово, и что мы будем иметь удовольствие видеть вас 1 или 2 числа. Если по какому-либо случаю вы не намерены приехать сюда на этих днях (что будет очень скучно и вовсе не любезно), то, будьте так добры, велите сказать это посланному или дайте ему записку, чтобы мне можно было взять другие меры.

Письмо г-жи Нарышкиной, писанное ко мне летом 1850 года.

А. Сухово-Кобылин.

Мы остаемся совершенно одни; все наши гости разъехались и возвратятся не прежде, как через две недели; муж мой взялся доставить вам эту записку; он также уезжает: вы, вероятно, увидите в Москве. Оскар надел свой костюм для того, чтобы быть моим кавалером, он надеется ревностно исполнить эту должность, пока будет в нем надобность; постарайтесь, чтобы это продолжалось недолго, он вас ждет — вас и пари; он отступает от него. Я для вас ездила за шесть верст и так как это путешествие увенчалось полным успехом, то вы обязываетесь быть здесь до 5 числа; вы должны это сделать вследствие бесконечного доказательства дружбы, которую я вам оказала. Отдайте, если можете и во всяком случае, приезжайте спросить у меня прощение и поцеловать у меня ручку, — право стоит того. Прощайте, до свидания. Вы слишком практический человек, чтобы ошибиться числом, и теперь я почти готова считать это достоинством и сознаться вам в этом во вторник. Протягиваю вам дружески руку и прошу бога сохранить вас.

Сабурово. 30 июля.

Надежда Нарышкина.

На обертке: *господину Сузово-Кобылину в Москву*

МОСОБЛАРХУПР. Ф-л обер-полицейстера, дело об убийстве московской купчихи Симон-Демани.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
-----------------------	---

„ДЕЛО СУХОВО-КОБЫЛИНА“

Факты	17
Найдено тело	17
Отклики, слухи, сопоставления	19
В чужой семье	22
Почерк неизвестен	24
Александр Васильевич Сухово-Кобылин и его семья	34
Не лица	45
Источники дела	51
Дореформенный процесс	59
Улики против Сухово-Кобылина	69
Кто убил француженку?	79
Последний день Деманш	85
Сознание дворовых	96
Мотивы убийства	111
Место и время	120
Алиби	128
Вещи, похищенные у Деманш	143
Отречения	153
Как велось следствие	193
Особые мнения и мнения «особ»	212

После убийства	230
Ранняя тревога	231
Поиски	233
Переживания Кобылина	236
О Саввине Карпове	240
Дневник	243
Кульг памяти Деманш	246
Письма	248
Творчество Кобылина	257
Сводные итоги	285

ПРИЛОЖЕНИЯ

Судебно-медицинская экспертиза	295
Квартира Симон-Деманш. Описание и план	332
Письма	335

Зак. изд. 1040. Инд. X-00в. Г 86. Тир. 5000 экз.
Уполномоченный Главлита Б 15506. Бумага
Каменской писчебумажной фабрики. Формат
бумаги 82×110 в $\frac{1}{82}$ д. 22 печ. л. 17,43 учетно-
авт. л. 14,87 авт. л. Сдано в производство
27 XII 1935 г. Подписано к печати 15 IV 1936 г.
Цена книги 4 р. 75 к. Переплет 1 р. 25 к.

Типо-литография им. Воровского, ул. Дзержинского, 18. Зак. тип. № 662